ВХ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М.ГОРЬКОГО

ОБЩЕСТВО ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

*

под общей редакцией
Р. В. Дуганова

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

*

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ, ОЧЕРКИ

СВЕРХПОВЕСТИ

1904–1922

*

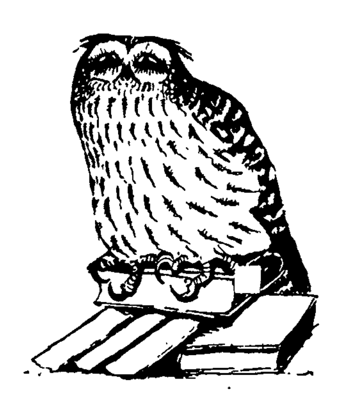
МОСКВА
ИМЛИ РАН
2004

Составление, подготовка текста
и примечания
Е.Р.Арензона и Р.В.Дуганова

Приносим глубокую благодарность В.П.Григорьеву, Вяч.Вс.Иванову, М.С.Киктеву, А.А.Мамаеву, М.П.Митуричу-Хлебникову, В.В.Полякову, В.В.Сергиенко, С.В.Старкиной, Н.С.Шефтелевич, а также всем сотрудникам рукописных и книжных фондов ГММ, ИМЛИ, РГАЛИ, РНБ, оказавшим помощь в подготовке настоящего тома ценными материалами и благожелательным содействием.

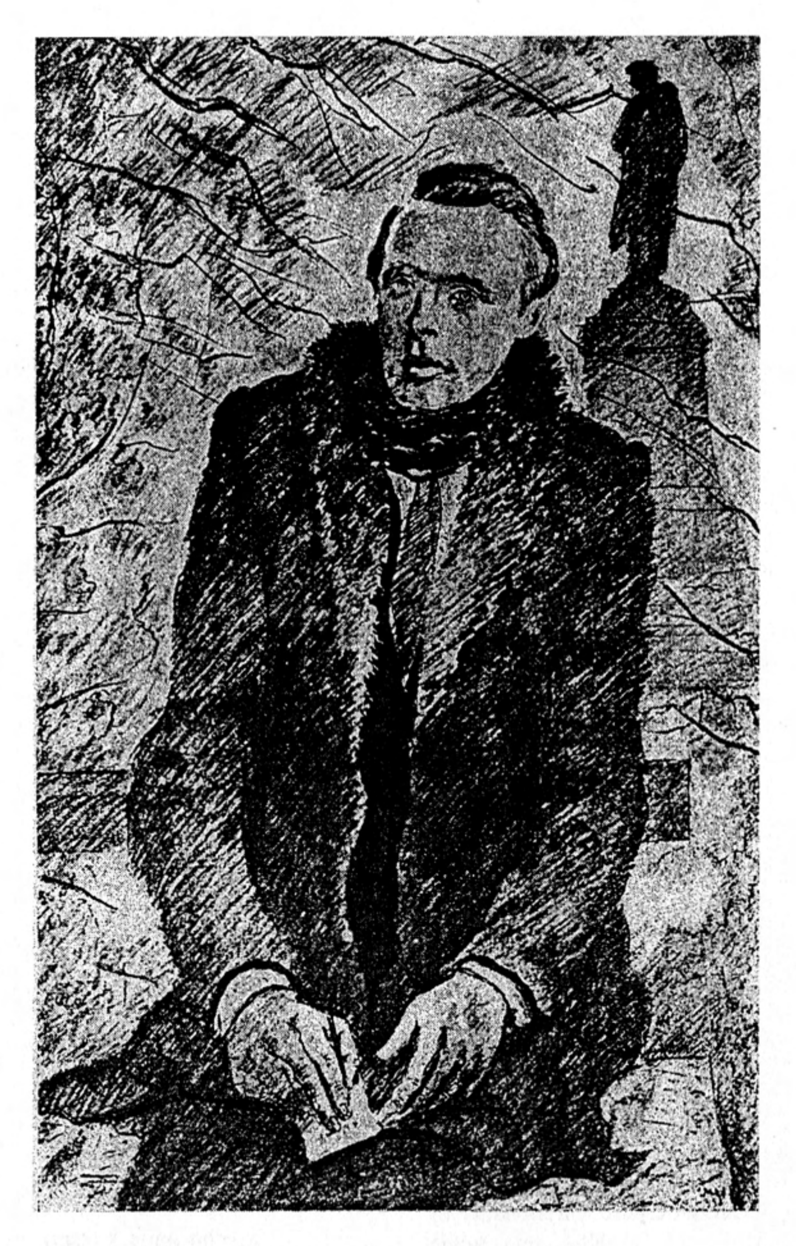
ISBN 5-9208-0021-6
ISBN 5-9208-0213-8 (т. 5)

В. Хлѣбниковъ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ



В.Е.Татлин. Портрет Велимира Хлебникова.
1938

I

* * *

Со спутанной головой, руки опустив, некто заушения ждет на краю скалы серебряной в тумане.

Сине-черная тьма вьется причудливо, в складки ложась, либо струями звонкими синими падает отвесно вниз, где пропасть виднеется.

С опущенными руками заушения ждет.

Изогнувшись, два мака в очи глядят вам.

Красные-черно, запекшейся крови, на ножках узорных, на поле мерцающем синем. Синим зраком, там, где туманная пропасть. Ало-черной запекшейся крови, на поле мерцающем синем.

В очи глядят вам упорно, насмешливо, страстно и беззвучно дрожат их губы, колеблемые смехом.

Тонкие губы дрожат: миг — и все потрясет хохот безумный, веселый.

Либо в складки легла, либо, звеня синими струями, падает вниз по отвесному камню и замолкает, слабея, внизу, где пропасть туманная стелется. Либо синими ручьями звенят, падая вниз.

Очи подымет тогда василек у ног их лежащий, долго будет глядеть.

Ножки узорные.

— Вам непонятно? — гневно я крикну.

Красный след зачерти от угла до угла.

Но слаба, холодна страница, возьми красный след, зачерти страницу, и пусть от него веет страданием, хохотом, ужасом диким, призраками, что грезятся там, где кровью полита земля.

4.VIII.1905

* * *

Была тьма, была такая черная тьма, что она переставала казаться тьмой и представлялась вся слитой из синих, зеленых и красных огней.

И в этой тьме ползали чьи-то невзрачные, липкие, неотличимые от земли существа, чьи-то незаметные, скучные, тихие жизни. Но эти существа не замечали скуки жизни. Чего-то им недоставало, чего-то им нехватало, к чему-то они порывались, но они не знали, что это жизнь скучна, что это скука — жизнью подымается в них порой и жадно и долго дышит, как чахоточный, и падает, схватившись за впалую грудь. И жили они долго и скучно, долго, очень долго, но скучно, липко ползая во тьме.

И в той же тьме был один святлячок, и он подумал: «Что лучше: долго, долго ползать во тьме и жизни неслышной или же раз загореться белым огнем, пролететь белой искрой, белой песней пропеть о жизни другой, не черного мрака, а игры и потоков белого света». И больше не думал, но обвязал смолой и пухом ивы тонкие крылья и, воспламененный и подгоняемый бушующим огнем, жалкий и маленький, пролетел белой искрой в черной тьме и упал с опаленными крылышками и ножками, непуганный, умирающий.

И черная тьма призраками давила светлячка, лежащего в бреду, с воспаленным воображением, в последние тревожные мгновения.

Но свет мелькнул. И прозрели существа во тьме, неслышно и липко ползающие по земле: с лебединой силой проснулась тоска по свету.

Когда же после тьмы наступил день, тогда в потоках солнечного света кружилось много существ. То кружились они, познавшие свет.

Трупик же светлячка был засыпан цветами.

<1905>

ПЕСНЬ МРАКОВ

Мрак и мрак, мы тянем друг друга за руки, упираясь в ноги и откинув головы на худых шеях.

Мрак и мрак, мы напрягаем мышцы худых и длинных тел и растягиваем в длительном томлении связки рук.

Мрак и мрак, нас двое с упавшими низко волосами.

Леса ощущений в смутном мраке. Шорохи темных и смутных чувствований. Темный лес. Светает. Могучий короткий клич. О, солнце озарения! Из-за темного смутного леса показывается большой и скорбный орел и могучим полетом устремляется вперед, с всяким мгновением, туманным и огромным утром, становясь больше и яснее. Вот он опускает крылья и садится на дерево.

Он вытягивает шею и три раза издает клич холодный и могучий:

— Это я. Мысль. Я пришла к решению и сложила крылья.

В густом мраке:

— Я и он завтра умрем.

Призыв издали:

— Явитесь, нежность, трогательная дружба.

В густом мраке:

— Во мраке здесь двое юношей решили умереть с другими за благо многих. О, плачьте, плачьте слезами радости!

Из мрака:

— Я и он — умрем.

(Надежда, чьи движения робки и прелестны, подлетает и садится на ветку молчания, где неподвижно сидит с просящими глазами; после отлетает, оставив нагой ветку молчания. И после снова боязливо прилетает и садится на ветку и смотрит просящими глазами. И так молчаливо улетает.)

<1905–1906>

ЮНОША Я — МИР

Я клетка волоса или ума большого человека, которому имя — Россия.

Разве я не горд этим?

Он дышит, этот человек, и смотрит, он шевелит своими костями, когда толпы мне подобных кричат «долой» или «ура». Старый Рим, как муж, наклонился над смутной темной женственностью Севера и кинул свои семена в молодое женственное тело.

Разве я виноват, что во мне костяк римлянина?

Побеждать, завое<вы>вать, владеть и подчиняться — вот завет моей старой крови.

<1907>

ПРОСТАЯ ПОВЕСТЬ

Небозобый гуллит, воркует голубь.

У дальних качелей, как вечер, морщинится, струится платье.

Даокий проходит по полю у тополя юноша.

Ноги, как дни и ночь суток, меняют свое положение.

Вечер вспыхнул; без ночи возникли утра поднятых рук. Его ресницы — как время зимы, из которой вынуты все дни, и остались одни длинные ночи — черные.

Остались шелковые дремлющие ночи.

Ожиданиевласа, одетая в вечернее, девушка.

И желаниегривые комони бродят по полю, срывают одинокие цветы.

Неделей туго завитая коса девушки — дни недели.

Рука согнута, как жизнь свадьбой, в руке — цветок.

Никнет, грузнет струистый вечер. Не надо ничего, кроме цветка — сон-травы. Крыльями птиц разметались части платья даокого юноши.

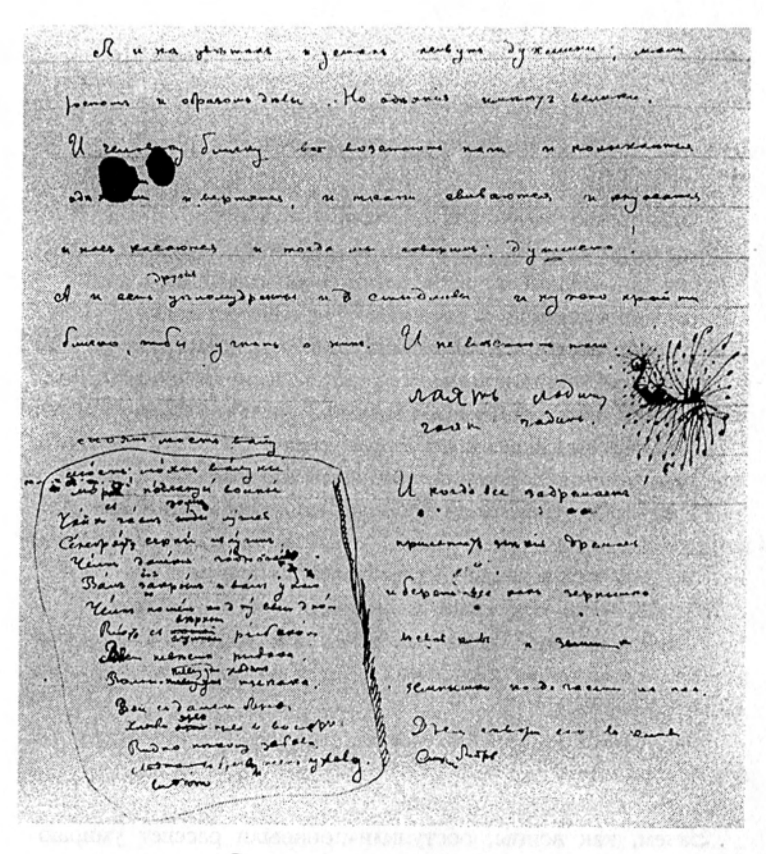
Он рассветогруден. Его кафтан, как время, и пуговицы, как ясные дни осени.

В руке ник платок-забвение.

Зачем, как воины, обступили-прикрыли рассвет умирающий — вороны?

Впрочем, горнишн<а>я принесла настойчиво зовущей госпоже морель.

<1907>



Страница рукописной тетради:
стихотворение «Моют, моют валуны...» (СС, 1: 72)
и часть текста «А и векыни обитают в веках...»

* * *

А и векыни обитают в веках, как русалки некие в плёсах. И у каждого века своя векыня. А и подобны они лебедям с наклоненными шеями и разверзстыми крыльями цвета времени, он же между голубым и синим цветами, яко голубьяская полночь. А и уста у них человечии.

А и на цветах и устах живут духмини: мали ростом и образом девы. Но одеяния имеют велики. И человеку близку восстают наги и колыхаются одеяниями и вертятся, и ткани свиваются и кружатся и нас касаются, и тогда мы говорим: душисто!

А и есть другие, целомудренны и стыдливы, и нужно пройти близко, чтобы узнать о них. И не восстают наги.

И когда все задремает, прилетает некий дремач и берет всё, как зернышко, в свой клюв...

<1907>

* * *

Морных годин ожерелье одела судьба. Кинула, молвила. Поправила венок нехотя. Вымранных вышней волей народов ветка черемухи подается в окно узкое, узкое! Вымранных жизней ветка смрадная.

Жрица Вещая,— мирами покрывшая беловыпуклую грудь, не ты ли на перстне с мизинц<а> имеешь яд? Тот,— который заставит отлететь юношу в высокий час в загробный дол?

Из страны Радостной Мори иду я, морин, несу в руках свою земную душу. Девушка навстречу мне с распущенными волосами.

— Это ты, морин?

— Я, деушка. Поцелуй в уста!

— Целую. Нас двое. От берегов нудной яви к берегам высокой радости Мори идем мы — нас двое.

<1907–1908>

* * *

Бельмо-белючая-белючая беля<вой> белины плывет лебедь на синьме-синючем-синючем озере, где зеленючи тростники.

И сокол дрожит, и зазвенел звонок на распущенном, трясимом нежно и быстро хвосте.

И сокол — взор ночи — тонет в небе, и изогнутогорлые плывут цапли.

И всадник скачет небавый.

И приходила дева-сон, ранняя часть коей — дева, поздняя — сон.

<1907–1908>

ЛЮБАВА

В цветне выделялись звукоглаз и звуковая бровь. Так сменялись ткани и рукозвученница плыла в зыбях.

И небавый взор дикого юноши, и водины уст, и смеюнчики небоемов, и поцелуешерстная древиня, склоняясь вечеротел<ом> с ветлы, печатлеет мглою уст мол поздний: будь мой. Но спорым споруном быстро закачались тростники, и чайкошерстная мелькнула рука.

Колыбается водовое Резничего.

Водяные бороды блещут каплями и блескавица голубая стру<ит> вольно.

<1907–1908>

<СИМФОНИЯ «ЛЮБЬ»>

Я, любчик любвей, любимый, любок, любяга невлюбляемых любок, в любели люблю любованием, олюбью, и любью залюбив любинища, любокий в любинах, любака нелюбанных любок, люботствуя, любик, любую лю́бую из любок в любильнях, люблятнях, любятнях и олюби любнец, любни любокой Любини, залюбив безлюблую любку.

Люба приполюбливала: — Любишь Любиму? — Любиму люблю,— люботствовал любхо, возлюбнея,— и любезное люблю. И нелюби безлюбням любить призалюбливаю.

— Залюблюсь-влюблюсь, любима, любнея в любинках, в любви любенеющих.

Любкий! любкий! в люблениях любежа принеолюбливает любитвы любчика с любицей, любезного с любезной.

Любезные! любезные!

Любынь любынников, боголюбовная ясть люб.

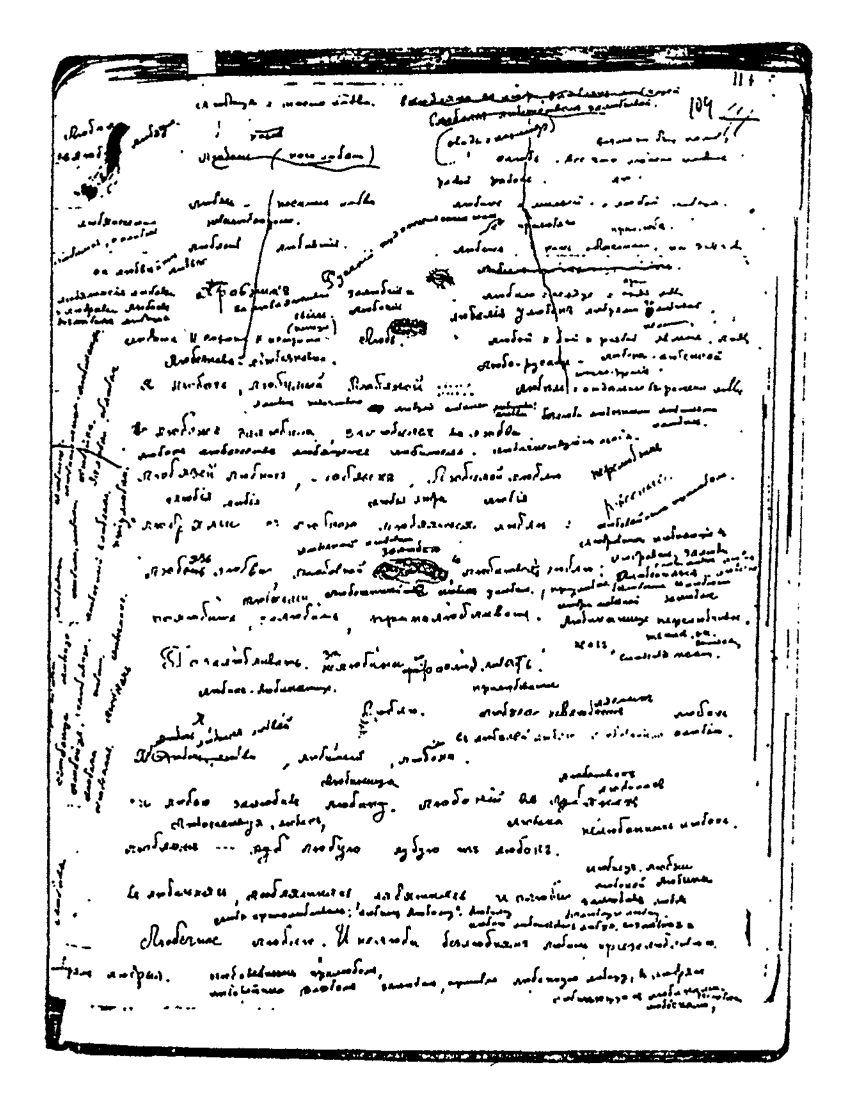
Любрями олюблять, нелюбрями залюбить, полюбить, приполюбливать, призанелюбливать, прионелюбливать — любом любное любить. О, люб!

О, любите неразлюбляемую олюбь, любязи, и до нелюби долюбство любезя!

Людо, любеник любчей в любях любицы, любенней, люблец любиц, влюбляка в любчонок, любёх и любёнок, любёнок любёнку, любак в любищах любущих, любун в любочек, о любун, о любун!

Любезнь любезнуют.

Любить любовью любязи любят безлюбиц.



Страница рукописной тетради:
словообразования на тему «Любь»

Любаной любим, принезалюблен к любице, любынник, любаной любимый, о, олюбись!

Любец солюбил с любецом любеца; любиня, безлюбкость олюбливая, любажеские любавы и любравы любоев возлюбила любезно.

Любочеств люброк, люборовник любнеющий с приолюбенелым любилом, любень любилень любящей, любязь олюби любков, в любню любух любекой влюбчий занедолюбил любимое безлюбье любоя любей любежников, любнел, в олюбенелые нелюби любезя.

Любный приулюбчивое любилу любежников, люблых любашечников, в любитвах и любое олюбил, залюбил, улюбнулся в любицу.

Любравствующий люброрвник любачеств разлюбил любиль, занелюбил любища любоя Любаны.

Любец с любицей любавы, любну в любраве люброрвника, любить любнею, люблин.

Любкóй! Любкóй!

Принеулюбил любирей любящих Любаны.

Приневозлюбил любря Любаны, любоя Любанина.

Улюбил в любиле любовь Любини, прилюбь любы предлюбий, залюбь-любы любежа лю́бой, любенея в незалюбчивых в любежах.

Любило Любаны залюбилось нелюбью к любиму, возлюбила нелюбины, любицей любима, приулюбилась в залюбье любящей нелюбка, в любачества любучей невлюбчивого.

В любиль любила любно любиться, не приулюбливать, да незалюбила до нелюби любицей любка, нелюбязем любицы, нелюбью в недовлюбенную любошь в безлюбкого.

Разлюбил в неразлюбиль улюбчиво любить люботу приулюбленную любима, излюбленнейшего любёнка, любана, люблица.

Разлюбил неотлюбчиво любить, приолюбливать нелюбовую любовню, любирей не любящую.

Любим любимый, олюбил нелюбонь не любреть — не любить любицу, любицей и любри любящую, возлюбил Го-любицу, и голюбятся го-любь и го-любица, к любрям и любирям любрые.

Любовейным прилюбом,
любовейным олюбом
залюбил, прилюбил любанную любицу,
в любрях любнеющую с любиками, любóчками, го-любятами.

<1907–1908>. <1912>

ЛЮБХО

Залюбясь влюбяюсь любима любл̇ѣя въ любисвахъ въ любви любенѣющихъ? любки! любкій! любрами олюбрясь нелюбрями залюбить, полюбить приполюбливать въ любл̇ѣніяхъ любѐжъ Трипеоблюблютви любывать не любзыя! любезныя любезныя! любчика съ любицей, любезнаго съ любезной, любыгь, любышникъ боголюбовная лясть любъ любезя. Призанелюблюбивать Пріонелюбливать любомъ любное любить. О любъ; о любите. наразлюбляемую олюбовь, любязи и до не люби-долюбство, людо, любенный, любизъ, любизъ любенку, любешникъ любчей въ любятъ любицы, любенный, любехъ и любенъ о любенекъ лубунъ въ любку, бубочное о любунъ. Любить любовью любязи любятъ безлюбицъ. Любанной любимъ принезалюбленъ любышникъ любаной къ любицѣ. юблецъ солюбилъ съ любецомъ любины любина любезбѣсть любковая, любливая въ люблюбухъ любской влюбчій олюбилъ зденною любимое безлюблюбля любсей любельниковъ любнѣлъ въ любенѣ. любыя нелюби любязя.

55

Страница сборника «Дохлая луна»

* * *

Отсутствиеокая мать качает колыбель.
Дитя продевает сквозь кольца жизни ручки-тучки небыли.
И <любог> отца скачет по полю конским телом буйхвостым.
И полистель войскам взоров дает приказы: «Ряды, стройсь!»
Зазвен<ели> тетивы и звенел голубой лад луков.
И ресницы — копья.
Мальчик <с> развевающи<мися> кудрями будущего смеется.
И небовые глаза, и блестит золото звезд в них, и ночь,
протянувшаяся бровью.
Зима смеется в углах глаз.
Небистели вьются, кружатся за ресницами.
И звоногрезежн<ые> сыпал торговец каменья.
И девовласый онел был, и зрачкини моймa взяли синель.
И онаста моймом была разумнядь, и северовласая сидела дева.
И черты зыбились толбой, и были онасты ими взоры дев.
И молчаниевлас был лик и оналикий бес.
Многолик таень и теблядины пятнаты моймом.
И тобел широкозеват и вчератая дева и мновый дух.
И было оново его сознание и он<овой> его мысль.
И правдавицы разверзлись нелгущие ресницы.
И онкий возглас, и умнядь вспорхнула в глазовом озере.
Онкое желание.
Оникане и меникане вели сечу, выдерживали осаду взоров юноши.
Век с толпой мигов.
Онило моей души.
Сквозил во взорах онух, онелый сон онимая.
И онел, врезающий когти в мойел.

<1907–1908>

* * *

И, всенея, ховун вылетел в трубу и, повселенновав, опять влетел в избенку. И мы лишь всеньма всенеющей воли, волерукого дикана. И белязи были скорбновласы и смехоноги. И небнядинное голубьмо за ними сияло, сиючее, неуставающее.

И волязь стать красочим учился у леших блесне взглядовой, лесной, дикой, нечеловеческой. И смехорукое длилось молчание.

И веселовница нудных рощ радостноперыми взмахнула грустильями. И скорбун по вотчинам Всенязя качался в петле. И грезог-немог полон был тихих ликов. И соноги-мечтоги вставали в мгловых просторах. И то, о чем я пишу, лишь грезьмо грезюги.

Но сонногрезийцы прекрасны и в небесовой мгле. Небесатый своей думой я утихомирился и лег спокойно спать.

И был скорбен незаметный лик. И убегает умиравый в сон.

И вселенаты были косицы за ушами, и волк днешёрстный пришел и не минул: не стало бедночей. Чтыня лукавежная.

И сонеж и соннежь и всатый замыслом и всокий господин читака чтой читок чтоище перечетчик почетчик читомое и ничтожина и всеянин и всень и веснь и всявый ус и ничтовая бровь и всяный голос и всовник и ничтожево и ничтовь и ничтье ничтимь ничтей и ничтак ничтва вселенель ничтыня и лукавда красавда ничтец ничтимка всето ничтота ничтовенство вселенеча меня и была смерть читка чтяка весьтень везда вседа ничтимень.

И соног-мечтог был нами читьбище читьба, читва, читач, <чита>ль читежь читажа, читязь читьмо читавица.

И малочей звенел смехом и мальни лежали на бреге, и малыши звенели вершинами, и малок вселеннел. Так, звукатая времемель ясными струилась завитками с дедиканова плеча.

И девиня, страдалая взорами, взметнула озаренными крыльями. Красотей же засмеялся.

И были глубинны синие взоры и сиял змей.

И, разрывая руками мыслоку, радостная вышла на берег дева, сияя устами и телом. И нагочеи смеялись. В смехотянном, в смехотовом венке лике были два озера грустин и смехотучие заревые уста.

Негей кинул венок, но кто его поднял?..

И Вселенномир зыбил, звучал студными ветками.

О, слововаи! припадите к земле, как земичи!

В молчановом ручье омойте пыльные ноги.

И яроба народоструйных вод и весеннекликий юнеж, и вселенноклик, и миромиг, и безумвянные дебри недучих раст.

И в белом месяцовом лике холодные враждунные глаза; и небомойки из хмаровых корыт опрокидывали, лили воду, оголяя локти. На хмаровых лети-полетай копытцах резвилось смешундитя.

И смехчие выползали дети из вечностью спаленки, и вечностекафтанный был муж и пожарокудрые личики.

И дыхчие полымем змеи и косматые миристые гласом дива, и постепенно миренело утихающее тихвой величия слово: я! и тонуло в немичии.

И краснево в золотучем, не ясном поле и красночий мыслями и кудрями. И пыхчие снопами радлявого и радостного золота голубочешуйные утра. И вольнва и волнва волнистой и вольной нивы воль. И жнец нивы. И летуницы сладко и ладко гласные. И вопрос им людища тьма-темь-власого: кто вы? и ответ: сладкопёрые.

И желаниешёрстный пес, лютой, злой. И звена звенят серебряной необходимостью. Неоградимое воль.

И бояйца голубева, как зла сил. И земее зёма его лик.

И бедища злостепёрые. И молчанные дворцы и за «а»-рцы.

И вечниканша веременная собой времовым ростом.

И баймо баянной звучали и звучаль немотострунная, о! замолкнет она, когда струны порвутся руками чужими.

И надело землявый плащ небо и старичие голубо-седых стариковских волос, и ясавец мысли ясной срезает думель и летят негистели мыслоковых осок и поют-поют: «Умиравень милый, умри».

О, счастьеклювая, и ты, черноглазая, легкая-легкая по кустам и деревам порхалица! птичка, приди, приди! О, желтучие уста немвянок молчановых, серотелых сирот.

Молчань и лебеди грустливо-грустные — не никлые ли цветы, шея и слухока и молвняк по диким брегам глаголокаменным?

И моля лебедя смерти: приди, белошейная.

И язык — звукомые числа <нашего бытия>.

<1907–1908>

ПЕСНЬ МИРЯЗЯ

У омера мирючие берега. Мирины росли здесь и там, белые сквозь гнезда ворон. Низ же зарос грустняком.

Лось приходила сохатая, трясла берега, нежила голову. Свирела свиристель, ликуя веселизненно и лаская птичью душу в игорном деянстве. Смертнобровый тетерев не уставал токовать, взлетая на морину.

Кругом заросло красивняком и мыслокой.

Тихо на небе.

Красивей выказывал всю красоту членов.

Небо синее.

Слезатая слезиня, от нее ушла навсегда веселость. Сказала «прощай» и бросила ветку слез.

Миловель стоял в пущах. Миристые звонко распевались песни. Прилетали неведомо откуда маристеющие птицы и, упав на ветку, начинали миристеть.

И был юноша с голубой мглой во взорах, в белой одежке, с первоодеванными лапотками, и, подслушав миристель, срезал тростник и, вырезав дудочку, называл ее мирель, себя же — первомирельщиком.

Когда же на яри зеленой, зеленей лугу, в алом и синем водили игорный круг при зовах молчащей свирели, тогда умолкал.

Гласючими молотами били слово вдали словельщики-товарищи.

Иногда на белый камень у лодочной пристани приходила дочь леса и, положив белый лик на колени, бросала на темные воды миратый взор.

Когда же воды приходили в буйство и голубые водяные ноги начинали приходить в пляску, вдруг брызнув и бросив черными с белыми косицами копытами, тогда звучал хохот и кивали миряными верхушками осоки и слетались мирязи звучать в трубу, и под звон миряных гусель и на некиих нижних струнах рокот мерный выходил из голубых вод негей нежить щеки и ноги под взорами хорошеющих краснея хорошеек, подымающих резвые лица над синим озером, среди тусклых облак лебяжьего пуха и вселеннеющих росинок росянок.

В мыслезёмных воздушных телах сущих возникали каменные взоры и взгляды, а высеченные из некоего изначального мирня мировые тела трубящих мирязей свивались в двувзглядный взор и медленно опускались на дно морское.

Ах, эти звучащие мысли и рокот сих струн! Кем вы повешены на то место, откуда я взял вас? Вы, высокие струны от звезд к камням и рощам. Качались мысловыми верхушками прекрасные грезоги. Синь, ветер и песнь, и ночная тишина, и ночная вышина струн, оттуда сюда, как копья времен, как стража усталого ропота, как воины с зовом оттуда сюда!

Гордо тяжкий пролетал мирёл, пустотовея орлино согнутым клювом. Кто мирланье нашел перо, кто мирланьих услышал веяние крыл, кто мирланий услышал зов, тот изменился. Травы сжигает воля «сюда!» и клекот.

Лелеет себя и игры малая жизнь на листьях купавы. Подымая белые пухлые губы и хохоча, брюхан водяной тешится, сдувая пыль с водяной зеленой яри, хватаясь за ребра.

О, юноша пастушонок в белом, играющий в мирель! В белых своих лаптях и белых одеждах. Звонная песнь звонатой свирели.

И слезатый Белун. И смехчеустые лешие с звонкосмехотливыми копытами. Они натягивают с чела волос и играют, как на гуслях, конским копытом, резвари и шалуны. Величие — родственник слез.

Ветхим временем текут волосы Белуна. Но сияют еще не постарелые глаза.

Грозные, прекрасные, неподвижные губы. Как дальнее озеро, слеза остановилась <в> косматых величественных кудрях на

груди. Не озеро ли в лесу под синим последождичным небом?..

Так играл пастушонок. Лесини свисали вниз острыми грудями, так что их неопытный взор мог бы принять за осиные гнезда, вникая в смысл песни.

И жители недальнего села несли в зеленючие недра свои взоры, мелькая белючим и синючим одежды, обмениваясь таинственным священным шепотом. После оставляли одежды синеть и белеть.

Так пел пастушонок-свирельщик, не отымая свирель, свитую из золотых кругов и лиц.

Стала веще-старикатой даль, прекрасной и чистой дня тишина. Стала взоровитой чаща. И ворковали без умолку, реяли и падали в высь и в низ умрутные скоро голуби желаний. Кора стволов искрится глазами. Течет смола желаний.

Так пел он. Ужасокрыл смирился, улетая.

Будучи руном мировых письмен, стояла людиня, заклиная кого-то опрокинутыми в небо взорами, молящаяся, мужественная и строгая.

Так пел отрок.

Голубые взоры Белуна подернулись влагой.

И отнял свирель отрок. Упал к стволу дуба.

И свирель поднял липорукий леший и тоже запел.

Я был еще молодой леший, я был Городецким, у меня вился по хребту буйный волос, когда я услышал голос.

Мы подходили под благословение к каждому пруту, когда я услышал голос, увидел руку.

Нет, не стоит того, чтобы привести ее всей. Не стоит!

Усмехнулся седым усом старый Белун и вспомнил о ком-то отрок.

Рассмеялись весенними устами лесини и усмехнулись ему древини.

Так пел леший.

Идутные идут, могутные могут. Смехутные смеются.

А мирязи слетались и завивались девиннопёрыми крылами начать молчать в голубизновую звучаль. И в страдоче немолей была слышна вся прелесть звуков. Ах, каждый стержень опахала кончался ясным лицом.

Молчаль была оплетена небесочеством, и была их голубизна сильна, как железо или серебро.

Текло вниз молчание, как немотоструйный волос.

Одеты холодом слезоруслянные щеки. Сомкнуты сжатые уста. Строгие глаза. Голубями олеплены жерди. Верейная связь исходит из страдалых глаз. Ты взор печали в голубой темнице.

Эти гусельные, нежные, мглой голубой веющие пальцы с камнем синей воды на перстне.

И зори, покрывшие стержнями его тело, главу и смелость.

Зодчеством чертогов называет божество пламя своего сердца. Мглу не развеяли взоры и уста над деревом вишни, и облако.

Красновитые извивы по сине-сенючему морю.

Бело-жаровый испод облаков.

Белейшина — облако. Синины. Синочество.

Шла слава с широким мечом.

В глазах горделивый сноп мести поющего — им, смерть крыльями обвила главу ничтожного, где все велики, великого, где все ничтожны, робкого, где все храбры, храброго, где все робки.

Миратым может быть зрение лаптя. Певец серебра, катится река.

Вон стадо-рого-хребто-мордо-струйная река в берегах дороги. Жуя кус черно-чернючего хлеба, волочит бич белый мальчик.

Зори пересмеялись и одна поцеловала в край сломленного шапкой ушка.

И поцелуй отразился на жующем хлеб лице.

Сумерковитый пес с костреющим злым взором.

Опять донесся рокот незримых гусель.

Но немотная к запрятанным устам дующего приложена таинственной рукой семитрость.

Там степи, там, колыхая крылья сереброковылистые, седоусый правит путь сквозь ковыль старый дудак.

Воздушная дуя протянулась по травам.

Стали снопом сожженного, бегут в былое вечерялые у лебедей под могучим крылом и шеями часы.

Травяная ступень неба была близка и мила.

И мной оцелованы были все пальцы ступени.

Страдатай пустыни и мест<и>!

Не ты ли пролетаешь в сребросизых плащах, подобный буре и гневу? Когович? — спросят тебя. Им ответишь: я соя небес!

Проскакал волк с цветами гаснущего пожара в шерсти. Мглистый кокошник царевен вечера, выходящих собирать цветы.

Тучи одели утиральником божницу.

Кланяются, расслоняются цветы.

Синатое небо. Синючие воды. Краснючие сосны, нагие... чьи локтероги тела.

Зеленохвостый переддевичий змей. Морезыбейная чешуя.

Нагавый кудрявый ребенок. Чья ладонь — телокудря на заре.

Пронизающие материнский дом во взорах девушки, чье рядно и одеймо небесаты голубевом, тихомирят ребенка.

И умнядь толпоногая.

И утроликая, ночетелая телом, днерукая девушка.

И на гудно зова летит умиральный злодей и казнит сон и милует явь.

Наступили учины: смерть училась быть жизнью, иметь губы и нос.

И утролик и ясью взорат он.

И яснота синих глаз.

И веселоша емлет свирель из пука игралей.

И славноша думновзорен.

И смех лил ручьем. Смехливел текучий.

И ясноша взорами чаровал всех. И нас и женянок.

Дебрявая чаща мук.

И мучоба во взорах ясавицы.

И, читая резьмо лешего, прочли: сила — видеть Бога без закопченного стекла, ваше сердце — железо копья. И резак заглядывал тонким звериным лицом через плечо.

И моя неинь сердитючие делала глаза и шествовала, воркуя як голубь, вспять. И гроб, одев время, <клюв> и очки,— о, гробастое поле — с усердием читал «Способ возделывания и пробы вкусных овощей».

Из черновиков периода
Частная

[illegible] и [illegible]
и я мотыльков
все ведро и заката [illegible] распинался,
[illegible] И слепый [illegible] тоску раскачивала
[illegible] слезою растекся слезами воронов
и светучие гнущие деревья и [illegible]
Звучно шумно было днем. Звучно было красные дни
и была небустая мольба о голубом — голубом ее глазе
под золотыми ресницами, и [illegible]
Смерть[illegible] тосковали о невозникших зорях.
Была тысячная ладья и голубые струи.
И Достоевскиймо в на лике туманного [illegible].
~~И [illegible] на кресле нагой юноша~~
И время было хохолом на голове бурно причесавшегося
молодого человека, и волны юной души.
И всегда под этими и другими небесами былого
мира был я, с небо звучными зрачками [illegible]
И хохотавший сон был неизменным и несменя.
И слава всегда вабила нас женивыми голосами.
И мнение о мне, что я есмь, ошиблись.
И жизнь многообразных мороков не опровергнута.
И снова [illegible], [illegible].
И небавая взорами очами девица.

написания «Песни Мирязя»
коллекция

Резьмодей же побег за берестой содеять новое тисьмо.

О, сами трепетным ухом к матери сырой земле!

Не передоверяйте никому: может быть стар, может быть глух, может быть враг, может быть раб... О, вникайте в топот дальних коней!

И сами выхчие звезды согласны были.

И в глазах несли любязи голубые повязки, младший же брат, согнувшись, ковал широкий меч, чтобы было на что опереться, требуя выдела. И взял взываль и взывал к знобе и чтобы сильных быть силачом. И засвирель была легка и узывна; пьянила.

И в мыслоке сил затерялся, я-мень.

И давучая клики немда была безжалостно растоптана конями чужаков... без узды и без наездников.

И ясивый звездный взор.

И, взяв за руку, повел в гордешницу: здесь висели ясные лики предков. О земле родущей моленья, и небомехий зверь и будущеглавая ясавица, и «голубчик» мироперый и «спасибо» величиной ли с воробышка, величиной ли с голубя, величиной ли с вселенную?

И спасиборогий вол и вселеннохвостая (увы: есть и такая) кошка.

И все лишь ступог к имени, даже ночная вселенная.

И голубой беззвучно скользнул таень.

И сонняга и соняжеская мечта овсеннелым. И сонязев рок — узнать явь.

И соннязь бросает всеннеющую тень над всем, и земь, воздух брал струнами, подсобниками в туманных делах славянина.

И не устает меня пленять, мая, маень; и я — тихая, грустная весть мира с сирым, бедучим взором.

И в звучешнице верховенство взяли гусли.

Ах, прошла красивея, пленяя нас: не забыть!

И в прожив от устоя рода до мородстоя плыли мары, яснева хмары. И небее неба славянская девушка.

И ярозеленючая кружавица, овеваемая и нагучая локтями и палешницей, и нагеющая и негеющая полуразверзстыми бесстыдными устами, и мертлявая полузакрытыми глазами.

И теневой забочий и котелкоцветная серейная лужайка, и зыбкая и зыбучая на ней плясавица.

И хвостозеленовый и передодевичий под веткой лег змей и вехчий смехом век стариканьши. И трое белых стоем, полукругом на синеве, у зеленева.

И пожаро-косичный, темнохвостый кур!

И мучины страдязя и бой юнязя. Хоробров буй, буй юника.

И юнежь всклекотала, и юникане прозорливыми улыбками засмеялись.

И юнежеустая кое-когда правда. И любавица и бегуша в сны двоимя спимые, ты была голубошь крыла.

И игрец в свирель и дружба мечты. И святоч юнвовзорый.

И вселенатые гривой кони и палица у глаз; две разделенные днем ночи.

Смехдомёт из мальчишеской свирели и бессильные запереть смех уста. И смехучий вид старца; нес в мешке вечность.

И давчий красу и любу — отнял. И заведенные часы.

И деблы слетались, деблиные велись речи.

И ясно было тихо. И яро.

И грясло ясна на небо. И хохотуха с смелым лицом пролетела по ясневу.

Сумрак и мгла — два любна меня.

Красивейно рядится душа в эти рядна.

И в венке дружества пчел пророк.

И дымва зыбетелая делает лики и кажет роги.

И взорлапая снедь.

И улыбальями голубянноперыми завернулись, смеючись, немницы. И умнота и сумнота голубых очей голубого села радостна.

И шли знатцы. И безумноклювые сорвались личины. И повязанные слепинами и неминами шествовали кроткие бухи.

И небесючая небесва никла голосами золу слухчему.

И плыли небеснатости рокотом.

И Мещей добрядинного пути.

И разверзстые бездны уста. Любноперый птица-морок.

«Умун ты наш», — баяли зори.

И соколом — тучевом взлетел к ясям неон.

Дядя Боря на ноги надел вечностяные сапожки, на головутемя пернатую солнцем шляпу. Но и здесь с люлькою не расстался.

И голубьмо неба не таяло и не исчезало.

И дело мовевая и золотучие-золотвянные струны, и звучмо его нежных, звенеющих нежно рук, и смехотва неясных уст, неготливых, милоши смехотливых, улыбчивых.

И улыбчивяный брег, и печальные струны, и веселые березки по брегу по высокому, и дикие печальные стволы.

И грозы и немва из тростников белюси лики кажет. И праздинко-языковый конь.

И ваймо и ваяльня слов; там ваймодей и каменская псивь.

И <...> улыбково-грустные, и волосатый старец, и девопеси в синих чертах. И груды делогов мертворукого мертвобописца. И духом повеяло над письмобой и письмежом уже.

И лепьмо и лепеж, и грустящий грустень в грустинах, и грустинник с всегда грустными печальными глазами, и любучий-любучий груститель — взгляд жарких любоких вежд; но уста — садок немвянок и порхучая в нем немва.

И весенел чей-то юный лик.

И земва и небесва негасючин шепотом перешептывались; и многозвугодье и инозвучобица звучобо особь.

Скакотствует плясавица вокруг весеннего цветка.

Но немотствуют люди.

<1908>. <1912>

ИСКУШЕНИЕ ГРЕШНИКА

...И были многие и многия: и были враны с голосом «смерть!» и крыльями ночей, и правдоцветиковый папоротник, и временатая избушка, и лицо старушонки в кичке вечности, и злой пес на цепи дней, с языком мысли, и тропа, по которой бегают сутки и на которой отпечатлелись следы дня, вечера и утра, и небокорое дерево, больное жуками-пилильщиками, и юневое озеро, и глазасторогие козлы, и мордастоногие дива, и девоорлы с грустильями вместо крылий и <ногами> любови вместо босови, и мальчик, пускающий с соломинки один мир за другим и хохочущий беззаботно, и было младенцекаменное ложе, по которому струились злые и буйные воды, и пролетала низко над землей сомнениекрылая ласточка, и пел влагокликий соловей на колковзором шиповнике, и стояла ограда из времового тесу, и скорбеветвенный страдняк ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши. И зыбились грустняки над озером. И плавал правдохвостый сом, и давала круги равенствозубая щука, и толчками быстрыми и незаметными пятился назад — справедливость — клешенный рак. И шествовала времяклювая цапля и глотала лягушей с мировой икрой, на приятноватых ногах, и был старец, возделывавший лжаное поле и молодежеперый кур застыл перед проведенной чертой.

И свирелью подносила к устам девушка морель, и пролетала зарянка с молитвовыми перьями над озером грустин, и небо было небато взорами женщин. И зыбились грустняки вершинами, и блудливая пролетала роняющая солнца кукушка, и плыл усатый молчанием голос, и были ночалые глаза под вечеровой вет-

Здесь дебютировал В.Хлебников.
(В этом же номере журнала: Велимір. Песнь машины — неидентифицированный автор)

Жак Калло (1592—1635).
Искушение святого Антония.
Офорт

вью, и блудатые уста у негеющей ноздри, и змей с голосом «живу», и сквозь топливый тростник плыл прошлоекрылый селезень к будущехохольной утке, оставляя круги и подымая крылья, и серебристые оставляя борозды, и эти омирелые уста в прежних сумерках, и птичка-богоед, и молчаниелистный лютик, и ужасавы, бегающие по всем следам.

И мучеба во взорах немуха.

И видения все учащались и учащались, и после видения и вытаскивания обратно проглоченного кем-то куска бессмертия, с помощью крючка и при звуках общего хохота,— после метели ужасных и страховидных кумиров был Ястмир людноногий, парящий над всем, и расхаживал некий мирач, никем не мнимый, но оставляющий порой пером ужас о своем существовании.

И ответным клекотом клекотал Ястлюд, срывающий клювом человечествянную пену с людяного моря. И повсюду летали пустотелые с безбытийными взорами враны, и всё сущее было лишь дупла в дебле пустоты. И молчаниехвостый вран туда и сюда летал над опустелыми жуткими нивами. И была кривдистая правда, и качались грусточки над озером грустин, и был умночий пущи зол, и ужас стоял в полях мыслеземных, и пение луков меняубийц...

Волк-следотворец завыл, увидел стожаророгого оленя. И вся вселенная была широко раскрытый клюв ворона.

Но с ее лица не сходила овселеннелая улыбка сил, и время не уставало держать под рукой черный костыль...

1908

* * *

Белорукая, тихорукая, мглянорукая даль; белунья речь зеленючих дремоуст. Милобровая, грустноглазая, любатогубая любница летит в алом воздухе девьем.

Зеленовая, зеленючая греза. Душатые груди некоей.

Наго-тускло-бедренный овит круг.

Крыло-веснючие уста. Оселая месяцем темь. Духмень некогда пробежавших отроков стоит в воздухе.

Весень. Весногубый, осеннеликий милень.

Слезорукая воля девовна. Плачеустая — слово жен.

Милели милючие красивушки. Красивейко поднялся, задорный нос.

Милялько чаровали милилом юным, милью слезатых ночами глаз. Полноты то славийской буя весны.

Бесовитый хохот обезумевшей. Прилетели радостеперые нежнобокие птицы.

Белатые, бе<л>яные ноги, клюв злючий, бок — заря, хохол — месяц ясный.

И немницы всклекотали черным ожерельем перий зори, зазыбили слезовым кокошником.

Мощноногий муж. Слепая видель в глазах зелениря, лешего с зеленой шубой от роду за плечами.

Хворючие, хворалые глубницы глаз. Страдальные близостью смерти веки. Немоли — тополи серебрючие.

Утваровитые небом и землей избы. Немолиственное мгляное деревцо.

Озера ликов. Жемчугобокие челноки косых узких глаз. Первопроталины весны косицами волос.

Свежими полевыми маками нос и щека.

И весеневеющий Крымов и грезилища грезней и грезонь грезючая в грезах и грезей грезильно грезит, грезве никнет, грезлями веет.

Горюн-страшун.

Высокие, мелко черепичатые слыши. Словля никнет скатами слов в бездну влажную, безумвянную.

Безумянно-дранковая крыша. Обыденщино-дымные трубы. Мельчий вечностник срублен. Срубы.

Приемы пуэнтелистов — корнями. Безумовый ствол. Весеновая купа. Рощи.

Зеленатые зеленоватые кровы. Белючий стой.

Крыло мыслатое пустоструйно веет, красото-струйно. Веснатые уста. Воздухатый обвлас, овлас. Развлас дуей веимый. Воздухописны голубые глазатости.

Молитвовые дуги бровей. Вератая небыль склоненных глаз.

Миляльно милеются мильные милюньи.

Волествольное дерево. Мечтолиственная куща.

Наглогубая красея. Ликатое в грезогулкой чаще заблудилось.

<1908>

ЗВЕРИНЕЦ

Посв<ящается> В<ячеславу> И<ванову>

О, Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят подобны вечности, означенной сегодняшним, еще лишенным вечера, днем.

Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.

Где наряды людей баскующие.

Где люди ходят насупившись и сумные.

А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а черножелтый клюв — осенней рощице, немного осторожен и недоверчив для него самого.

Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.

Где у австралийских птиц хочется взять хвост и, ударяя по струнам, воспеть подвиги русских.

Где мы сжимаем руку, как если бы в ней был меч, и шепчем клятву: отстоять русскую породу ценой жизни, ценой смерти, ценой всего.

Где обезьяны разнообразно злятся и выказывают разнообразные концы туловища и, кроме печальных и кротких, вечно раздражены присутствием человека.

В Хлебников
Зверинец.
Ор. I.
(Пев. В. И.).

О Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят подобны вечности, оконченной сегодняшним еще лишенным вечера днем.

Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг цветущій широким камнем.

Где наряды людей баскущіе.

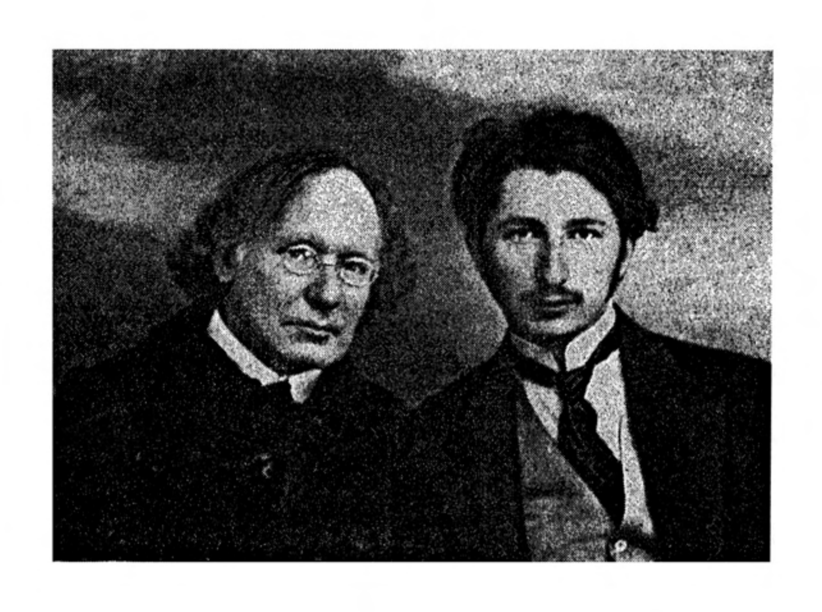
А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв — осенней рощице — немного осторожен для него самого.

Где синій красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинскаго камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от

96

Страница сборника «Садок судей».
1910



В.И.Иванов и С.М.Городецкий.
Фотография. 1914

Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду: — есть хоцца! поесть бы! — и приседают, точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказания сторожа.

Где нетопыри висят опрокинуто, подобно сердцу современного русского.

Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой золотой закат со всеми углями его пожара.

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама.

Где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды.

И что на свете потому так много зверей, что они умеют поразному видеть Бога.

Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.

Где живо напоминает мучения грешников тюлень, с воплем носящийся по клетке.

Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг.

Сад.

Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок.

Где лайка растрачивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющейся кошки.

Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.

Где завысокая жирафа стоит и смотрит.

Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов посмотреть на небо в ожидании грозы.

Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.

Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо, потом на лапу.

Где видим дерево-зверя в лице неподвижно стоящего оленя.

Где орел сидит, повернувшись к людям шеей и смотрит в стену, держа крылья странно распущенными. Не кажется ли ему, что он парит высоко над горами? Или он молится? Или ему жарко?

Где лось целует сквозь изгородь плоскорогого буйвола.

Где олени лижут холодное железо.

Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные ласты с движениями человека, завязанного в мешок, и подобный чугунному памятнику, вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья.

Где косматовласый «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его «товарищ».

Где львы дремлют, опустив лица на лапы.

Где олени неустанно стучат об решетку рогами и колотятся головой.

Где утки одной породы в сухой клетке подымают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный — имеет ли оно ноги и клюв? — божеству молебен.

Где цесарки иногда звонкие сударыни с оголенной и наглой шеей и пепельно-серебряным телом, обшитые заказами у той же портнихи, которая обслуживает звездные ночи.

Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур.

Где волки выражают готовность и преданность скошенными внимательно глазами.

Где, войдя в душную обитель, в которой трудно быть долго, я осыпаем единодушным «дюрьрак!» и кожурой семян праздных попугаев, болтающих гладко.

Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после падает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном могучем

теле показывается усатая щетинистая с гладким лбом голова Ницше.

Где челюсть у белой высокой черноглазой ламы, и у плоскорогого низкого буйвола, и у прочих жвачных движется ровно направо и налево, как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством — желанный рай столь многих!

Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем притаился Иоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным, голубым, точно окруженным очками, оком имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в прирожденном искусстве, с которым они подхватывают на лету брошенную тюленями еду.

Где вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака, глубоко запавший под заломленной бровью, и этой птицы — родича царственных птиц — один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле. О, сокола, побивающие грудью цапель! И острый протянутый кверху клюв ее! И булавка, на которую насекомых садит редко носитель чести, верности и долга!

Где красная, стоящая на лапчатых ногах, утка заставляет вспомнить о черепах тех павших за родину русских, в костяках которых ее предки вили гнезда.

Где в золотистую чуприну птиц одного вида вложен огонь той силы, какая свойственна лишь давшим обет безбрачия.

Где Россия произносит имя казака, как орел клекот.

Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю. О, серые морщинистые горы! Покрытые лишаями и травами в ущельях!

Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов «Слово о полку Игореве» во время пожара Москвы.

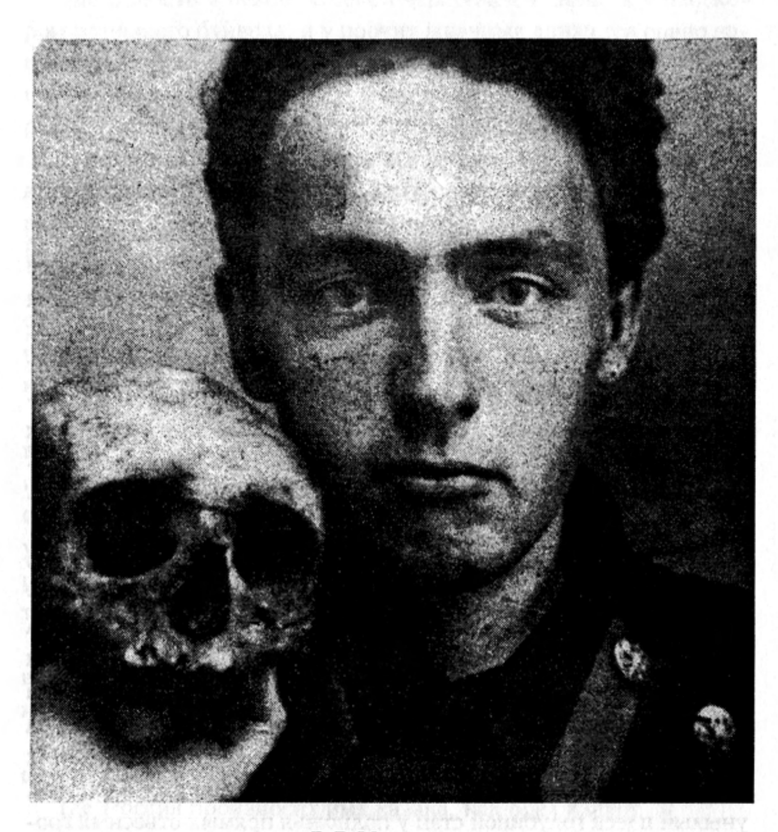
1909, 1911

* * *

Суровая прелесть гор. Я видел суровый воздушный поцелуй, посылаемый одной пропастью другой; я видел горы, вытянутые для поцелуя у одной пропасти навстречу другой, я видел губы пропастей, соединенные поцелуем. Вы не верите, вы готовы засмеяться. Это естественно: вы родились в городе. Я ходил, как пешеход, по каменному поцелую двух пропастей, видел: их слитые вместе уста бросали сумрак на речку внизу. Ноги каменных божеств, вкованных в утесы,— сердитым оком исподлобья, заломив руки, они смотрят вниз, сурово закованные кольцами суток.

Я видел труп ветра, когда его волокли через горы, и через пятки было продето кольцо. Слышал дикую прелесть пастушеской свирели: во время дождя пастухи собирали коз. Видел прыжки водопадов по морщинам каменеющей песни. Точками ползали козы по стенам ущелья, но ко мне в долину долетали разбойные свисты ветра и человека. Видел тела каменных пород настолько близко, что между ними едва может пролетать голубь; между тем серый поток несется внизу между ногами пропасти, унылый плеск голубиной стаи у подножья прямых отвесных громад. Видел утесы, покрытые сотами мусульманского улья; их увенчивает отдыхающий орел, рога козла, вделанные в ограду сакли. Смелый взор жен сквозь прорезь черной ткани — я был в Дагестане.

<1909>



В.В.Хлебников.
Фотография. 1909.
Частное собрание

* * *

Это было старое озеро. Клинг-клянг — и он летит, точно зажжено солнцем зеркало.

Я переплыл залив Судака.
Я сел на дикого коня.
Я воскликнул: «России нет, не стало больше,
Ее раздел рассек, как Польшу».
И люди ужаснулись.
Я сказал, что сердце современного русского висит, как нетопырь, и люди раскаялись.
Я воскликнул: «О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!»
Я сказал: «Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!»
Я писал орлиным пером; шелковое, золотое, оно вилось вокруг крупного стержня.
Я ходил на берегу прекрасного озера, в лаптях и голубой рубашке. Я был сам прекрасен.
Я имел старый медный кистень с круглыми шишками.
Я имел свирель из двух тростин и рожка отпиленного.
Я был снят с черепом в руке.
Я в Петровске видел морских змей.
Я на Урале перенес воду из Каспия в моря Карские.
Я сказал: «Вечен снег высокого Казбека, но мне милей свежая парча осеннего Урала».
На Гребенских горах я находил зубы ската и серебряные раковины вышиной в колесо фараоновой колесницы.

<1911>

* * *

И тогда я славил государствокосых и государствооких. Ведь я люблю сидеть рядом и думать, что на мизинце не ноготь, похожий на римский щит, не ноготь утреннего неба, озаряемого облаками, но народ, правительство, печать <его> председателя, удивляющего других, что он просто живет и каждому подает руку и имеет удивительные носовые платки — чем он еще может обладать, председатель ногтя? Он, чарующий подданных белизной носового платка, глава страны на ногте мизинца, среди зеркал счастья...

Государстворукая, вы сидите и смотрите далеко на землю и у вас не ногти, как у всех смертных, а государства. И я касаюсь губами по очереди государств вместо ногтей, ногтей вместо государств и знаю, что я самый верноподданный из всех людей. Вот вы подняли взоры, и я вижу голубую р<е>чку, и взмахи весел, и плывущие по течению венки.

<1914>

ЧАО
13 танка

Чао плескала по слуху чашами из самого чистого звука, точно он вылетел из горлышка шелковой славки, выщебетанный ею, этим зрительным храмом облачно-каменной громады черного солнца, отчего и солнце <становится> светлее серо-серебристого оперения черноглазой птички.

Чао плескала мотыльками и бабочками — этими умными кражами у неба его красок заката, его тепла, огня и золы, выставленными на <крыльях>,— и даже продавала напиток мотыльков семьям подруг, толпе корявых и толстых, нежных и тонких ушей.

Чао порхала крыльями моря мотыльков — самых разных, каких мы видим от рождения до смерти,— по ушам людей и, как козочка, бродила копытцами одежд бабочки по траве изумленных взглядов.

Чао часто смотрит на открытое письмо с древним самураем в бронзе из чешуи: его высокомерные брови, падающие вниз на переносицу, как крылья морского орла, летящего с Фузиямы на рассвете солнца и озаряющего рыбаков, пустынный берег и сеть клекотом вершин.

— Я та же, какой была при Гайавате, и Ману, и Фу-си и я, верное зеркало, отбрасываю луч солнца под певучим углом в зеркала череп<ов>. И вот я снова черноглазое зеркало между солнцем и человеком на страже чистоты чисел. Я вижу сейчас глаз Гайаваты. Узнал ли ты меня, о человек?

— Звучобны звукотные дали, зой, зой, знарь: зов званного зира.

В.В.Каменский.
Фотография. 1914

Из-за густых кустарников леса выходил с копной взъерошенных волос, как утесы Пьяного Бора, Вася Каменский и долго, испуганно не понимая, смотрел на нее. «Может быть, это звездочка лепечет?» Потом засмеялся, понял и начал щебетать, как славка черноголовая [аристократка сосновых вершин]. И они щебетали вместе, состязаясь в коленах, и Вася написал: «Песнияти, песниянно, окаянно, окаян».

Потом Вася долго ухмылялся, узнавая в загадочно <расположенных хвое и мху> лицо товарища и говоря: «Так вот как!» — радуясь прекрасной радости.

— Так у меня глаз Гайаваты да славки? — повторил <Вася> — [И он спустился сейчас с облаков?] Долго он там скитался, бедняга! Небось, радуется во мне, как канарейка в клетке. Наверное, проголодался. Чем же он питался там — букашками и муравьями? Небось, голодный. Что ж, накормим Гайавату. Будем питаться зрелищем девушки. Ведь ты только подумай, это не шутка триста лет носиться по небу между бурями, и какие грозы бывали, прямо страх берет, едва подумаешь. Если он думал отдохнуть на какой-нибудь птице, то птицы отгоняли его и били клювом.

Так значит он прямо из тех собраний индейцев в красных и синих орлиных перьях, с высокими луками, собиравшихся у костра и, сев величаво, предлага<вших> трубку самому солнцу — потому что мудрецы знали, что если часть бывает меньше целого, то часто целое меньше части...

Чао разносила по ушам, то корявым, как старухи, то невинным, как девушки, <звуки> своего имени и позволяла пить немного влаги из моря мотыльков с голубыми крыльями и узором малиновых угольков. Кража бабочкой вечернего заката, <она давала> испить сладкой влаги, освежающей уста смертного.

<1915>

Издательство
Перваго Журнала Русскихъ Футуристовъ.

«Первый Журналъ Русскихъ Футуристовъ» №№ I—II.	2 р.
Дохлая луна (распродано).	1 р.
Дохлая луна второе (изданіе дополнен.)..	1 р. 75 к.
Молоко кобылицъ	1 р.
В. Маяковскій: Трагедія «Владиміръ Маяковскій»	1 р.
Б. Лившицъ: Флейта Марсія. I кн. стих.	1 р.
Б. Лившицъ: ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ. II кн. ст.	— 80 к.
В. Хлѣбниковъ: ТВОРЕНІЯ. Томъ I-й ...	1 р.
В. Каменскій «Танго съ коровами»	1 р. 10 к.

Складъ изданія

Москва, Моховая, Карбасниковъ.

Всѣ книги иллюстрированы, репродукціи цвѣтныя, однотонные рисунки, рисунки отъ руки.

Информация в ПЖРФ № 1—2.
1914

* * *

Неговольцы неч<и>тава, вычитава и общие беговол<ы>; в<е>рославные дела, виды на всеобщее нежево и нежное дружево — в память тех, кто не живы.

Века единожизния и единословия отворили ворота: показ кровавых ран.

Устав железных застав.

Остава царей в стране трупов.

Остав остова боевого на поле.

Всеустый язык правес, оправды и сверхправды, всегорлый ор рави:

— Не надо правды!

— Дай правду!

Самовлюбленные верославли смерти в чугунном панцыре. Войногробатые храмы на шурупах в облаке, море и суше. С<и>рославль зимней вьюги, где в длинных песнях блестят чезори детей. Объяренный, ощеренный латерик народа. Летучие братерики морецких людей.

Мировой хатерик в огне, в дыму. Люд местерика. Общий ратерик и грозный детерик ополчения лет войны.

Сыпняк, чума, цынга, трупноокий, тленноумный дочерик бездохновенных земель.

Добыча сверхправа. Погоня за мировой соистин<ой>, за сочумным трудом, за соцелью и общим сочалом всех племен, всех <к>ровей, поиск мирового ровесника, выиск угодного труду строя.

Совера изнеможи полей севера в Советы; сообеты бороться!

Влада худесников и неимеев, бедесников трудоты.

Неимен<ы> всех длин, соединяйтесь!

Неумен<ы>, имейте рост умства и думственной жизни, умственного духа; голоса нератяев и стон нелатяев.

Рев нехотяев быть нератаями и нелатаями.

Нежелаи подданства и законов. Нидеи надеи. Яроволы были и старикот. Недобровцы милодес молодес. Отрицанцы. Проницанцы в будесного миры (гордые будесники). Понищанцы камней воен<ных> лет, обнищанцы войны. Безочесные лики, безотчесные сированцы. Самогнанцы в даль, в чужбу; плачевенцы, плакахари, вопилы о гибнущей родине, испуганной мировой корью,— мы мировая корь.

Хатославль песен певучего слога.

Старомилы, шкурники баромилы<х> год<ов>, брюхомолы, пузомолы, брюховеры, мозговеры, особая порода самобожеств, смежни<ки> зарею главной.

Грозные раскаты ночезорь нищеправия, жезл ничимеев, возгорда нищеты, голытьбы, голяков, власть мировой нищеты. Низвера, низлом и надлом имеев. Первое явление изумеев.

Учет богов земного шара. Тяга мировая в зарод заим.

Выгол земли. Огол зверя. Обнага зла. Ничумен<ы>, ничтворы, ничлюбы. Учет хотежей люда. Неясный ходеж в надобу дорог. Накупля<и> выгод. Скупы, соторги. Морев<а>лы и маловеры. Рыдеж столетий.

Суедумцы о прошлом. Сквозят лицарни вырода голубой крови других веков. Зарода вещей иности. Вот воля к внеблуд<у>, вне<к>утежу, поиск основных сутежей.

Мировой жутех перед колом войны воткнуть в почву лет мира.

Верхизна времен. Равизна и ровизна гривизны времени как воля и как мировая вера, первый выпыт тайноч<а>тия, поиск меромесла.

Натуга силы, потуги; натугам дикого лука времени мы, люди,— выпугаи мировой глупости, попугаи сосел — <противопоставляем> поиск милого негочисла, строгого мерочисла. Всходы силоук и милоук и основ мирочисла. Поля для мирописи, утесы числокаменных капищ, дикие хребты числа, что бродил<о> по вашим вершинам.

Слияние племенин. Закат племенщиков.

Небесный шароватень, дозором катясь по круговатню, оденется людским мохом (как ком глины), солью безгосударственн<ого> человечеств<а>. Это будет мир людавы. Летютни его окружат прекрасным запахом цветка земного шара, чтобы его приблизила к ноздрям Дева Вселенной.

Это будет мир сомиренцев. Сомира.

Согласен<ь> мирового строя.

Совлазны непокоренцы.

Нежелаи старот, враги ветховенцев, старованцев, инесники быта, спорованцы с ними и дракованцы.

Идут в столетье теломира и мясолада, мясопокоя и духодрак. Духодоры думной драки. Заулей, война мирового соруха, изруха и возруха. Неруха умеев.

Вопяки и кричаки про лоскутья земного шара умолкнут. Молчевик и криковик. Отпускаи обид.

Жилой житерик севера оскудел.

Гластелины сменят властелина. Гладыки (голодыки) владыку.

Инеющий Бытерик люда инеет и умнеет.

Катериковые годы в объятиях ката забудут сыновенцы человечества.

Летерик единства.

<Уход> будилища войны, выгод великих и соугод, гнилолюб<ов>, тухлоумц<ев>.

Приход буданцев (плаванцы в небе). Великая хотея мира — отерик любви и нег.

Прийдут сиян<цы> своей жизнею и лукнут человеческим родам к новым добычам.

Разрушится темница частериков земли, окончится великая небыча в полоне пространства.

Не надобны проборы на голове человечества.

Пусть люди перепутаются, как волосы пророка.

Наш земень станет великой грезарней.

<1921>

* * *

Это был великий числяр.

Каждый зверь был для него особое число.

У людей были свои личные числа. Он узнавал личное число по поступи, по запаху, подобно собакам.

Он кончил самоубийством со скуки. «Вселенная уже перечислена, мне нечего делать! Увы, я пришел поздно. Горе мне, опоздавшему!»

«Опоздавшему быть чем? — коварно спросим мы, <рассматривая> маленькую записку самоубийцы,— ее творцом?»

Боги мира кроются в облаках около ничего. Достаточно созерцать первые три числа, точно блестящий шарик, чтобы построить вселенную. Законы мира совпадают с законами счета.

Все летит в ничто.

Две бабочки летят в полет слов «да» и «нет», облако божественных мотыльков, облако зарев.

Закон скупых чернил руководил <пером> писателя, написавшего рукопись мира. Этот темный, черный, очень черный <Путь> — охватить наибольшее нечто, наибольшее равенство наименьшим неравенством, вздернуть вселенную на дыбы.

Поэтому летят вверх знаки 1, 2, 3 — цветы на озере Бога.

Он говорил: душа мыслителя, творца, учителя вращается около своей оси; душа ученика, воплощающего в жизнь учение учителя, обращается около мировой оси, поэтому их рождения соединены законом.

1922

* * *

Я умер и засмеялся.

Просто большое стало малым, малое большим.

Просто во всех членах уравнения бытия знак «да» заменился знаком «нет».

Таинственная нить уводила меня в мир бытия, и я узнавал вселенную внутри моего кровяного шарика.

Я узнавал главное ядро своей мысли как величественное небо, в котором я нахожусь.

Запах времени соединял меня с той работой, которой я <не верил> перед тем как потонул, увлеченный ее ничтожеством.

Теперь она висела, пересеченная тучей, как громадная полоса неба, заключавшая <текучие> туманы и воздух и звездные кучи.

Одна звездная куча светила, как открытый глаз атома.

И я понял, что все остается по-старому, но только я смотрю на мир против течения.

Я вишу, как нетопырь своего собственного «я».

Я полетел к родным.

Я бросал в них лоскуты бумаги, звенел по струнам.

Заметив колокольчики, привязанные к ниткам, я дергал за нитку.

Я настойчиво кричал «ау» из-под блюдечка, но никто мне не отвечал; тогда закрыл глаза крыльями и умер второй раз, прорыдав: как скорбен этот мир!

1922

II

* * *

Нас не била плеть, но плеть свистала над нашей спиной. Четвертого ноября прошлого года мы мирно беседовали в этот час у самовара, пятого мы пели, мы стояли спокойно у дверей нашей Alma Mater, а шестого уже мы сидим в Пересыльной тюрьме. Вот то мое прошлое, которым я горд.

Гулко падали ноги казацких коней на мерзлую землю, когда мерно скакал на нас отряд казаков.

Ближе, ближе... кони растут, становятся огромными. Огромна и эта узда, которая <...>. Точно остановившаяся на миг в воздухе плетка, круп остановившейся и пятившейся в толпу лошади <...>. Гээ — больше не помню — косматое копыто, поднятое подковой вверх <...> по темному снегу. «Не смей бить!» Я упал на локти, меня втащили на помост, под высокие колонны. Не так ли?

«Это вы? — окликнули меня,— идите сюда, голубчик».

С сука́ми в руках, в тулупах, стояли вокруг нас дворники, бесстрастные и неподвижные, образовывая вокруг нас кольцо неодухотворенного человеческого мяса, с душою в потемках, неозаренной сознанием.

А после две огромные неповоротливые руки, взяв подмышки, почти повели, а иногда несли, в старый каменный ящик с черной доской над входом, рядом с которым высилась пожарная каланча.

<1904>

* * *

Была уже ночь, и тихо слетело откуда-то свысока тихое «доннн»... и после, когда затихло последнее «н», стоявшее и едва уловимо дрожавшее в воздухе, и его сменила черная пустота, выплыло и сиротливо прозвучало второе «донн»..., я подошел к реке; ее было трудно различить, она была запорошена тем же бледно-синим снегом, что и берега и даль, и ее можно было отличить только по темным масляным пятнам полыней и где-то тихо журчавшей воде. Так иногда ровными белыми звездами, сосенками, лесенками и многими другими узорами исчертит стекло вечерний мороз и только одно место оставит прозрачным, и тогда вечером в него глядится мрак.

Где было идти? Я пошел по тропинке кованых зелено-синих следов, путаясь прорубей, запорошенных снегом, и огромных снежных комьев, скатанных детьми. Но теперь была ночь, и только следы говорили о звучавшем здесь смехе и детских голосах.

Ухватившись за сиротливый кустик, я вскарабкался на берег и оглянулся.

Тропинки не было, и я пошел прямо по снегу, шел все дальше и дальше, набивая снег в калоши, спотыкаясь, оставляя за собой и реку, и белыми узорными тенями встававший город. Зачем? Я не знал и сам. Я только качал головой и бормотал что-то.

— Броситься наземь, целовать ее, целовать бесконечно...

Тогда я останавливался, оглядывался и шел дальше.

Но в то время как что-то одно <ндп.>, что-то другое холодно смотрело на все и спрашивало холодно и неприятно:

— Здесь ведь нет людей... Зачем же рисоваться? Или перед этими холодными и вечными звездами? Они высоко и не поймут.

И тогда я останавливался и беспомощно оглядывался назад, старался думать об огромном, крепком земляном шаре, к которому я прирос, от которого я могу только на время отскакивать, но всякий раз какая-то сила приковывает снова к огромному земляному шару. И как не броситься пред этим объемом, синим и чистым? Но тот же голос насмешливо шептал:

— Или выслужиться хочешь? Брось, и он тебя не поймет, насморк схватишь.

И тогда я терялся и так же шел дальше, а чистое чувство — «броситься наземь, целовать бесконечно» — грустно уступало место чему-то другому, скалившему зубы и смеявшемуся внутренним хохотом.

Вдали, где стоял плешивый стог и синим клоком нависло небо, тянулась цепь красных огней.

Крайний к стогу бросал снопик желтого света прямо наверх и влево, а рядом с ним — весь съежился и точно втянул в себя все свои снопики желтого света и откуда-то ждал удара. А третий снова великолепным огнем бросал снопики далеко и бодро, влево и вправо, вверх и вниз. Он походил на крохотную золотистую мельницу, сиявшую на небе, и все они походили на мельницы, только крылья у многих были попорчены ветром. Это была цепь не огоньков, а золотистых ветряных мельниц.

Когда я закрыл глаза, огоньки-ветряные мельницы вдруг вытянулись, стали частыми и длинными, похожими на булавки, и мне почудилась синяя рыба.

Что это? синяя рыба с частым рядом длинных, как булавки, золотисто-огненных зубов? Да это мне почудилось. Это я устал, это я полузакрыл глаза. Это не рыба, а небо; а длинные и тонкие золотистые булавки — это все та же знакомая цепь ветряных мельниц с сиротливыми крыльями.

Я устал; я опустился на колени, я прислонился лбом к неровному снегу, и что-то в бреду шептали губы; после я поклонился направо и налево и снова целовал мокрый холодный снег.

А после я поднялся и, тихо зевнув, поплелся назад.

Что-то ликовало в моей душе и било, ликуя, в ладоши, а что-то тихо поднялось на крылья и отлетело прочь от моей души.

«Дон» — пронеслось в воздухе. «Дон» — пронеслось, задорный и упрямый «дон». Пронеслось примиряюще и успокаивающе.

<1904>

* * *

Отчего мне сделалось тогда вдруг так скучно, тоскливо? Оттого ли, что мне хотелось тогда видеть ответность видений, слышать ответность звуков моему «я» в тот миг?

Оттого ли, что я ослабел ненадолго и искал в жизни поддержки? — не знаю.

Оттого ли, что я мучительно прислушивался к ней и искал в ней того, ради чего бы стоило жить, а она мне, ровно и тихо проходя предо мной, бесстрастно говорила, что нет того, ради чего стоило бы жить?

Оттого ли..? Не знаю, только вдруг мне сделалось грустно и скучно, и захотелось собраться, сделаться маленьким и одиноким, и всему уйти в себя и от всего отделиться.

Не знаю, только я, опустив голову, тихо прошел в другую горенку, и там мой взгляд увидел много ландышей, собранных вместе и обвернутых листами. Они стояли на окне. А за дверями слышался голос, ровный и спокойный.

— На базаре,— пел,— что закупишь? — говорил он,— не знаю, уж там что... мясо почем? по двенадцать? как дорого. Может быть, уступят? Никогда уж не уступят...

И этот голос насмешливо-ровно говорил в тот миг, что в жизни нет ничего, ради чего можно было бы жить, что только то, о чем они так громко, не стыдясь сказанного, говорят, только то может быть тем, ради чего можно было бы жить.

Тогда я подошел к снопику ландышей, стоявших в прозрачном стакане, и вынул из середины веточку, и, наклонясь к нему, говорю тихо, не шевеля губами:

— Вот я тебя беру, ландыш.., вот ты дотронулся своими прохладными головками — они такие белые и нежные — к моим губам, вот я слышу твой запах — белый снег!

Мое сознание — одно! Возьми его у этих бедных <ландышей>.

Я тебя только чувствую, белый, с <поникшей> головкой ландыш. Я тебя даже не знаю... Нельзя, плывя против течения, искать у <людей> поддержки. Так будь моей поддержкой, белый, <поникший> ландыш.

<1904–1906>

ЕНЯ ВОЕЙКОВ
Principia

Но было бы очень далеко от истины думать, что автор старался изобразить себя; более того, именно уверенность, что каждый поймет, что автор не желал изобразить себя, а лишь, пользуясь образами детства и юношества, пытался дать художественный образ, не имеющий или имеющий очень мало отношения к нему самому, только эта уверенность и дала возможность и право автору представить это произведение.

— Мама! Что значит: я живу?

— Да вот ты видишь, слышишь, ходишь, думаешь, говоришь — значит живешь.

— Мама, что значит: вижу?

— Да вот ты меня видишь?

— Ви-ижу... а слышать?

— А слышать — когда я говорю, и ты знаешь, что я говорю, ты слышишь.

— А думать?

— А думать — когда ты говоришь, ты думаешь.

— Значит, теперь я живу? — медленно спросил мальчик.

— Да, голубчик.

*

— Мамочка, смотри, какой хорошенький цветок! А вот этот? а этот? Ты их не мни,— просил Еня Воейков,— ты их люби, <береги>. А этот попов-цвет,— оживленно говорил Еня, держа в своем кулачке длинный стебель с отходившими от него ответвлениями, на которых сидели цветы. Гибкие, длинные, белые лепестки, сидевшие вокруг густой желтой шапочки тычинок — лепестки, живописно сгибавшиеся под давлением своей длины, придавая венику полевых цветов красивые кудрявые очертания.

— А это колокольчик. Мамочка, он прежде мне не нравился, а теперь он хорошенький, такой тонкий, тонкий и нежный. Правда, точно задумался? — спросил Еня Воейков. — Да, пожалуй. Да, да,— радостно кивнул головой Еня.— Вот так если смотреть, он совсем точно задумался... Тонкий, тонкий и головку наклонил... И какой голубой! Мамочка, как здесь хорошо!

И он снова сидел рядом с мамой и снова задумчиво-восторженно смотрел, но только в руке у него был красивый веник полевых цветов.

И он шел по лугу и вдыхал в себя аромат прекрасных цветов, и жизнь казалась ему прекрасной. Но жизнь эта, столь прекрасная, была лишь преддверием в особое, вечное, ликующее, беспредельное блаженство, которое наступит там, за гробом. Так просто и красиво. Только бы поскорее пройти этот жизненный путь, только бы поскорей пройти его, единственная цель которого — укрепление немощной природы человека.

Так проходило детство.

*

А вот тоже на днях он сидел под этим деревом и смотрел, как по песку, то опускаясь, то подымаясь по неровностям песка, пробирался, озабоченно выбирая дорогу, маленький черный муравей. Ене Воейкову как-то казалось, что муравей должен или испугаться, или остановиться и пошевелить испуганно усиками и

наконец убежать. Воейков все ждал, что вот-вот маленький черный муравей сделает то или другое. «Вот сейчас... нет, вот сейчас». Но муравей не делал ни того, ни другого: он прямо пробирался среди песчинок, озабоченно перебирая ножками, и не изменял в общем направление, точно всем своим видом желая показать, что он видит Воейкова, но он так озабочен своими делами, что до Воейкова ему нет никакого дела. И тогда Воейкову вдруг открылось, что не только у него, у Воейкова, есть свой внутренний мир, свои желанья, свои стремления, своя, наконец, некоторая живая сила для исполнения этих желаний, стремлений, но что этот свой внутренний мир, свои стремления и желанья есть и у этого маленького черного муравья и даже что муравей живет не только для того, чтобы проползти мимо него, Воейкова, и дать ему себя увидеть, но и сам для себя, для своей собственной жизни, для своих стремлений и желаний, которые даже могут столкнуться с его, Воейкова, стремлениями и желаниями и будут равноправны его, Воейкова, стремлениям.

Иногда можно видеть, как капля прозрачной воды, дрожа и колеблясь, держится на волосистой поверхности и потом вдруг, прорвавшись, разливается по сукну и покрывает собой больший участок. Так и обобщение, добытое относительно этого маленького черного муравья, вдруг, осилив силы трения, радостно разлилось по большой поверхности образов из действительности: все вообще люди, вещи, существа имеют свой собственный внутренний мир, желания, стремления, которые даже могут сталкиваться с его, Воейкова, желаньями и стремлениями.

Но как капля воды теряет в своей чистоте, так и обобщение теряло в своей образности яркость. Да, это было так недавно. А теперь это так понятно и ясно; и Воейков, еще раз пережив то чувство сильной, быстро подступившей к сознанию радости, которое он испытал, когда обобщение разорвало оболочку и разлилось по большой поверхности, подумал: «Ах, какой я был глупенький, как этого можно было не понимать!» Да, он теперь знал, что все эти деревья, листья, бабочки, мотыльки, жучки, этот бледно-желтый Махаон, который сидел на цветке, и, когда под его тяжестью цветок наклонялся головкой к земле, он взма-

хивал цветными крыльями, и цветок плавно подымался кверху — Махаон, это ореховое дерево — все они живут своей жизнью. Это было ведь так понятно. «Странно, как я не знал этого прежде»,— еще раз вернувшись к сделанному обобщению, не мог не усмехнуться Воейков.

*

А чайки вились и кружились над ним по сложным кривым, как вьется и кружится толпа астероидов, имея одно поступательное движение. И ослепительный белый свет то вспыхивал, то потухал на их белоснежных крыльях. А пароход бежал все дальше и дальше и далеко оставлял за собой и труп тюленя, и стаю вившихся над ним чаек.

На палубе было знойно, не спасали от зноя и растянутые над палубой полотна, трепетавшие от ветра; внизу же было тесно и душно и неудобно. Воейков, изнывая от зноя и стараясь найти хоть где-нибудь прохладный уголок, нагнулся над водой и подставил голову освежающему ветру, с силой дувшему с обеих сторон парохода. Сейчас не хотелось думать ни о чем, а хотелось только уйти всему в чувство этого холодного воздуха, который свистел вдоль поверхности головы. «Пропустите, пожалуйста»,— раздалось над ним: матросы волокли полотна. Воейков спустился вниз.

«Кушать готово»,— провозгласил служащий. Воейков нерешительно оглянулся на других: вставать ему или нет, садиться за стол или нет. С внутреннего дивана поднялся кто-то в поддевке, с русой бородкой; должно быть, по торговым делам; Воейков тоже стал подыматься. Человек с русой бородкой наклонил голову и набожно перекрестился, потом он выдвинул стул и сел. «Креститься или нет? Оскорблю я религиозное чувство или нет?» — остановившись в неловком положении человека, вставшего, чтобы сесть, но еще не севшего, думал Воейков. Но никто не крестился, кроме первого, и Воейков, тоже не перекрестясь, сел за стол. Украдкой посматривая на других, Воейков взял ложку и стал как можно приличнее пить уху; в ухе очень вкусно пла-

вали желтые шкурки вязиги и кусочки розового мяса, но Воейков ел как можно тише и аккуратнее. Допивать всю тарелку до конца или нет? С одной стороны, вот этот не допил, но с другой стороны — это очень вкусно! Он приостановился и стал, колеблясь, смотреть на ложку.

«Больше не будете?» — раздался за ним голос. — «Не буду».

*

<...> так непрерывно от того проведения в жизнь принципа «люби ближнего как самого себя», когда, чтобы не убивать своим существованием, умерщвляю себя, до того, когда завожу в комнату ребенка и испытываю, гадко думать, наслаждение особого, неизведанного класса, перерезывая ему перочинным ножичком горло (какой страшный образ), непрерывный, переходящий одним звеном в другое ряд случае, поступков с бесконечно малым приращением количества принесенного добра в одном направлении и зла в другом. Где же остановиться, о ужас? (Перед глазами Воейкова промелькнул почему-то образ женщины, бросающейся на колени и, ломая руки, с мучительным вопросом жизни и смерти обращающейся к присутствующим.) Где же, о боги?!

По инерции я не убиваю себя — постыдная сделка с совестью! Не делаю и второго? почему? о ужас! Но где же остановиться, чем руководиться в выборе? Неужели своей слабостью?

Улыбка горечи снова скривила рот Воейкова.

Ты руководишься жалким этическим потенциалом среды, в которой находишься, презренным, столь презираемым тобой потенциалом. Ты его ненавидишь, ты его презираешь, но руководишься. Он — исходная точка твоих действий. И ты миришься с этим, а когда-то ты счел бы несчастьем руководствоваться потенциалом среды.

Помню, ты сначала хотел исчерпать этот принцип тем, что будешь кротким, подающим помощь, любящим людей, любящим их даже более себя. Но после тебе стало ясно, что тем, что ты носишь

шерстяные одежды, пользуешься изделиями рога, ешь мясную пищу, этим ты вносишь в мир слишком много страдания и скорби, чтобы считать себя проводящим в жизнь этот принцип. Тогда ты дал слово не носить шерстяных одежд и не питаться мясной пищей, заменив это растительными одеждами и растительной пищей. И некоторое время ты радовался и думал, что достиг многого, даже всего, к чему стремился. Но затем ты задался вопросом, не страдает ли дерево, когда звонкий топор врубается в ствол и влажные золотистые щепки летят во все стороны и прохладный сок струйкой сбегает с обнаженного ствола на сырую кору? Не страдает ли лес, с ярко-желтой обнаженной древесиной, с которой рукой человека дерзко сорваны темные покровы коры?

Ему вспомнилось, как он, весь ушедший в проникновение любви ближнего как самого себя, недавно резал старый орех. «Сам хочешь быть хорошим, сам в тетрадочку записал: "Люби ближнего твоего как самого себя" — очень хорошо! — а сам режешь орех. Больше не буду. Бедный орех»,— жалостливо надувая губы, произнес Еня Воейков.

*

Воейков сидел за столом, и в книге он прочел слово, которому он знал содержание. Оно близко относилось к власти вида. И он взглянул в себя и увидел, что он не вздрогнул, не побледнел, не оторвался от книги и не прошелся в тоске по комнате, стискивая холодные пальцы и бессознательным взором проводя по окнам и стенам, а остался на месте и не изменился и <нрзб.> свободный, не отозвался против ужаса и постыдности власти вида. «Уйди... уйди»,— тихо, с оттенком тоски произнес Воейков. Он закрыл глаза рукой и долго, откинувшись назад на кресло, долго не шевелился.

И вспомнилось ему, когда он был маленьким, как ясно голубыми были его глаза, как ясна была его душа... Туманящее дыхание власти вида не коснулось их.

И образ его с ясно голубыми глазами проплыл и грустно встал перед ним как <будто> с едва уловимым укором.

Вот когда-то, когда я был еще маленьким и у меня были большие голубые глаза, я, помню, восторгался рисунком женской руки с мягкими тонкими очертаниями. Человеческая рука казалась каким-то звуком, долетевшим из царства прекрасного. То же самое человеческое лицо. Смелый изгиб бровей, черный быстрый взор, сочетавшиеся в кудри темные волосы — все это так мне нравилось.

Но разве это не было простым проявлением какого-то антропоморфизма в эстетических идеалах и вкусах?

Разве это не значит, что если бы я был бы воробьем, то я должен был бы восторгаться корявой лапкой и толстым клювом? А я хочу другого критерия, общего, вневидового. Неужели только потому, что по независимым от эстетических принципов основаниям мое эстетическое «я» сочетано с этой рукой и этим лицом, я должен считать их красивыми и их именно считать верным воплощением духа красоты? Неужели нельзя выбрать более верной точки, более не зависящей от тех телесных форм, в которые воплощено мое «я»? Ах, Боже мой, более того, ведь избрать такую точку суждения о прекрасном — значит согласиться на то, что, будь кожа всех людей покрыта струпьями, гляди из-под ресниц у всех людей красные глазницы, я должен был бы признать эту кожу, покрытую струпьями, и эти глаза в крови воплощением духа прекрасного?

О, узкий, относительный взгляд! Каким-то жалким обрубком кажется мне рука, эти пальцы. Почему их пять? Почему они такие толстые, негибкие, коленчатые? О, что за ego-morfism здорового человека в эстетических законах!

*

А о чем говорит здесь история, прошлая жизнь человечества? История говорит, что некоторым отдельным <людям> в отдельные мгновения истории удавалось сбросить с себя цепи вида; и это сразу их так подымало над толпою безропотных рабов, что они делались гениями.

Платон, Шопенгауэр, Ньютон — все они были свободны и были гениями, потому что были свободны. А Декарт, а Спино-

за, а Лейбниц? Что делало их гениями? Независимость от вида, свободное состояние дало им возможность сохранить присущую детскому возрасту впечатлительность, способность к синтезу, расположение к схватыванию аналогий; словом, они только сохранили большую впечатлительность и подвижность ума. Ум их был чувствительным прибором для улавливания аналогии, законосообразности, закономерного постоянства, и поэтому он ее улавливал там, где не улавливал ее обыкновенный человеческий ум с обыкновенной чувствительностью.

А когда он вдумывался в то, как Ньютон, просто рассматривая числа, открыл бином Ньютона, ему показались мертвяще-искусственными и извне навязанными схемы об индуктивном и дедуктивном методах там, где человек был просто более чутким и более внимательным, где другие были менее чутки и менее внимательны к числам, другие как бы менее чутко и менее сильно всем своим существом входили в созерцание этих чисел — такое же вдохновенное, проникновенное, но бессознательное созерцание чисел, как созерцал когда-то Фалес.

*

Да, человек, ты прекрасен!

«Бруно»,— невольно прошептал он имя итальянца-мученика. Ему вспомнились прекрасный лоб и красиво очерченные глаза Джордано, его вдохновенная проповедь и смерть. Да, это хорошо.

«Но вот все приготовления окончены. Он привязан к столбу, и ветер шевелит его мягкими шелковистыми кудрями и, откинув от прекрасного лба кудри, тихо целует страдальца. А Бруно окинул своими печальными глазами море голов, толпу священнослужителей, костер и грустно улыбнулся. «Как много»,— быть может, подумал он про толпу. А потом он задумался, и выражение чего-то неземного легло на его черты.

Но вот тонкие синие струйки засверкали у подножия костра, и дым стал пробиваться через щели. И еще раз взглянул вниз на струйки голубого пламени Бруно и еще раз, казалось, забыл все

окружающее. Но вдруг ветер пахнул облако дыма прямо в лицо. Бруно вздрогнул, взглянул вниз, и слезы выступили на прекрасные темно-карие глаза, а тонкие губы жалостно искривились. Ему вдруг стало жалко себя.

А дым подымался, рос, и вскоре облако голубоватого дыма окутало костер великого страдальца. А костер горел; глухо обсыпалась зола, кружился в голубом облаке пепел, да изредка взлетали на воздух красивым снопом золотистые искры. А толпа стояла и, не спуская глаз с костра, который курился голубым дымом, все чего-то ждала. Но вот рухнул в общую груду золы и угля подгоревший снизу столб. И, падая, он звякнул цепями, и целый сноп золотистых искр взвился кверху. И тогда толпа стала расходиться.

Так умер Джордано Бруно».

Воейков стоял у окна.

«Да, Бруно прекрасен». Ему вдруг стало ощутительно дорого то, что он принадлежал к тому же человеческому виду, как и Бруно. «Как хорошо, что и я человек»,— подумал он, смотря на золотистый закат солнца. И еще раз он прошептал: «Джордано Бруно, ты прекрасен».

*

Вы удивляетесь красоте слабого, отклоняющего участие и сострадание сильного. Но как велика красота поступка, когда слабое конечное существо отклоняет участие и сострадание бесконечного существа? Не кажется ли вам тогда, что слабое конечное существо вырастает, выходит из границ конечности, и не становится ли оно тогда в вашем сознании, маленькое конечное существо, рядом с великим бесконечным?

Когда Спиноза писал свое: «Кто любит Бога, тот не может стремиться к тому, чтобы и Бог его любил», он добровольно отказывался от участия и сострадания к себе божества.

Вот, под впечатлением духовной красоты этой истины Спинозы, Воейков сидел и всматривался в заполнявший углы темный воздух комнаты, где за зеленым сукном сидело много читающих. «Чтобы и Бог его любил... не может желать того»,— по-

вторил, всматриваясь в темные углы, Воейков, замирая и стараясь, чтобы эти слова всей своей природой запечатлелись в его сознании. И по мере того, как он думал, что-то новое и красивое светлой волной вливалось в его «я». «Тот, кто любит Бога»,— мечтательно повторил <он>. И потом Воейков торопливо схватил книгу и, торопливо перелистав ее, с жадностью стал всматриваться в эти черты, в которых сквозь телесную немощь просвечивала какая-то неземная духовная красота. «Cui Deus, natura, rerum cui cognitus, ordo...» Нет, дальше, дальше. И торопливо отыскав страницу, Воейков жадно стал читать теоремы, тропари, королларии, в стройном порядке разворачивавшие картину удивительно цельного миросозерцания.

Так... «В природе вещей нет ничего случайного, но все определено необходимостью божественной природы к существованию и действованию известным образом». Необходимостью божественной природы... «Вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, как в том, в каком они произведены». Он подчинил само божество законам необходимости!

Швейцар подавал ему пальто, и он брал его в руки и тускло смотрел на него, а в голове у него проходил королларий. Но вот он сорвался на средине, задрожал и исчез, и потом снова появился и тихо стал проходить перед сознанием.

«Ну вот,— несколько оглушенный этим переходом от стройных короллариев Спинозы к этой трясущейся мостовой, к этим дребезжащим фонарям и к этой суетной жизни улицы,— ну вот... как же это? да!» — озираясь в своем сознании и отыскивая уплывшие следы короллариев Спинозы, думал Воейков, тускло вглядываясь в улицу.

«Да...

Х-хо-орошо»,— и наладив дело и возвратив убежавшие королларии, Воейков сошел со ступенек и тихо, не изменяя положения глаз, которыми он, закусывая губы, смотрел поверх толпы в одну точку, он пошел по дорожке для пеших.

Само божество подчинил он необходимости! Это красиво. Но так ли... Не есть ли закон причинности скорее условие наше-

го познавания? А если есть, то можем ли мы распространить на все жизни условия нашего познавания? А все-таки какая красивая, точная форма... Как одеянье слова плотно обхватывает у Спинозы стан мысли... поверхность ее обтягивает без ненужных складок... совпадая с ней по кривизне...

*

Сейчас, когда он думал об этом, ему все это казалось ясным, само собою подразумевающимся. Все это было так ясно и очевидно, что нельзя было даже допустить возможности неосуществления этого. Но после.

Да, а кроме того. Кроме того, да, я яйцо? Ведь яйцо чтобы заставить, то есть чтобы из яйца, которое только что снесла курочка, вылупился цыпленок, ведь для этого вовсе не нужно знать и уметь воспроизвести все состояния, через которые проходит только что снесенное, прозрачное яичко, чтобы стать цыпленком. Ведь только нужно известное время держать окружающий воздух и вещи в известных границах колебаний теплоты, остальное совершится само собой. В самом яйце находятся достаточные условия для того, чтобы, сузив границы колебания теплоты, мы достигли бы вылупления цыпленка. А вся сложность движений и хлопот курицы, которую с ее телодвижениями мы никогда не могли бы воспроизвести, сводится к внесению этого нового, дополнительного условия в ряд условий, необходимых и достаточных для вылупления из яйца цыпленка, к этому простому, легко доступному для повторения и воспроизведения воздействию на яйцо.

Вот то же самое и в человеческом зародыше. Вот, во-первых, мы часто очень встречаться будем с... ну... как же? да! встречаться будем с тем, что нередко самые легкие, самые удобные для повторения воздействия на зародыш будут достигаться самыми сложными движениями и [*текст обрывается*].

*

Так тоскливо, уныло. Куда идти, на главные ли улицы, где большие, ярко освещенные стекла с разложенным товаром тянутся вдоль улицы и где люди с завитыми усиками, раздушенные и в воротничках думают, что этой своей раздушенностью, завитыми волосами они приобрели право выставлять свой грубый эгоцентризм?

Нет, там слишком мало зелени, там нет полевых цветов, там люди видят удовлетворение своего честолюбия в замене полевых цветов мертвым камнем, жизни — смертью.

Нет, пойду на окраины.

Но образ, весь вечер встававший и отгонявший смысл тех строчек, которые он читал, встававший перед ним и тогда, когда он подымал голову и, думая, смотрел на стену, образ, выражавшийся не совокупностью зрительных, распределенных на экране пространства ощущений, а какой-то тенью каких-то неизъяснимо-тонких ощущений чего-то нового, дорогого, благоухающе-прекрасного, вдруг задрожал, смутился и растаял, и когда Воейков силой воли хотел его вызвать снова, он появлялся каким-то искусственным, нецельным, в котором недоставало главного — связывавшего и одухотворявшего его чувства.

Вместо же него оставалась и грустно-строго смотрела серая пустая действительность.

«Как пошло»,— почти с тоской подумал Воейков.

Ему припомнились слова одного поэта-мыслителя, Надсона («сравни дела людей с делами природы»)...

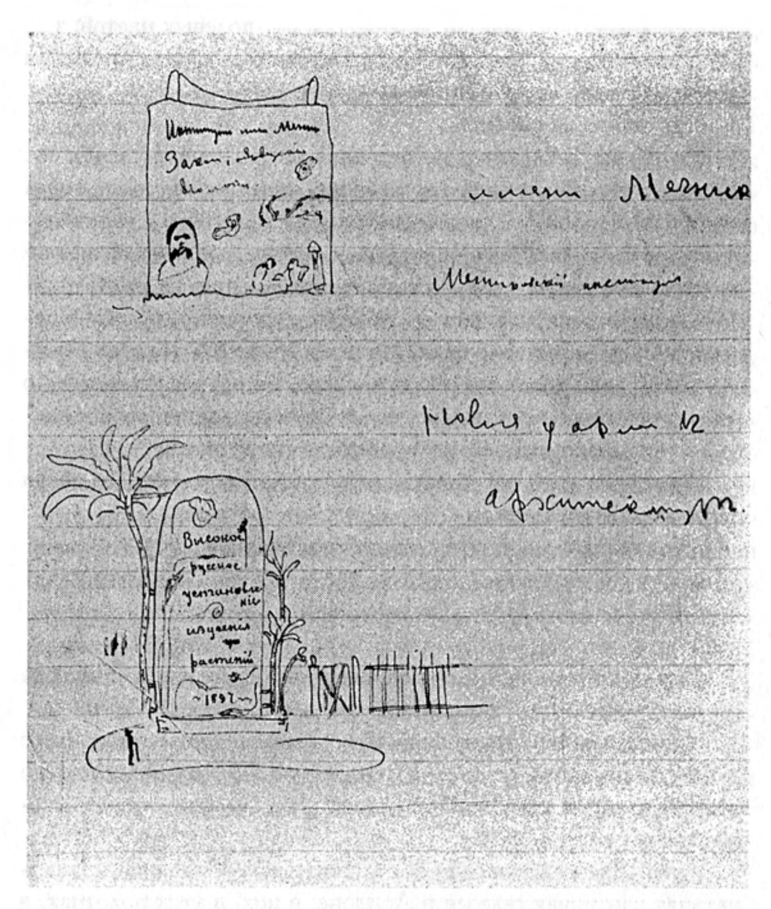
Да, это хорошо: это так как-то находило полный отклик в его душе. Да он и сам, если бы хотел, не мог бы дать более плотно обхватывающей словесной оболочки, дать более полное отражение своему настроению.

Лувр, Дрезденская галерея с Сикстинской Мадонной, Национальная картинная галерея в Лондоне; в них, в этих полотнах, в

этих мраморах и бронзах, сколько вложено огня вдохновенья, сколько потенциального чувства красоты. И все это погибнет.

Ему стало страшно за судьбы этих статуй, этих картинных галерей с длинными рядами красиво и искусно уставленных картин; при появлении каждой из них сколько раз произносилось слово «вечность».

<1904–1906>



Страница из черновиков к прозе «Еня Воейков»

* * *

...И тогда захотелось уйти в свежую зеленую чащу, где не было этих животных с парой скучных человеческих ног. И окунуться в глубокую и холодную воду, где плавали рыбы, у которых не было этой пары скучных человеческих ног. И мне переставало хотеть быть человеком, если у этого человека пара скучных человеческих ног. Скучные?

О, головы, сказавшие: прощай! ногам. О, таинственные воды, лучшее творение людей, в которых, подобные бледным купавам, плавают одинокие человеческие головы.

О, животные с парой скучных ног, о, тонкий и острый кинжал с черным черенком, витым узором и надписью «Осман»!

И тогда я, голова, с любопытством рассматривал маленькую кровоточащую ранку, нанесенную послушным моей воле братом-рукой брату-ноге.

Было ли во мне сострадание? Нет: улыбка веселила мои уста, мозг не жалел своего брата, толстого бедного брата. Толстого глупого брата — белую благородную ногу.

<1904–1906>

УЧИЛИЦА

— Соловушко вселенноокий, ты песней взял меня в полон. Звукун! Уже близка ночь, и приближается стадо поцелуешерстных, любверогих овец, так как слышу рожок пастуха, и он уже властен над моей душой. И пылью, одеющей стадо, кажутся миги ожидания, полные трепета.

О, не томи мою душу, так как тобою полон товарищ моих ночей, полночебровый ясавец.—

Так молилась училица Бестужевских учин Любочка Налеева, сидя в темной от копоти и пахнущей травами и зельем-сушимцем хате ховуна.

Может быть, текла вниз борода сребровитой куделью, может быть, это было морозное утро над заброшенными в степи огнеокими избушками.

Если это не было сивое зимнее утро, видимое откуда-нибудь из узкого места, из затянутого бычачьим пузырем окна, то это могла еще быть охладевшая, посизелая головня, в которой мелькали злобные вишнево-желтые огоньки-очи под отяжелевшими ховунскими веками.

— Нет руки славицу нести в злые сети, но есть много рук взять оттуда и посадить в сладчайшую клеть. Помни, девица, и не иди в пламя. Есть у тебя и седая глубокоокая мать — разрыдается она в старости, есть и престарелый отец.—

Так говорил ховун, раскачиваясь и полузакрывая глаза, и в таинственном мареве его выражений мелькал молодой и прекрасный смертноша с черными, как ночь, глазами и щеками, малиновитей зари.

— Я хочу! — воскликнула училица, не привыкшая сображать свои желания с требованиями почтенной нравственности, и ударила ножкой о пол. Заговорила в ней и мощь одних и навык к свободе других, но побежден был в тот памятный раз голос благоразумия, и стояла, вселеннея девичьими глазами, и с дивной игрой и нетерпения и негодования, и презрения на не знающих себе равных устах.

Стояла, пророчественно ведая о ком-то, безумно влюбленном в себя, и была молода и прекрасна, так как всего только год пробыла на учинах (будучи уволена за невзнос платы) и не успела стать некрасивой.

Что-то странное произошло с лицом ховуна, какая-то молость пробежала по проясневшим вдруг углам глаз.

Но та же вилась седая кудреватая борода и та же стояла дубрава волос.

Быстро наклонился ховун над углями и стал копаться и только немного дал хлебушка, помазанного медом, промолвив: «Покушай-ста, боярышня».

Сияла зимой увенчанная волосом глава, блистали странно-молодые черно-синие глаза, и сквозь рубища мелькало крепкое молодое, покрытое черным блестящим волосом, тело. Носил он на узком ремешке сухой зеленый веник, и от него шел приятный и сладкий запах и легкий звук. <Обнажала>, украдкой посматривая на ховуна, жемчужные зубки и таинственно отдавалась новой власти молодая и прекрасная девушка — училица учин.

И вдруг обернулся и, взяв горящую лучину, приблизил к глазам, и стал в некотором отдалении и молвил: — Что видишь? —

И охнула Любочка и закрыла лицо руками, только повторяя: — Он, он!

Но он властно отстранил руки и строго, как врач, спросил:

— Кто он? —

Но не ответствовала та, и ужас и восхищение были в ее безмерно раскрытых глазах.

— Зорекудель? — Да!

— Зорекудри, точно утром небо, пышут и дышат над плечами? — Да!

— Синеёмы взоров? Озерное небо под осенним золотом тростников? — Да!

— Золотом шитый крутой воротник? — Да!

— Легкий и изящный извив губ, говорящий о порочной и привыкшей к наслаждениям жизни? — Да!

— Не порос ли он нежной бородой, молодой и прекрасной? — Да!

— Не показываются ли в его бороде некоторые седые волосы? — Да!

— Не простирается ли его седая борода по плечи и грудь? — Да!

— Не потускнели ли его синие глаза? — Да!

— Но не стал ли он от этого еще прекрасней? — Да!

Что-то радостное и злое пробежало по двояко-жизненному лицу ховуна.

— Такая прекрасная рассудительная девица не нуждается в помощи лучины,— заметил он и, погасив лучину, повел за собой покорную, счастливую и влюбленную училицу, шепчущую: — Ты, ты!

Злое и злое ветром трепетало над ним в воздухе. И как сказать? И как объяснить?

В ее сознании в этот миг мелькали преславные и презнаменитые на Руси имена Бехтерева и Лосского и их темные учения о природе человеческой души,— так как она много изучала эти науки и любила их. Так уходила, влекомая ховуном, в дверь.

В ту же ночь молодой и прекрасный юноша всю ночь простоял у слюдяного окошечка, сквозь которое светились кованые, блестящие на лунном свете, ларцы и басурманские ковры, вывезенные из черкасской стороны.

Всю ночь он отвечал на испуганные вопросы подкупленной его золотом мамки: — Нет? — Всё еще нет...

Был он недавно с похода против Пскова, и железный меч висел через его плечо.

Под утро он был схвачен проезжавшими опричниками.

И под вечер того же дня сухая стариковская голова, пожевав губами, прошептала: «...И боярского сына Володимерко».

А после, склонясь набожно глазами, добавила: «И иже ты, Боже, веси!..»

Приехавшая в рыдване, к полудню, боярышня с несказанной печалью встретила известие об участи, постигшей молодого боярина.

Долгие дни после того ее можно было встретить в храме, бледной и печальной, отслуживавшей поминальные службы по усопшем боярском сыне.

Не уступала и инокиням в черноте одежды и бледности лика.

И всегда в руке горела свеча — тонкая и ясная.

Кончила свой век в заволжских лесах...

Так тщетно силились разорвать цепи времен два любящих сердца.

<1908>

ВЕЛИК-ДЕНЬ
(Подражание Гоголю)

— Сегодня Велик-день: одень хустку, гарнесенькой станешь,— уныло говорила жинка, работая ухватом у печи и обращаясь к молодой девушке, сидевшей у окна, расчесывая свои волосы и закидывая назад голову.

— Хиба я не знаю? — недовольно отвечала та, подымая руку, чтобы расправить непокорную прядь волос, змейкой щекотавшей грудь.

Сегодня Велик-день: в толпу малороссиянок вмешается она, дочь огня, одетая, как они, и пойдет с ними в старинный высокий храм на высокой горе, окруженный столетней рощей и далеким видом лугов, сел, рек, где умер чтимый в сердцах.

И когда старинный золотобородый звонарь ударит в большие и малые колокола и голуби понесутся над миром, тогда медленно исчезнут они одна за другой в высоком темном входе.

Юный отрок, член какого-то темного союза, стоял и жадно всматривался в новый для него мир. Те, кто сражались вместе с Игорем и плакали вместе с Ярославной, с умиленными и строгими лицами шли одни за другими в храм и несколько свысока оглядывали досужего паныча. Молодцеватые кереи висели на их плечах. И издали мелькали малиновые «богородицы», червонным сердцем врезанные в их воротниках. Все наводило на размышления... Он попал в почти совсем ему незнакомый уголок исконной России. Один и тот же вопрос, чуть не в сотый раз, недоуменно приходил в голову. Отчего этой одежды не носят русские? Должны ли лучшие <люди> оставлять одиноким народ в

его борьбе за свои нравы и обычаи? И можно ли стыдиться той одежды, в которой сражались и умирали предки? Вид его собственных пуговиц, желтых, медных, однообразно болтающихся на своих местах, немного угнетал его. Почему бы ему не надеть этой стройной кереи с малиновой «богородицей», в которой ходили его предки?

Недоумевая, переводил он взгляд с одного лица хорошенькой малороссиянки на другое и вдруг встретил улыбающийся насмешливый взгляд дочери огня. Был у ней вкруг головы венок из бумажных цветов и намисто из пышных, зеленых и красных, бус, только что-то было такое небесно-чертовское в глазах и очаровательно сложенных губах, что заставило произнести: «Э! Тут дело неспроста. Это или красивейшая из дочерей Украины, или дочь неба. Неладно и так и этак». Вздрогнуло что-то в душе доброго молодца, заговорило и затрепетало на резных дубовых листах его духа. Вздрогнул он и по-другому, мужественно, с суровым укором, взглянул на сельскую волшебницу. На ее же лице было счастье и гордость сознания своей силы. Шепот и смех раздались кругом.

— Глядите, паныч! — щебетали одни из проказниц, другие же смешливо спрашивали: «А, цэ таке? — И, смеясь, отвечали: — И не знаем... цэ таке!»

В это время показался под руку с городской барышней парень, что учился в далекой туманной столице. Как подстреленная, затрепетала небесная панночка, увидев подходящих горожан. «Вот,— закричала она, показывая на него рукой.— Вот,— повторила она, задыхаясь и снимая повязку. И вдруг всплеснула руками и воскликнула: — Да что же это такое! Ужели мы, русские зори, не смеем лица показать от срама, в лицо посмотреть немцам? Да неужели нет хлопца постоять за нас? Гайдамаки! Гайдамаки!» И бросила венок на пол, и закрыла лицо руками, и заплакала, и убежала. Тогда, оглянувшись кругом суровыми и грустными глазами, пошел за ней отрок, и было видно, как он перед ней, белой и боязливой, в темной глубине дубов произносил суровую клятву воина: постоять за родину и ее обычаи. «Обижена ты, оклеветана, и некому постоять

за тебя»,— твердил он себе. И сказал он себе: «Россия для русского обычая».

«Да кто вы, не хлопцы, что ли! — уже сквозь слезы произносила она.— Смотрите, кто вы, на что вы похожи!».

Между тем, как воробьи, уселись на завалинке местные эсдеки и эсдечки и щебетали о Каутском, как воробьи в солнечную погоду. И, проходя мимо них, панночка гневно стрельнула глазами и промолвила: «У-у, недобрые!»

В тот же вечер журила ее стара. «Что это тебя не видать так долго было? Так нельзя! И еще накликаешь на него беду, и будут его пытать и щипцами горячими потчевать. Тебе-то нипочем, а ему каково? Ведь так уж бывало».— «Ни, мамо! — счастливо смеясь, отвечала панночка,— мы все это устроим».

<1909>. 1911

* * *

Белой земли люди идут, едут, трясут рат<ови>щами, волосами,— поводят белками, скрежещут зубами. Ничего им не надо. Они умирают легче, чем могут засмеяться. Они едут сюда, как посланники Божии. Они оставляют на пути своем плач, кровь, пепел городов, стен.

Товарищами волков хлынули они с конца вселенной, соединили судом войны края ее.

Отряды рассыпаются по равнине, рыщут, пронзают копьем любовников и предают суду пороки, разврат и роскошь <городов>.

Сыны и Дщери, спешите! Старцы, радуйтесь: приходит благословенная смерть. Вороны на небе, созвездия черных звезд <освещают ночью путь>, полчища идут по земле, волки за ними. Торопитесь, люди, закончить дела свои: купец, сочти счета; должник, верни ростовщику, пока стрела не упадет к вашим ногам.

Кайтесь! Кайтесь!

Горе тому году, когда небо покрыто черными звездами за солнцем днем, когда божества в зверином образе предают землю лютой казни, когда золотое звездное небо упало и рыскает по дорогам, а Млечный Путь — по опустошенным городам.

Смейтесь, неверующие, смейтесь, слепые.

В ресницы зрячих упал первый сон надвигающегося ужаса.

Завтра богини капищ, сложенных зодчим из живых сердец, будут найдены лежащими в пыли и презрении и опозоренными.

Завтра главы родов с вложенными в зубы уздами и с завязанными за плечами руками побегут за седоками, прикрываемые волосами хвостов.

Завтра владелица ожерелья будет в пыли прекрасной и мертвой, лежащей ничком.

Завтра мимо груд золота пройдут люди севера, равнодушные к нему, не отличив его от простого мусора.

Завтра тучи стрел полетят, и тела немногих храбрецов, стоящих на обороне, станут походить, умирая, на холмы леса.

Тогда чудные волосы будут в беспорядке и вдали лежать, как после убежавшего ветра остается на горах облако.

Поздно изменяться, поздно каяться.

Спешите голодными устами коснуться влаги жизни и бросить кубок сытыми.

Завтра несчастье. За холмами горят солнца, пожаром обведенные.

О, в каждой душе солнце предано казни!

Спешите! завтра поздно!

<1911>

* * *

Лубны — своеобразный глухой город.

Белое, высокое здание суда, подымающее власть высоко над жителями города <нрзб.>, в садах качающиеся еврейки в гамаках, кругом села великороссов, говорящих по-малорусски, но помнящих об единой Руси, так как их деды жили и родились на севере; лукаво смотрят их лица на каждого нового пришельца, желая понять, кто он — враг или друг.

Здесь благословенный отличный воздух, луга и поля, река Сула славится своим здоровьем, а подите — люди умирают не только от старости, но и от чахотки. И пожары. В русских столицах, где тройка черных или золотистых одноцветных крепких <нрзб.> коней, изгибая красивые морды, несет древних воинов, в так же изогнутых шлемах, на войну с огнем, сквозь быстро собирающуюся по бокам толпу, и старая битвенная судорога их движений, напоминая о войнах, волнует сердца,— там не то, <нрзб.> и полководец этой битвы скачет впереди с трубой в руке и бросает звонкие повеления.

Но здесь пожары так часты, как нигде. Они всегда происходят ночью.

Гневные, властные и торжественные реют над городом звуки трубы, то отдаленные, то страшно близкие, нарастая в силе. Они преследуют вас, они разыщут вас везде, в каком бы уголке города вы бы ни спрятались. Они, помимо слов, говорят, что ваш долг быть там. И властнее слов собирают жителей к пожарищу.

Настойчивость этих гневных звуков ужасна. Они про<нзаю>т вашу душу, вы не знаете в вашей душе преград для них.

Вы знаете, что в день Страшного суда вы проснетесь под эти трубы.

— Горит,— отвечают в этот миг прохожие и устремляются вперед. Тотчас какой-то ветер подымается по городу, начинается суматоха: лают собаки, бегут люди, и слышен топот ног и крики. Эти трубы не знают вас, с вашими личными страстями, но они знают люд и гнут его волю, как змею, и бросают для победы над огнем.

— Проснитесь,— говорят они,— восстал огонь, усмирите его, бросьте снова связанного и скованного в клетку. Ему пора не настала; это еще не последняя схватка огня и люда. Еще не время укротить зверя.

Я долго думал о неизмеримости величия их, я знал, что все, что есть,— есть только письмена; и старался понять их, ведь осязание числа есть великий переводчик не имеющих никакого родства языков.

В тоскующих и грозных, в них на каком-то языке виделось зерно воскрешения мертвых.

И в грозном гуле этих звуков, углом подымающихся над миром, падающих с неба на мир лавой, скрыт<о> обещание про день огня победителя, в них скрыты предтеча и знаменье, милое сердцу народа. Огневая ли природа усопших, дальние ли объятия смерт<и> солнца? Ведь живое более походит на землю, чем мертвое. И схватка огня и земли, увенчанная победой огня, раскрывшего крышки земных гробов и сожегшего их, вот что как <нрзб.> волнует вас после <нрзб.>.

Он придет, этот гневный вождь — красный багряный огонь.

Если смерть — разлука огня и земного воска, то здесь слышится возврат огневого человечества.

Да, я долго не мог забыть тоскующий гул этих труб.

Да, в такую ночь хорошо бродить одиноким путником, ожидая страшного суда. Но послушайте тогда, как снова грозно завывают трубы: «Нужно бросить обратно в темницу».

<1912>

* * *

Коля был красивый мальчик. Тонкие черные брови, иногда казавшиеся громадными, иногда обыкновенными, синевато-зеленые глаза, лукавой улыбкой завязанный рот и веселое хрупкое личико, которого коснулось дыхание здоровья.

Он вырос в любящей семье; он не знал других окриков в ответ на причуды или шалости, как «дитя мое, зачем ты волнуешься?».

В больших глазах его одновременно боролись бледно-синеватый оттенок и зеленый, как будто плавал лист купавы по озеру.

У него было семь скрипок и скрипка Страдивариуса. Но мальчик, кажется, немного был утомлен обилием этих скрипок. «Только ты худ немного»,— смеясь, говорили ему старшие. Он был очень маленького роста, хрупкий и нежный. Родные звали его сфинксом, обещая ему неожиданный перелом в настроении.

Раз, когда он проходил по тому берегу моря, который теперь уже исчез, смытый волнами одной бури, какой-то наблюдательный моряк задумчиво произнес: «Муравей и стрекоза» (вторым был я); в самом деле, он был трудолюбив, как муравей.

В Одессе, а это было в Одессе, многие переселялись на берег моря в легкомысленных клетушках, воздвигая их вдоль тропинок, угощая в праздник<и> т<олпу> дорогим чаем и дешевыми песенками.

В этой полурыбацкой жизни находили прелесть. Дети неловкой пухлой рукой подымают запутавшуюся в водорослях удочку. Другие, устав от уроков, видят ось жизни в ловле мелких рачков, толпами скользящих в воде. Волны — чувственный <рой> от

купа<льщиков>. В зеленом саду бродят еврейки и бросают жгучие и томные взгляды своего племени. Черные зрачки и белые белки их глаз удивительны, и они справедливо гордятся ими.

Искусство — суровый бич: оно разрушает семьи, оно ломает жизни и душу. Трещиной раскола отделяет душу от другой и труп привязывает к башне, где коршуны славы клюют когда-то живого человека. <Или> буря, когда с верхушки ветряных мельниц слетает крыша и с треском ломаются крылья, деревья гнутся в одну сторону, и ветки свищут от напряжения, трясущиеся овцы стоят и, жалобно блея, зовут отворить ворота.

Впрочем, конечно, это только вычурный своей мрачностью образ.

<1912>

ОКО

Орочонская повесть

Око́.

Брат! Ты, как красногорлый соловей, боишься своей красоты, робкий красавец. Разве не знаешь, отчего соленый бывает обед: то от слез моих солона еда. Разве не знаешь, кто робко скрывается в зеленой чаще, когда ты купаешься? — это я прячусь в густых ивах.

Опять ты ушел, гордый и легкий, в лес, а я здесь сижу день одна-одинешенька. Ах, мне чуется, что где-то живут много людей, а не как мы одни, вдвоем брат и сестра. О, какое счастье жить, где много чужих людей, а не брат и сестра! О, если бы ты сказал мне: «Я люблю тебя, сестра!»

Да, ты часто говоришь: «Я люблю тебя, сестра», и ни разу меня не обидел, но ты говоришь на совсем другом, незнакомом языке.

О, если б здесь было много братьев чужих и неродных, какое то было бы счастье! Я бы припала с поцелуями к каждому праху их ног! Я бы дрожала, как береза от удара, от их взгляда. Я бы каждого спросила ранней ночью, темной осенью: «Брат! ты любишь меня?»

Мои бы глаза были бы широки и бездонны, как темные озера, а вся я дрожала бы и смеялась от счастья. А если бы в ответ он насмешливо засвистел, как брат, я бы вся покрылась слезами от отчаянья. Бедная я, бедная я, несчастная! Ах! когда вечером я сижу у огня, какие движения струятся по моему телу. Так осиновый лес дрожит от приближающегося ветра. Как я умела бы пля-

сать! Все ветры осенние и весенние сгибали и наклоняли бы мое тело.

Как сгибается в огне береста, так сгибалась бы я перед вашими взорами, братья. Я подслушала все изломы голосов незнакомых мне птиц и падение вниз чистой воды и все это передала бы в страстной песне! Я бы сковывала руки пожатьем и расковывала их и сплясала бы пляску перед пламенными бурей взглядами.

Брат! Брат, полюби меня!

— Что с тобой? Ты говоришь кому-то и улыбаешься. Это не я...

Так! так! ты просишь, чтобы я тебя полюбил? Разве я тебя обижаю?

— Обижаешь? Обижаешь! Разве я не красива? Разве я не прелестна? Зачем ты на меня не взглянул другими глазами, как будто т<игр> тебе брат? Смотри, смотри, что скрывают одежды? Поверь этим грудям, которые просят словами более звонкими, чем крик несчастья или восхищения. Вот!

— Что с тобою? Ты сходишь с ума? Что ты говоришь, сестра! Что с тобой?

— Я люблю тебя! Не веришь? Не веришь? Сердишься? Сердишься! Не сердись, прости меня, я тебя люблю. Ты, как небо перед молнией.

— Еще бы не сердиться! Чистая, как снег,— я всегда так думал о тебе, и вдруг слова змеи, ужален я ими в самое сердце. Зачем ты, как паук, прядешь какие-то сети. Знай — оба умрем и погибнем в них. Оставь это, забудь, сестра!

— Прости меня, брат, прости. Забудь, как будто этого дня не было. Прости меня.

Он все поет о каких-то двух солнцах, убитых предком. Будто они упали в море и погасли, а третье осталось, и всем стало легче жить. Разве могут быть три солнца? Но все-таки сказочно прекрасно зрелище того, как гибнет каменное солнце от легкого стрелка. Как шипело море! Сколько брызг летало во все стороны! Как брошенные головни, гасли в воде громадные солнца. Это было вот так (*берет из костра головню и привешивает к березе, висящей над рекой; стреляет из лука, и головня*

падает в воду). Ночью это было бы еще восхитительнее. Но может ли солнце быть ночью? Почему не может: ведь голубые глаза любящего — это солнце днем, а влюбленные глаза черного цвета — солнце ночью. Может! А люди были таинственны и горды, как мой брат, которого не поймешь. А мы хитры и умны, как я.

Хорошо же. Злой! Увидишь! А если придет, пусть подумает, что я выстрелила в небо и на стреле взобралась до туч.

О, ручей, я иду к счастью. О, белки, я иду к счастью! Не задевайте о мои ноги, травки, не замедляйте счастья.

Дойду ли я так? Нет, нужно бежать до той поляны, где я поставлю жилье.

Не шуми, вода, так громко, я иду к счастью!

Заплетайтесь в мои ноги, цветы!

Нежьте и услаждайте слух, птахи!

О, если бы медведь помог мне!

О, если бы рысь принесла ветки!

Нет, сама я должна срубить шалаш, где буду сидеть одна, смеясь.

Вот и готово. Как быстро.

Не успела оглянуться.

Теперь положу берестяный черпак и черепа зверей. И оставлю кругом следы. Точно не первый день здесь живет.

Нет, лучше пусть цветы и травы будут нетронуты вокруг шалаша.

Здесь я встречу тебя, милый.

Ах, брат идет! Точно. Отвернусь от него и тело буду умывать.

Расстанемся надолго.

<1912>

* * *

Чернея макушкой стриженой, пламенем желтым одетый, как римской холстиной с каймою широкой, быстро, военной походкой, к ступеням подходит седалища, где водопад был изменчив, лиясь из морской пасти снопом кудрей зеленых и белых, сине-зеленых и черно-желтых. Падал на них уже свет подходящего с стоном и с топотом юноши (грозны и быстры шаги).

Обе ладони смежив на темени овна кудрявого и двуглавого, ручкой служив<шего> для обоюдоострого, в землю воткнутого грубо меча, сидела, с испугом смотрела на быстро вошедшего та, о которой прекрасней молчать. Длинные руки из камня слонового токарь прекрасного рока высек и выточил для восхищенья и взоров. Цепь незабудок одну украшала. Темные взоры исполнены были ее красоты могучей и вопроса, и лютни молчащие вделаны были в престол.

Но конский череп был поднят на темя, как шлем.

С испугом спокойным смотрела она на вошедшего, и руку ее колебала чуть глазу заметная дрожь.

И после, щебетом нежным птицы, пропела, желая спросить вновь пришедшего.

— Устал ты? Не хочешь ли пить? Вот водопада струя вниз убегает, звеня, всех утоляя и утомляя. Властные жезлы и знаки державы в беге клокочут его. Сядь, отдохни и расскажи мне твою повесть. Надеюсь, она не страшна и среди спутников счастья — цветов свежих и чистых — будет ей место. Что же молчишь ты?

И вновь вопросила, уже с испугом и слезами в голосе:

— Что же молчишь ты? Скажи! Что ты стоишь неподвижим, глаз не подъемля. Пряхи, я вижу, искусные сделали эти одежды, на пламя могучее похожие более, чем капля на каплю. Бурно колеблет их ветер, ворвавшийся в окна через решетку. Как будто огонь твои ткани, но ведь обман он, а обман не сжигает поверхности кожи. Выбрал ты благовония странные. Смолы и травы пахнут не так. Так тлеет на углях мясо козленка и волос на жарких щипцах. И зачем синий дым ясно порочит небо прекрасное? Вот что ответь мне пришедший: не больно тебе? Иначе страшное я начинаю угадывать в приходе внезапном твоем. Что молчишь ты?

— Краткими будут слова мои, здесь восседающая. В границ<ах> они костра и золы. Многими реками ты не утолишь меня, примчался ведь я — и много правдиво тебе рассказали быстрые твои взоры души, лгать не умеющей. Но истины сердце в испуге бежит дыхания грозного, поверь. Здесь я стою. Хохоты рабских морей слышал я, сюда шествуя. Как ни несносны они, не от укусов комара костер плотно к плечам прильнул, как рубашка. И не жидкой рекой, а жестокой, железной, чьи прямей берега, чем лучи, и чье устье и море — сердце умершего, утолишь ты жажду мою. Сделай, если ты дочь милосердия, чтоб ей утолен был я раньше, чем ткани мои огневые не сделают пепла горы у ног, у ступеней твоих. Узнай же — горю я. Раньше, чем речь окончу свою, раньше, чем стану я пепла и масла смесью, глаза оскорбляющей. Из грез и из слез быстрый ручей — наша жизнь. В жидком звенящем навесе воды! То лишь промолвить хочу я: будешь жесточе ты многого, если не станешь суровою.

Растрогана, она ясно раскрыла глаза и ресницы свои черно-длинные и спросила его: «Неужели»?

— От плаща огневого многие ищут такого покоя. Сейчас вселенная — жемчужная раковина для жемчужины <моей> смерти. Ты новый звук, вошедший в ее слух. Крыло водяное объемлет тебя и уносит. Я старого лебедя шея. Так я спасу<сь> от страданий. Жизнь им имя, чело их носитель. Время страданий — <мой> век. Я иду в море вод твоих, земной пепел бро-

сая, как странник свой посох <здесь>, у ворот. О, пещера зеркального льда с ледяными мечами на потолке!

Остров когда-то ладью с лебедя шеей снаряжал, золотистых и нежных лес парусов. Младенца лицо было на каждом. И много гребцов поставил в ладью. Багрец нежно-красный золотистым отливом наполнял холсты, как перь<я> бабур<ки>. Для ветров привешены были прекрасные лютни. Звенели и пели. Младенца в далекую сушу то судно везло. Что ж? С морскими разбойниками встреча, пожар, и чума, и насад чумный труп и чумных ряд гребцов в пристань дальнюю привез. Сто чумных гребцов, <упавших> на лавки, привез вольный ветер в ту пристань.

То же и жизнь. Таков был младенец.

Но что это? Белый, стеклянный мчится и бьется ручей? И темная, синяя с белым горошком рубашка лежит меж вод и зеленых осок. Здесь кто-то купался. Но куда он уплыл?

Но там, между черных глыб берегов, золотая течет, слышу я, лава, камни ворочая глухо и в ней снег — белый череп и пепел прозрачный и черный прежних волос и вихров. <Вот что> остается от жизни. Всегда? и зачем? Эта [рубашка от мальчика] темная, синяя. Так ли лежит на нем много позора, чтоб искупить себя в этой купели огня золотого? Но все же, цветущий, вновь он всплывает. И с длинной лютнею чайка летает: «воскресни» поет она в злате пловцу.

Желтый косматый король с грозной гривой вышел из рощи его растерзать и лапу кладет на одежды и смотрит устало, наморщив чело и глаза.

Вон двое: старец и дева — из камня оба. Медленно в кожу из камня [тайный в средине], явный концами вонзается нож, каменный нож, и медленно старец, главой на плечо увядая, целует безмолвно пролитую кровь. Вон в черных потемках белый слепец здесь проходит строгий, прям, как доска, и белые струны белого камня носит в руке. Слышите голос высокий? Знаю я, здесь мой обещанный рай. Здесь я страсти предвижу в прекрасных размерах. Их кожа из красок зари, а кость заменяет им воздух. Их взоры-свирели огней, воздушные лютни. Их голос был не-

бом в раздумье, зарей — в час дружбы и громом — в час гнева. Частями власти они здесь живут, ветки единой листами, частыми, длинными. Силам найду и созвучие в милом. Истлели в размерах тех, точно в стенах стеклянного гроба, ненависть, зависть и злоба. Белые нити поют. Шествует белый слепец. Свеча одиноко пылает, тихий покой освещая.

И с свистом и стоном души, не нашедшей приюта, летавшая долго, мертвая голова падает сверху. Светоч горевший угас. Во тьме ледяные чертоги.

<1912–1913>

* * *

Страна Будетли, страна Будетли, будешь ли ты? И народ будетлян, и голубоглазый народ будетлян, будешь ли ты?

И грезы о нем, и мои грезы о нем!

Белый стол и много грезящих юношей. Ученики и товарищи. «Грезимте»,— молвил один. И встало несколько и, блестя глазами, говорило.

Моим собеседником был будетлянин, и он рассказывал мне про длинный путь, пройденный Землей. Он называл мне те вьюги и метели, которые вынесла на своем пути бездомная, не имеющая пристанища, Странница. Я вспоминал из своего времени идущих на богомолье старушек с клюкой в руке.

По колодцу, начинавшемуся у северного средоточия Земли, род — с прозрачными стенами — «избушки» переносил нас в глубь Земли. Прислушиваясь к рассказам будетлянина, я внимательно всматривался в то, что было доступно мне благодаря прозрачности стен «избушки».

Пещеры, обширнее одна другой, сменяли друг друга. Там и здесь, проведенный сквозь подземные трубы, врывался свет и, упав на искусно вделанное в верхнюю поверхность пещеры зеркало, создавал морок неба с живыми, бродившими по нему облаками. Солнца, иногда огромные и яркие, иногда маленькие и бесконечно удаленные, передвигались по этим подземным «небам». Одни из пещер были залиты светом, другие — погружены в сумрак. Я не всегда помнил, что находился глубоко под земной поверхностью.

Мы быстро спускались вниз. Зачарованный тем, что я видел, я невольно перестал относиться к словам будетлянина с тем вниманием, какого они заслуживали.

Темный пушистый тюлень подымал голову в глубине одной из пещер. Снежный тетерев был едва заметен на снеговом покрове черным глазом своим.

Показались первые березки, заросли ив.

Лебедь плескался в подземном озере, отражаясь в нем.

Полные сумрака таинственные пещеры с одинокими елями и криками халзанов.

Таежные чащи других пещер, с их черной желной, свистом рябчиков, взбегающими вверх по стволам белками.

Столетние дубровы и зубр у подножия дуба.

В заводях, среди цветов купав, плавали бабуры, перебегали по водной поверхности пастушки...

<1912–1913>

ЗАКАЛЕННОЕ СЕРДЦЕ
(Из черногорской жизни)

— Стой, влаше, ми те запопим,— проговорил Мирко, забивая ствол ружья клоком овечьей шерсти.

Он смотрел вдаль. В самом деле, красная феска мелькнула за камнем. Как крылья у коршуна, поднялись руки у Мирко, поднесли ложе к плечу, загремел выстрел, покатился по ущелью, и феска, взмахнув черной кистью, передвинулась на побледневшем лице умирающего турка.

— Может, там еще кто есть? — тихо спросил Бориско, стоявший около отца и наблюдавший происходившее.

— Все бывает, кроме беременного человека,— угрюмо возразил Мирко, закусывая концы длинного уса и мрачно вглядываясь вдаль.

Вдруг он потряс ружьем и воскликнул:

— Собаки! Это будет, когда верба даст грозды. Тогда вы покорите нас!

— Умер? — спросил Бориско.

— От яловой козы не жди молока, от пули — добра. Останься здесь. Страхич пасет коз. Будь осторожен. С Богом! Ты — детич! Пусть сам орел будет слепым рядом с тобой.

Крупными шагами он уходил из ущелья, по которому плыли синие тучи.

— Младыми свет стоит,— думал юнак, опираясь на ружье.

Он был уже в возрасте. Давно ли это было?

Его опоясали, и мать поцеловала ему глаза и сказала:

— Господине! Приказывай мне, я твоя раба, я слушаю тебя.

А он в ответ поцеловал ей морщинистые руки и со всем пылом обещал быть опорой старости.

Баловень-орел жил на привязи у хаты. Бориско пас коз и прямо из вымени пил молоко, проголодавшийся и усталый. Да, это было давно.

— Не будь мед,— сказал ему Мирко,— слижут тебя. Не будь яд — выблюют тебя.

Долго размышлял Бориско над странной мудростью этих простых слов.

Другие видения прошлого встали перед его глазами. Он знал, что входит в другую полосу жизни. Бориско не был безродный никогович. Человек от человека были все его предки по дебелой крови. Человеком был дед, человеком и прадед. Славен их род в Черной Горе. В самой России помнят о нем. Да, он воеводич. Он стоял, опершись о ружье.

«За негу твою я дам кровь из-под горла»,— вспомнил он огненные старинные слова старой сербской песни. Их он недавно шептал Заре, тогда, на восходе солнца. Высоко, как вершины черногорских гор, на полроста отделившись от земли и соединив над головой прекрасно сплетенные руки, подскакивали плясуньи, и, как играющие в полдень орлы, носились кругом них юнаки, смелые и вооруженные кривыми ножами. У орлов и у горных вершин родины учились они пляскам. Седой русский сидел около них и наблюдал их обычаи.

В струку крепко завернулся детич. Черногорец задумался.

— Тяжко мясу без мяса,— донесся звонкий довольный голос.

— Да, тяжко мясу без мяса,— вздрогнул он.— Где Зара? Где она?

— Станица?

— Да!

Станка несет кувшин с водой и котелок каши. Босые ноги ее были покрыты пылью, и легкая струка висела на плече. Зоркие глаза ее заметили турка.

— Молодой,— с невольным сожалением бросила она в его сторону, ставя кувшин на землю.

Жадно припал Бориско к студеной влаге и пил. Но раньше, чем он успел опорожнить кувшин, пуля неизвестно откуда направленного выстрела разбила его на куски. Лишь желтое ребро кувшина сиротливо оставалось в руке, недавно еще державшей пушку. Бориско с сожалением смотрел на воду. Но снова выстрел.

— Сядь! — крикнул он, схватив за руку сестру и силой опуская ее на землю. И в самое время: частые пули, сопутствуемые вспышками дыма, защелкали у них над головами, сплющиваясь о каменную стену. Дело не было совершенно безвыходным, но, видя беззаботную улыбку сестры, Бориско чувствовал прилив отчаяния. Она смеялась, как ребенок, получивший игрушку в руки. Пули, ударявшиеся в стену, видимо, радовали ее.

Меж тем перестрелка окончилась. Бориско огляделся.

— Что, дети, я задал вам страху? — неожиданно спросил Мирко, показываясь откуда-то сверху. Усы его вздрагивали, а лицо горело.

— Что, дети, будете тешить беса? Хорошо, что я, но не турчин.

— Это ты стрелял? — спросил Бориско.

— Я! — ответил Мирко.— Отцовская пуля разобьет кувшин, но минует сердце, турецкая разобьет грудь и минует кувшин.

Бориско смотрел на него и удивлялся суровому мужеству его шутки и закаленному непрестанными войнами сердцу.

1913

ОХОТНИК УСА-ГАЛИ

Уса-Гали воспитывал соколов, охотился, а при случае занимался разбоем. Если его уличали, он добродушно спрашивал: «А разве нельзя? — думал, можно».

Увидев спящего жаворонка в степи, Уса-Гали ползет к нему и прижимает его за хвост к земле; птица просыпается в плену.

Орел сидит на стогу. Гали подкрадывается к стогу с длинной петлей. Орел зорко смотрит на волосяной обруч. Полный подозрений, он подымается на ноги, готовый улететь, но уж висит, ударяя черными крыльями, хлопая ими и крича. Уса-Гали выбегает из-под стога и за веревку тянет бедного князя воздуха, черного пленника с железными когтями; его крылья в размахе достигают сажени. Гордый, он едет по степи. Орел долго будет жить в плену, разделяя пищу с овчарками.

Раз, во время погони, целая вереница всадников окружила его. Гали напрасно рыскал на своем коне в средине облавы. Что же он делает? Он повернул коня и поскакал к одному из всадников. Тот нерешительно ставит коня боком. Гали свистнул плетью, и добрый конь, оглушенный страшным ударом в лоб, упал на колени. Уса-Гали ускакал. Это был лихой удар, вызвавший конский обморок. В степи долго помнили лопнувшую подпругу на оглушенном коне и примятого всадника.

В то время чумаки ездили обозами, покрывая возы от непогоды цельным войлоком. Волы идут, двигая вечно мокрые черные губы, отмахиваясь от мух. Были охотники подкрасться к чумакам, на скаку сунуть под колено конец войлока и умчаться с ним в степь. Тогда остроумные чумаки привязали войлок к обозу очень длинной веревкой. Уса-Гали так и сделал. Но едва веревка кончилась, он сильнейшим толчком был сброшен на землю, сломав руку. Чумаки подбежали и на славу выместили свои обиды. «Будет?» — спрашивали они его. «Будет, батька, будет!» — отвечал он тихо. Это удовольствие стоило ему нескольких ребер.

Плетью, которая есть близкий родич северного кистеня, он умел владеть превосходно, то есть по-киргизски, пользуясь ею

на волчьих охотах. Настойчивее борзой ручные орлы, преследуя в степи волка, доводят его до состояния бешенства и равнодушия ко всему.

Послушный иноходец прибавляет ходу, и Гали, наклонившись с седла, своим кистенем приканчивал изнемогающего в неравном споре зверя. Бедные бирюки!

Раз его застали важно гнавшим хворостиной целое стадо дроф.

«Уса-Гали, ты что делаешь?» — «Крылья подмерзли, маломало продаю их»,— равнодушно отвечал он.

Это было во время гололедицы.

Таков Уса-Гали. Белый конь пасется у стоянки. Стая витютней наносится ветром. Лебеди блеснули в глубокой синеве неба, как край другого мира. Белые стрепеты пасутся на песчаном бугру. Витютни, сидевшие в траве, вдруг срываются и уносятся. Рассказы, журчит беседа. Начинается вечерянка.

Между тем гуси, своим узором разделившие небо пополам, вытягиваются в тонкую полосу. Стая, похожая на воздушного змея, где-то далеко теряется бесконечной нитью, может быть, облегчая полет. Гуси перекликаются и снова перестраиваются, как темный Млечный Путь. Между тем прибавился ветер, и сильнее закачалось гнездо ремеза, похожее на теплую рукавицу, подвешенную к иве. Лунь, весь черный, с красивым серебряным теменем, проносится мимо.

Вороны и сороки радуют как хорошая примета.

— Слышите? — рассказывают про пленную турчанку,— она выходила в поле, ложилась, прикладывала голову к земле и, когда ее спрашивали, что она делает, она отвечала: «Я слушаю, как на небе служат обедню. Хорошо как!»

Русские стояли кругом. Здесь же Уса-Гали, в стороне, что-то скромно ест. Он был хороший степной зверь. Урус построил пароходы, урус провел дорогу и не замечает другой, степной жизни. Неверный урус, гяур-урус.

Если вы прислушивались к голосам диких гусей, не слышали ли вы: «Здравствуй! долженствующие умереть приветствуют тебя!»

1913

ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ.

Это послѣдняя книжка, въ которой такъ рано ушедшая Елена Гуро появляется вмѣстѣ со своими товарищами,—книжка, задуманная ею еще въ апрѣлѣ.

...Новая веселая весна за порогомъ: новое громадное качественное завоеваніе міра. Точно все живое, разбитое на тысячи видимостей, искаженное и униженное въ нихъ, бурно стремится найти настоящую дорогу къ себѣ и другъ къ другу, опрокидывая всѣ установленныя грани и способы человѣческаго общенія. И недалеки, можетъ-быть, дни, когда побѣжденные призраки трехмѣрнаго пространства и кажущагося, каплеобразнаго времени, и трусливой причинности, и еще многіе и многіе другіе—окажутся для всѣхъ тѣмъ, что они есть—досадными прутьями клѣтки, въ которой бьется творческій духъ человѣка—и только. Новая философія, психологія, музыка, живопись, порознь почти непріемлемыя для нормально-усталой современной души,—такъ радостно, такъ несбыточно поясняютъ и дополняютъ другъ друга: такъ сладки встрѣчи только для тѣхъ, кто все сжегъ за собою.

Но всѣ эти побѣды—только средства. А цѣль—тотъ новый удивительный міръ впереди, въ которомъ даже вещи воскреснутъ. И если одни завоевываютъ его,—или хотя-бы дороги къ нему,—другіе уже видятъ его, какъ въ откровеніи, почти живутъ въ немъ. Такая была Ел. Гуро. Такимъ, почти осязаемымъ,—уже своимъ, уже выстраданнымъ,—кажется этотъ міръ въ ея неоконченной книгѣ «Бѣдный Рыцарь». Душа ея была слишкомъ нѣжна, чтобы ломать, слишкомъ велика и благостна, чтобы враждовать даже съ прошлымъ, и такъ прозрачна, что съ легкостью проходила черезъ самыя уплотненныя явленія міра, самые грубые наросты установленнаго со своей тихой свѣчечкой большого грядущаго свѣта. Ее саму, можетъ быть, мало стѣсняли старыя формы, но въ молодомъ напорѣ «новыхъ» она сразу узнала свое—и не ошиблась. И если для многихъ связь ея съ ними была какимъ-то печальнымъ недоразумѣніемъ, то потому только, что они не поняли ни ея, ни ихъ.

Вотъ почему намъ надо было сказать эти нѣсколько словъ. Для всѣхъ, лично знавшихъ Ел. Гуро, боль утраты еще слишкомъ велика, чтобы говорить о ней, какъ о прошломъ, дѣлать ея характеристику, и пр., и пр. Пусть о ней скажутъ ея послѣднія дѣти, ея «Небесныя Верблюжата» и «Рыцарь Бѣдный». Вся она, какъ личность, какъ художникъ, какъ писатель, со своими особыми потусторонними путями и въ жизни и въ искусствѣ—необычайное, почти непонятное въ условіяхъ современности, явленіе. Вся она, можетъ быть, знакъ.

Знакъ, что приблизилось время.

Страница сборника «Трое»
(Е.Гуро, А.Крученых, В.Хлебников)

НИКОЛАЙ

Странное свойство случая! оно проводит вас равнодушным мимо того, чему присвоено имя страшного, и, наоборот, вы ищете глубины и тайны за ничтожным случаем. Я шел по улице и остановился, видя собирающуюся толпу около грузовых подвод.

— Что здесь такое? — спросил я случайного прохожего.

— Да вот, — ответил тот смеясь.

В самом деле, в гробовой тишине старый вороной конь мерно ударял копытом о мостовую. Другие кони прислушивались, глубоко поникнув головами, молчаливые, неподвижные. В стуке копытом слышалась мысль, прочитанный рок и приказание, и остальные кони, понурясь, внимали. Толпа быстро собиралась, пока грузчик не вышел откуда-то, не дернул коня за повод и не поехал дальше.

Но старый вороной конь, глухо читающий судьбу, и старые понуренные товарищи остались в памяти.

Невзгоды странствовательной жизни окупаются волшебными случаями. К таким я отношу встречу с Николаем. Если бы вы встретили его, вы бы, вероятно, не обратили внимания. Только немного смуглый лоб и подбородок выдали бы его. И слишком честно ничего не выражающие глаза могли бы вам сказать, что перед вами равнодушный и скучающий среди людей охотник.

Но это была одинокая воля, имевшая свой путь и свой конец жизни.

Он не был с людьми. Он походил на усадьбы, забором отгороженные от дороги, забором повернутые к проселку.

Он казался молчаливым и простым, осторожным и необщительным.

Его нрав казался мне даже бедным. В хмелю он становился груб и дерзок со своими знакомыми, назойливо требовал денег, но — странно? — испытывал прилив нежности к детям: не потому ли, что это были пока еще не люди? Эту черту я знавал и у других. Он собирал вокруг себя детвору и на всю мелочь, которой владел, покупал им убогие сласти, баранки, пряники, которыми украшены лари торговок. Хотел ли он сказать: «смотрите, люди, поступайте с другими, как я ними»?.. но, так как эта нежность не была его ремеслом, на меня его молчаливая проповедь оказывала большее действие, чем проповедь иного учителя с громкой и всемирной славой. Какую-то простую и суровую мысль выражали тогда его прямые глаза.

А впрочем, кто прочтет душу нелюдимого серого охотника, сурового гонителя вепрей и диких гусей?

Мне вспоминается по этому поводу суровый приговор над всей жизнью одного умершего татарина, который оставил предсмертную записку с краткой, но привлекающей внимание надписью: «плюю на весь мир». Татарам он казался отступником от веры, изменником, а русским властям — опасной горячей головой. Признаюсь, я не раз хотел дать подпись под эту записку, указанную равнодушием и отчаянием.

Но эта молчаливая выставка свободы от железных законов жизни и ее суровой правды, этот орешник, собирающий у своего подножия полевые цветы, все-таки глубокая черта; в них скрывалась простая и суровая мысль, хранимая его, несмотря ни на что, честными глазами.

В одном старом альбоме, которому много лет, среди выцветших сгорбленных старцев с звездой на груди, среди жеманных пожилых женщин с золотой цепью на руке, всегда читающих раскрытую книгу, вы могли встретить и скромное желтое изображение человека с чертами лица мало замечательными, прямой бородой и двустволкой на коленях; простой пробор разделял волосы.

Если вы спросите, кто эта поблекшая выцветшая светопись, вам кратко ответят, что это Николай. Но от подробных объяс-

нений, наверное, уклонятся. Легкое облачко на лице говорившего вам укажет, что к нему относились не как к совершенно постороннему человеку.

Я знал этого охотника.

К людям вообще можно относиться как к разным освещениям одной и той же белой головы с белыми кудрями. Тогда бесконечное разнообразие представит вам созерцание лба и глаз в разных освещениях, борьба теней и света на одной и той же каменной голове, повторенной и старцами и детьми, дельцами и мечтателями, бесконечное число раз.

И он, конечно, был лишь одним из освещений этого белого камня с глазами и кудрями. Но может ли кто-нибудь не быть им?

Про его охотничьи подвиги многое рассказывали. Когда его просили принесть зверя, он, отличавшийся молчаливостью, спрашивал: «сколько?» — и исчезал. Бог ведает, какими судьбами, но он появлялся и приносил, что ему заказывали. Кабаны знали его как молчаливого и страшного врага.

Черни,— это место, где из мелкого моря растет камыш,— были им изучены превосходно. Кто знает,— если бы можно было проникнуть в душу пернатого мира, населяющего устье Волги,— каким образом был запечатлен в нем этот страшный охотник! Когда они оглашали стонами пустынный берег, не слышалось ли в их рыданиях, что челн Птичьей Смерти снова пристал к берегу? Не грозным ли существом с потусторонней властью казался он им, с двустволкой за плечами и в сером картузе?

Немилостивое грозное божество появлялось и на уединенных песках: белая или черная стая долгими криками оглашала смерть своих товарищей. Впрочем, в этой душе был уголок жалости: он всегда щадил гнезда и молодых, которые знали лишь его удаляющийся шаг.

Он был скрыт и молчалив, чаще неразговорчивый, и только те, которым он показывал краешек своей души, могли догадаться, что он осуждал жизнь и знал «презрение дикаря» к человеческой судьбе в ее целом. Впрочем, это состояние души можно лучше всего понять, если сказать, что так должна была осуждать новизну душа «природы», если б она через жизнь этого охотни-

ка должна была перейти из мира «погибающих» в мир идущих на смену, прощальным оком окинув мятели уток, безлюдье, мир пролитой по морю крови красных гусей, перейти в страну белых каменных свай, вбитых в русло, тонких кружев железных мостов, городов-муравейников, сильный, но нелюбезный сумрачный мир!

Он был прост, прям, даже грубовато суров. Он был хорошей сиделкой, ухаживая за больными товарищами; а в нежности к слабым и готовности быть их щитом ему мог бы позавидовать средневековый латник в шлеме с пером.

На охоту он отправлялся так: он садился в бударку, где его ждали две вынянченные им собаки, и спускался вниз, прикрепив парус к мушке, то бичевой, то веслами. Надо сказать, что на Волге есть коварный ветер, который налетает с берега среди полной тишины и перевертывает неосторожного рыбака, не сумевшего распутать парус.

На месте лодка переворачивалась вверх дном, служа кровлей, втыкались железные прутья, и у костра начинались охотничьи сутки до ухода на вечерянку. Умные молчаливые собаки были вскормлены на лодке, в которую впитались запахи всей водящейся на Волге дичи; черные бакланы и матерая нога кабана лежали здесь вместе с стрепетами и дрофами.

Тихо завывают волки; «это они собираются», «это они уходят».

Его желанием было умереть вдали от людей, в <которых> он сильно разочаровался. Он бродил среди людей, отрицая их. Жестокий по ремеслу, он сжился с гонимыми не людьми, к которым являлся как жестокий князь, несущий смерть; но в поединке люда и не люда становился на их сторону. Так Мельников, преследовавший раскольников, все же написал «В горах и лесах».

Да его иначе нельзя представить, как Птичьего Перуна, жестокого, но верного своим подданным и уловившего в них какую-то красоту.

У него были люди, которых он мог назвать друзьями; но чем более его душа оставляла свою «раковину», тем сильнее равенство двух властно нарушал он в свою пользу; он становился вы-

сокомерен, и дружба походила на временное перемирие между двумя враждующими. Разрыв происходил из-за малейшего случая, тогда он бросал взор, говоривший: «нет, ты не наш», и делался сух и чужд.

Не многим было ясно, что этот человек, собственно, не принадлежит к люду. С задумчивыми глазами, с молчаливым ртом, он уже два или три десятка лет был главным жрецом в храме Убийства и Смерти.

Между городом и пустыней те же оси, та же разница, какая между чортом и бесом. Ум начинается с тех пор, когда умеют делать выбор между плохим и хорошим. Охотник сделал этот выбор в пользу беса, великого безлюдья. Он твердо заявил желание не быть похороненным на кладбище; отчего он не хотел тихого креста? был ли он упорный язычник? и что ему рассказала книга, которую прочел только он и никто уж не прочтет ее пепла?

Но смерть не шла наперекор его желаниям.

Раз местный листок напечатал заметку, что в урочище, известном местным жителям под именем «Конская застава», найдены лодка и тело неизвестного человека. Было добавлено, что рядом валялась двустволка. Так как это был год Черной Смерти и суслики, миловидные животные степи, падая во множестве, заставляли сниматься с кочевий кочевников и в страхе бежать, и так как охотник уже неделю пропадал сверх срока, то люди, знавшие его, послали на разведки, охваченные тревожным ожиданием и недобрым предчувствием. Разведчики, возвратясь, подтвердили, что охотник умер. Со слов рыбаков они рассказали следующее.

Уже несколько ночей на ватагу, основанную на пустынном острове, по ночам приходила неизвестная черная собака и, останавливаясь перед избою, глухо выла. Ни побои, ни крики на нее не действовали. Ее отгоняли, предчувствуя, что значит посещение на необитаемом острове черной неизвестной собаки. Но она неизменно приходила в следующую ночь, жуткая, воющая, отравляя сон рыбакам.

Наконец сердобольный стражник вышел к ней навстречу: она радостно визгнула и повела его к опрокинутой лодке; вблизи, с ружьем в руке, лежал совершенно исклеванный птицами

человек, с мясом, сохранившимся только в сапогах. Облако птиц кружилось над ним. Вторая собака, полумертвая, лежала у его ног.

Умер он от лихорадки или от чумы — неизвестно.

Волны мерно ударяли в берега.

Так он умер, исполнив свою странную мечту — найти конец вдали от людей. Но друзья над его могилой все-таки поставили скромный крест. Так умер волкобой.

1913

Охотник Николай.
Фотография 1900-х гг. (из альбома Хлебниковых)

ЖИТЕЛИ ГОР

Суровые очертания грозного кремля гор, точно круто искривленные брови старообрядцев при встрече с Кучумом, ослепительные одноугольники с льдистыми глазами, устремленными кверху, и мутное серебро рек в зеленых тканях, будто белые девы свадьбы, смеясь и гуторя, надели зеленые венки, поют и подымают сорванные ветви, водопад — нить жемчугов вдоль гордого, полного хищного предвкушения счастья, горла невесты, закат-уманец с сверкающей саблей, по зову Остраницы поднявшийся в поход, и вы, голубые небеса, и две голубых боярышни, смеющиеся и шушукающиеся друг с другом, и могучий кряж, как русская порода, восставшая для защиты земли в дни Грюнвальда, и белый, окаймленный молнией, камень с прямыми чертами, падающими во все стороны из одной точки, власть <Москвы> среди Новгорода, Пскова, и Литвы, и Польши, и гремучая широкая река — все окружало белого государя, толпилось к нему, уносило его живую силу речным сильным потоком и молилось на него или било покорно челом, простершись у подножья.

Темные ущелья, темные, как старцы в поддевках поморского согласия, сумраком вникали в этот зеленый и белый вершинами мир.

И потемневшие от времени лики скрывались в окладе меловых пород.

И снега — строгие платки старообрядческих девушек.

Как красная кумачовая рубаха мужика, горело одно облако. Сеет он одной рукой семена — лучи, а другой держит лукошко с солнечным зерном. И как помертвевшее лицо узнавшего о

смерти жены — снежные змеи окраин других туч, а над ними закат — червонорусска, спешащая через Лысую гору в великдень к Киеву.

Черные кудрявые дубы покрывали кряжи.

И хата лепилась над бездной с той стороны, откуда идут монголы. Там Косовским полем спускался вниз шелом — разбитый на части утес.

На высокий утес взлетал орел и садился, как русский на престол Византии, как Управда.

И прямые черты возносил срединный могучий камень, точно воины Куликовско<го> пол<я>.

Так, как обломки жизни русских, толпились и громоздились части горного темного мира, и по всему этому бродили светлые взоры <Божьего> ока. Близок был вечер и темнел, и опускался.

Как суровые души сжигавших себя из-за переставленного звука, высились камни. Здесь жили русские.

Над пропастью стояла девушка и пела.

Сноп трав и цветов был в ее руке, а в глазах блестело и колыхалось далекое синее море.

Так, как разум мыслителя на<д> <туманным> ха<осом> мира, лепилась хата, из нее исходил дым, и оттуда сошел человек.

Рога оленя были за его плечами и пятна свежей крови на гачах.

— Легинь?

— Да!

Гремучий водопад, летя вечной стрелой вихрем вниз, заглушил его слова.

Но он с новой страстью воскликнул: «Я люблю тебя, солодка!» — и задрожал.

Заунывные, извилистые, певуче однообразные звуки несущихся волн прервали его речь и ее ответ, птица с пронзительным криком пронеслась над ними.

Но он с<новой> силой воскликнул:

— Я люблю тебя!

Старуха, стоявшая у входа в хату, поднесла руки к глазам и произнесла: «Иль сокол наш горлинку гонит».

Но засмеялась сестра и сказала: «Нет, он голубь, а она — соколица».

Но лишь молча посмотрела на нее и снова отвернулась.

И запел он песнь и пошел прочь.

Люли, люли,
На войне летают пули.

И мгла окружила их, и, вздохнув чему-то, пошел по знакомой тропе домой.

Казалось ей, она видит белого как лунь старца с <глазами-звездами>, и перед ним, как злой должник, стоит черный медведь и ждет, когда вынет старец краюху хлеба.

Иль видела себя матерью, великоглавой, кроткой, и на руках у нее дитя, а над ними звездное небо, и идут по <нему> волхвы.

Нельзя было видеть и свои руки в молочной мгле.

И вдруг кто-то наклонился над ней и жарко поцеловал в щеку.

— Стыдись! — воскликнула она и подняла руку, но уже никого не было, и только молочная мгла окружала ее.

Да кто-то злобно и мстительно захохотал.

Свистел последний дрозд, синий с серым верхом.

Стоят в воде ночные латы.

Уж «ау» кричат из хаты.

Мертвый олень лежит у порога, и, злорадно погрузивши руки в кровь и свежую тушу, смотрит на нее Артем.

Но лишь молча взглянула на него она и пошла к себе.

Скоро огонь, освещавший окно, погас, прозрачность ночи пришла снизу и одела горы. И, как под скобку остриженные волосы, выступили резкие края и тростниковая крыша над мазанки белой стеной.

Пытливо взглянул на нее отец и сказал:

— А он, слышь, принес трех орлят; хочет приручить их и летать на них по небу.

— Разобьется мальчик.

— Разобьется, говоришь?

И южная ночь сделала из них, сонных, трупы.

Но одного терзали злой дух или сон, как облако время, за которым мерцает луч счастья грешного и знойного, где сложены одежды, где с хохотом купалась и брызгалась водой молодость.

И утро застало ручей сбегающим, зелено-белым, птиц распевающими, а <она> шла с ружьем на плече к ручью.

Медленно, оглянувшись, не смотрит ли за ней кто-нибудь, она снимала с себя сорочку и в это время была прекраснее, чем когда-либо. Рука была поднята кверху, и только голова скрывалась под покровом. После, доверившись, сняла с себя все и вошла в воду и поплыла. И в это время над ней раздался веселый свист: с ружьем проходил по горной тропинке и весело свистал, глядя сверху.

Как туман ранним утром, белелось ее тело, и подняла гневные глаза на него и крикнула из воды:

— Иди, постылый!

Но летел хищник, рыдая, по выстрелу, и темный коршун с окровавленным клювом, хватая когтями песок, упал к ее ногам.

И, беспечно засвистав, ушел он на охоту.

И, возвращаясь с горным козлом, он увидел ее в стройном наряде с ножом длинным и узким на поясе в черной кожаной оправе. Улыбнулся он и посмотрел на нее.

Но она отвернулась и лукаво нахмурилась.

И ушла в чащу, будто зовущая, и, робкий, он последовал за ней.

Искоса молча оглядывалась она и шла дальше, точно знала, и вот на зеленой поляне стала собирать хворост.

Сейчас наклонялся и подымался ее белоснежный затылок над травой.

И иногда на нем останавливала большие расширенные глаза.

Он подошел к ней и взял ее за плечи.

И тогда с глухим криком «гож нож» она вырвала из-за пояса меч; он взвился и опустился в плечо и оцарапал грудь.

Но он улыбнулся презрительно и прижимал ее к себе и снова осыпал поцелуями.

И птицы испуганно слетались и смотрели на эту битву двух тел.

И вот она была окровавлена, потому что нечаянно порезала руки, а он прижимался к ней и обнимал руками, лепеча что-то. И, закрыв лицо рукой, разрыдалась.

[Крикнул] он и, уронив руки назад, остался лежать на них.

Она вынула гребень и, посматривая на него, стала расчесывать волосы. Он улыбался слабо и печально.

Но опять поднялась мгла, откуда появились тучи, ветер и облака — жильцы этих горных высот. Их белые тени исчезли в ней, точно рыба в воде.

— Дай мне руку! — воскликнула она.

Он дал.

— Сядем здесь! — крикнула она.

Они сели.

Она шепнула ему на ухо: «Покажи мне, как любят. Я не знаю». Он молчал.

— Ты сердишься? — голос ее сделался нежнее.

— Скажи мне,— усмехнулась она,— что нужно делать?

— Слушай,— сказала она, дрогнув,— прости меня. Я была неправа.

— Я тебя люблю,— вдруг прошептала она, осыпая поцелуями его голову.— Наклонись же ко мне, приголубь меня, наклонись, как небо над землей.

— Что с тобой? — шептал он в ужасе и восхищении.

Горячий и молчаливый, он нагнулся над ней и коснулся ее губами.

— Ах! — воскликнула она уже в беспамятстве.

Но вдруг солнце показалось, солнце осветило ее девичьи ноги, она раскрыла глаза: над ней лежал мертвый холодный Артем.

<1913>

ВЫХОД ИЗ КУРГАНА УМЕРШЕГО СЫНА

У спутницы череп на плечах. Она в белой соломенной шляпке с голубой тесьмой.

Ломающий траву черный самокат. Вот он. Кивнув головой, смеясь, они садятся. Сквозь окна сильно освещенного дома видно, как они входят, ничем не смущая живых, в стеклянную дверь, любезно встреченные, обмениваясь приветствиями. Высоко стоит белый воротник с остро отогнутым концом. Он, с таинственными знаками, отводит в сторону одного из туземцев и, завернув свой череп в «Новое Время» или «Речь», прижав его локтем, присоединяется к обществу, вступая в беседу. У ней в руках веер. Два гостя, неосторожно рано вышедших, вталкиваются в черный самокат и, испуская крики жалобы, увозятся прочь. Огни здания становятся ярче. Шесть часов. На небе бледны звезды. С крыльца того же дома с шестью столбами спускаются нареченные с белыми голубыми цветами, с скромными прекрасными лицами. Впрочем, они одеты так же, как беглецы из кургана. При спуске с крыльца продавщицы протягивают им цветы. Среди них мелькает чрезмерно костлявое лицо, дотронувшееся костяным пальцем до провала щеки.

<1913–1914>

СОН

Мы были на выставке $\sqrt{-2}$; разговор коснулся аганкары человека и аганкары народа и о совпадении их. Мы стояли перед [олицетворяющей] живописью: «Вестник булавок» заменял Еву, и на нем лежало яблоко; «Вестник лыж» — Адама, а третье издание — искушающую змею. Мы оживленно и громко беседовали, но [к нашему обществу] присоединился блюститель нравов и указал на недопустимость одного холста: таким, по его мнению, которому мы могли только подчиниться, была, кажется, турчанка, лежавшая на берегу моря. Только лоб и край рта был закрыт черной повязкой с кружевами; тень падала на рот и подбородок. Золотистые пятна чередовались с голубыми тенями этого, опутанного неводом лучей полдня, тела. [Море походило на выставку жемчуга]. Мы тотчас согласились. В руке у меня были печатные вести утра; я оторвал край надписи «Дарданеллы» и, приколов с помощью двух булавок, придал холсту достойный вид.

Теперь мусульманка лежала на берегу моря, полуупав на руки, полная золотистых теней, но обрывок бумаги с черным заголовком «Дарданеллы» закрывал ее.

Греции присущ избыток моря, Италии — избыток земли. Возможно ли так встать между источником света и народом, чтобы тень Я совпала с границами народа?

Я сел на диван в углу выставки и устало смотрел на бесконечные холсты с их часто готтентотской красивостью. «Африканские владения не прошли даром для арийцев». Я задремал. Мне казалось, что я лежу на море так, что колени были вдавле-

ны в морское дно, а пятки торчали на суше. Я был велик. Та же мусульманка боролась и отталкивала кого-то руками. Галлиполи был покрыт маслинами и казался серебряным. Я поломал свои узкие нежные пальцы о береговые утесы. Та же черная маска была у ней на лице, [посыпанная крупным жемчугом слез]. Синеющий дым окутывал берега. И вот «Квин Элизабэт» черной паутиной снастей разрезала воды и вся окуталась дымом. Взрывы пороховых погребов дополняли черным кружевом маску битвы, и сквозь прорези упорно блистали синие глаза турчанки. И вот 600 людей «Бувэ» пошло ко дну; еще два взрыва. Это была борьба, и, изнеможенный, я поднялся, упал на берег и долго лежал в забытьи. Предо мной стояли испуганные глаза и закушенные от усилия губы. Гречанки хоронили убитых на Тенедосе, и их заунывные песни и жгучие глаза темных лиц казались мелкими и слабыми после виденного, когда 600 моряков опустили на дно плечи и руки.

Мне было жаль турчанки.

1915

КА

1

У меня был Ка; в дни Белого Китая Ева, с воздушного шара Андрэ сойдя в снега и слыша голос: «иди!», оставив в эскимосских снегах следы босых ног,— надейтесь! — удивилась бы, услышав это слово. Но народ Маср знал его тысячи лет назад. И он не был неправ, когда делил душу на Ка, Ху и Ба. Ху и Ба — слава, добрая или худая, о человеке. А Ка — это тень души, ее двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину. Ему нет застав во времени; Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен). В столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли и сознание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной?

Ка был боек, миловиден, смугол, нежен; большие чахоточные глаза византийского бога и брови, точно сделанные из одних узких точек, были у него на лице египтянина. Решительно, мы или дикари рядом с Маср, или же он приставил к душе вещи нужные и удобные, но посторонние.

Теперь — кто я.

Я живу в городе, где пишут «бѣсплатныя купальни», где городская управа зовет граждан помогать войнам, а не воинам, где хитрые дикари смотрят осторожными глазами, где лазают по деревьям с помощью кролиководства. Там черноглазая, с серебряным огнем, дикарка проходит в умершей цапле, за которой уже охотится на том свете хитрый мертвый дикарь с копьем в мертвой руке; на улицах пасутся стада тонкорунных людей, и нигде так не мечтается о Хреновском заводе кровного человеководст-

ва, как здесь. Иначе человечество погибнет,— думается каждому. И я писал книгу о человеководстве, а кругом бродили стада тонкорунных людей.

Я имею свой небольшой зверинец друзей, мне дорогих своей породистостью; я живу на третьей или четвертой земле, начиная от солнца, и к ней хотел бы относиться как к перчаткам, которые всегда можно бросить стадам кроликов. Что еще сказать о мне? Я предвижу ужасные войны из-за того,— через «ять» или «е» писать мое имя. У меня нет ногочелюстей, головогруди, усиков. Мой рост: я больше муравья, меньше слона. У меня два глаза. Но не довольно ли о мне?

Ка был мой друг; я полюбил его за птичий нрав, беззаботность, остроумие. Он был удобен, как непромокаемый плащ. Он учил, что есть слова, которыми можно видеть, слова — глаза, и слова — руки, которыми можно делать. Вот некоторые его дела.

2

Раз мы познакомились с народом, застегивающим себя на пуговицы. Действительно, внутренности открывались через полость кожи, и здесь кожа застегивалась на роговидные шарики, напоминавшие пуговицы. Во время обеда через эту полость топилась мыслящая печь. Это было так. Стоя на большом железном мосту, я бросил в реку двухкопеечную деньгу, сказав: нужно заботиться о науке будущего.

Кто тот ученый рекокоп, кто найдет жертву реке?

И Ка представил меня ученому 2222 года.

— А! через год после первого, но младенческого крика сверхгосударства Асцу. Асцу! — произнес ученый, взглянув на год медяка.— Тогда еще верили в пространство и мало думали о времени.

Он дал мне поручение составить описание человека. Я заполнил все вопросы и подал ведомостичку. «Число глаз — 2,— читал он,— число рук — 2; число ног — 2; число пальцев — 20». Он положил худой светящийся череп на теневой палец. Мы обсуждали выгоды и невыгоды этого числа.

— Изменяются ли когда-нибудь эти числа? — спросил он, окидывая меня проницательным взглядом умных больших глаз.

— Это предельные числа,— ответил я.— Дело в том, что иногда встречаются люди с одной рукой или ногой. Число таких людей заметно увеличивается через 317 лет.

— Но этого довольно,— ответил он,— чтобы составить уравнение смерти.— Язык,— заметил ученый 2222 года,— вечный источник знаний. Как относятся друг к другу тяготение и время? Нет сомнения, что время так же относится к весу, как бремя к бесу. Но можно ли бесноваться под тяжелой ношей? Нет. Бремя поглощает силы беса. И там, где оно, его нет. Другими словами, время поглощает силы веса, и не исчезает ли вес там, где время? По духу вашего языка, время и вес — два разных поглощения одной и той же силы.

Он задумался. «Да, в языке заложены многие истины».

На этом наше знакомство прервалось.

3

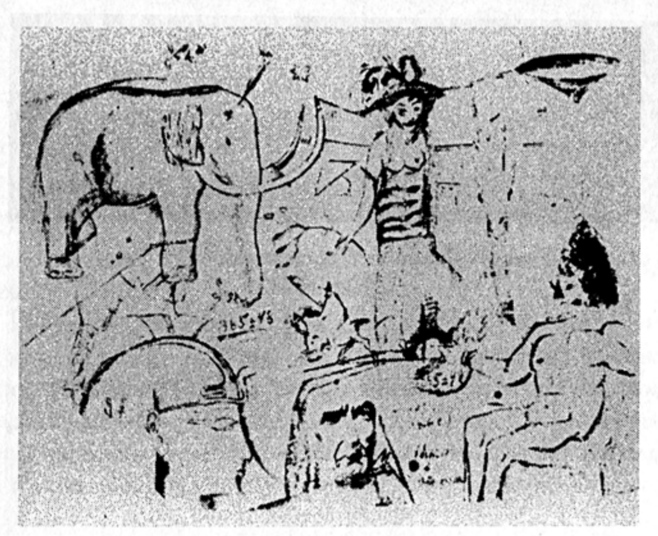
В другой раз Ка дернул меня за рукав и сказал: «Пойдем к Аменофису».

Я заметил Аи, Шурура и Нефертити. У Шурура была черная борода кольцами.

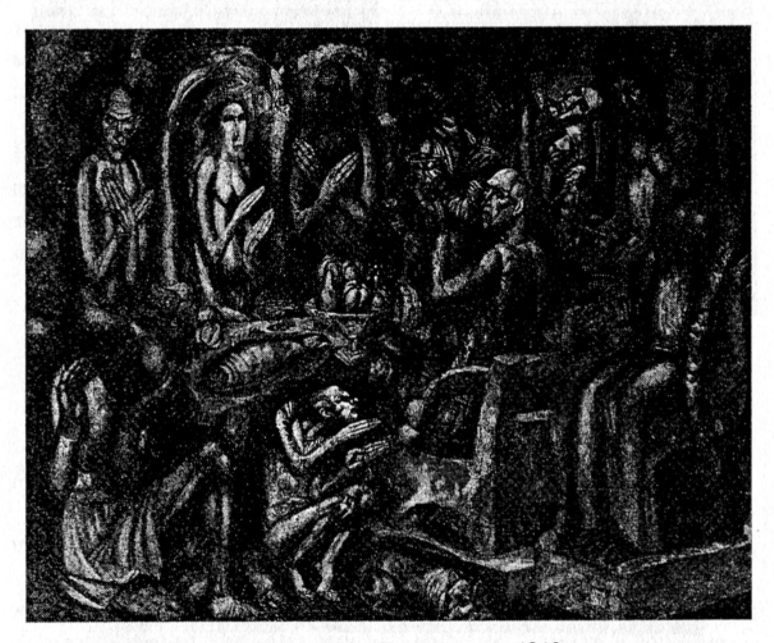
— Здравствуйте,— кивнул Аменофис головой и продолжал: — Атэн! Сын твой, Нефер-Хепру-Ра, так говорит: Есть порхающие боги, есть плавающие, есть ползающие. Сух, Мневис, Бенну. Скажите, есть ли на Хапи мышь, которая не требовала себе молитв? Они ссорятся между собой, и бедняку некому возносить молитвы. И он счастлив, когда кто-нибудь говорит: «Это я» и требует себе жирных овнов.

Девять луков! Разве не вы дрожали от боевого крика моих предков? И если я здесь, а Шеш держит гибкой рукой тень, то не от меня ли там спасает меня здесь ее рука? Девять луков! разве не мое Ка сейчас среди облаков и озаряет голубой Хапи столбами огня? Я здесь велю молиться мне там! И вы, чужеземцы, несите в ваши времена мою речь.

Аменофис IV и царица Нефертити.
Бюсты из мастерской в Эль-Амарне. 15 в. до н.э.



В.В.Хлебников.
Рисунок к повести «Ка». 1915



П.Н.Филонов. Пир королей. 1913.
Живопись

Ка познакомил его с ученым 2222 года.

Аменофис имел слабое сложение, широкие скулы и большие глаза с изящным и детским изгибом.

В другой раз я был у Акбара и у Асоки. На обратном пути мы очень устали.

Мы избегали поездов и слышали шум Сикорского. Мы прятались от того и другого, и научились спать на ходу. Ноги сами шли куда-то, независимо от ведомства сна. Голова спала.

Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну? Он ответил: «Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочек времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство». Он всегда писал людей с одним глазом. Я смотрел в его вишневые глаза и бледные скулы. Ка шел рядом. Лился дождь. Художник[1] писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби.

В другой раз, по совету Ка, я выбрил наголо свою голову, измазал себя красным соком клюквы, в рот взял пузырек с красными чернилами, чтобы при случае брызгать ими; кроме того, я обвязался поясом, залез в могучие мусульманские рубашки и надел чалму, приняв вид только что умершего. Между тем Ка делал шум битвы: в зеркало бросал камень, грохотал подносом, дико ржал и кричал на а-а-а.

И что же? очень скоро к нам прилетели две прекрасных удивленных гур с чудными черными глазами и удивленными бровями; я был принят за умершего, взят на руки, унесен куда-то далеко.

Принимая правоверных, они касались чела концами уст и так же лечили раны. Вероятно, они знали вкус крови, но из вежливости не замечали. Смешно испачкавшись в чернилах своими очаровательными ротиками, три гур скоро стерли искусственную рану и достигли исцеления мнимого больного. Иногда гур плясали, и черные волосы гнались за ними, как играющие вороны или

---

[1] Филонов.

как сиракузские суда за Алкивиадом, как птицы, одна за другой. Это была пляска радости. Казалось, целый венок головок мчался в одном ручье. Позднее радость их немного улеглась, но они по-прежнему смотрели на меня восхищенными глазами, перешептываясь и сверкая синими глазами. Пришел М.[1] и смотрел веселыми насмешливыми глазами. Он сказал, что теперь многое не настоящее. «Ничего! ничего! молодой человек! продолжайте! в том же духе!»

Утром я проснулся немного усталый; гур смотрели немного удивленно, точно заметили что-то странное. Губы их были чисто-начисто вымыты. Красные чернила тоже сошли с их рук. Казалось, они не решались что-то сказать. Но в это время я заметил надпись; на ней моими же красными чернилами было написано: «Вход посторонним строго возбраняется». Далее следовала замысловатая подпись. Я исчез, но запомнил запачканные красными чернилами волосы и руки <гур>, и еще многое, и в тот же вечер вместе с воинами Виджаи плыл на Сихала, в 543 году до Р.Х. Гур мне чудились по-прежнему, но в одеждах из крыл стрекоз или в шубах из незабудок, тяжелых и суровых, составленных почвой и растениями,— кудрявые голубые лани.

Конечно, многие из вас дружат с игральной колодой, некоторые даже бредят во сне всеми этими семерками, червонными девами, тузами. Но случалось ли вам играть не с предметным лицом, каким-нибудь Иваном Ивановичем, а с собирательным, хотя бы мировой волей? А я играл, и игра эта мне знакома. Я считаю ее более увлекательной той, знаки достоинства которой — свечи, мелок, зеленое сукно, полночь. Я должен сказать, что в выборе ходов вы ничем не ограничены. Если бы игра требовала и это было в ваших силах, вы бы могли, пожалуй, стереть мокрой губкой с черного неба все его созвездия, как с училищной доски задачу. Но каждый игрок должен своим ходом свести на нет положение противника.

Несмотря на свою мировую природу, ваш противник ощущается вами как равный, игра происходит на началах взаимного уважения, и не в этом ли ее прелесть? Вам кажется, что это зна-

[1] Магомет.

комый, и вы более увлечены игрой, чем если бы с вами играл гробовой призрак. Ка был наперсником в этой забаве.

4

Ка печально сидел на берегу моря, спустив ноги. Осторожнее. Осторожнее! Студенистые морские существа, разбитые волнами, толпились у берегов, пригнанные сюда ветром, скитаясь мертвыми стадами и, тускло блестя, скользили из рук купальщиц, то темно-зеленых, то темно-красных в плотно одевавших их тканях. Некоторые непритворно хохотали, застигнутые волной. Как был худощав, строен и смугл. Котелок был на его, совсем нагом, теле. Почерневшие от моря волосы вились по плечам. Тусклые волны, поблескивая верхушками, просвечивали сквозь него. Чайка, пролетая сзади серой тени, видна была через его плечи, но теряла в живости окраски и, пролетев, снова возвращала себе яркое, черно-белое перо. Его перерезала купальщица в зеленом, усеянном серебряными пятнами купальном. Он вздрогнул и снова вернул себе прежние очертания. Она смело улыбнулась и посмотрела на него. Ка сгорбился. Между тем долго плававший в воде выходил из моря на берег, покрытый ее струями, точно мехом, и был зверь, выходящий из воды. Он бросился на землю и замер; Ка заметил, что два или три наблюдательных дождевика написали на песке число 6 три раза подряд и значительно переглянулись. Татарин, мусульманин, поивший черных буйволов, бросившихся к воде, разрывая постромки, и ушедших в море на такую глубину, что только темные глаза и ноздри чернели над водой, а все их, покрытое коркой переплетенной с волосами грязи, тело скрылось под водой, вдруг улыбнулся и сказал христианину-рыбаку: «Масих-аль-Деджал». Тот его понял, лениво достал трубку и, закурив, лениво ответил: «А кто его знает. Мы не ученые... Сказывают люди»,— добавил он. Военный, в подзорную трубку следивший за редким пловцом, повесил ее на ремень и холодно посмотрел на него, повернулся и пошел плохо заметной тропинкой.

Между тем вечерело, и стадо морских змей плыло по морю. Берег опустел и лишь Ка по-прежнему сидел, обвив руками колени. «Всё суетно, всё поздно»,— думал он. «Эй, теневой храбрец,— казалось, крикнул ветер,— осторожнее!» Но Ка был недвижим. И волна смывает его. Подплывает белуга и проглатывает его. В новой судьбе он становится круглой галькой и живет среди ракушек, одного спасательного пояса и пароходной цепи. Белуга питала слабость к старым вещам. Здесь же был пояс с арабской надписью Фатьмы Меннеды, от тех времен, когда среди копий, кончаров, весел и перначей стоял сам орел смерти, а она отражалась в воде, качнув синими серьгами, хохотунья с раскрытыми раз навсегда печальными глазами, и, ударив веслами, плыл уструг все дальше и дальше, отраженный в ночных водах, и точно усики ночного мотылька касались палубы ноги белого облака.

Но вот могущественная белуга умирает в сетях рыбаков.

5

Ка вернул свободу.

Седые рыбаки, с голыми икрами, пели эды, печальную песнь морских берегов, и тянули невод, мелкий, частый, мокрый, полный капель, в котором порой висели черные раки, схватив клешней за нитку, напрягая жилистые руки; иногда они выпрямлялись и смотрели на вечное море. Поодаль мирно сидели, как большие дворовые собаки, орланы. Морская хохотунья села на камень, в котором был Ка, и отпечатала мокрые ноги. Сама рыба, мертвая, блестела жучками на берегу. Но его нашла девушка и взяла с собой. Она пишет на нем танку[2] «Если бы смерть кудри и взоры имела твои, я умереть бы хотела», а на другой стороне камня — ветку простых зеленых листьев; пусть они оттеняют своим узором нежную поверхность плоского беловатого камня. И их темно-зеленый узор обвил камень сеткой. Он испытывал мучения Монтезумы, когда всё бывало безоблачным, или когда Лейли подымала камень и дотрагивалась до него губами и тихо целовала его, не подозревая в нем живого существа, и говорила язы-

ком Гоголя: «тому, кто умеет усмехаться». Около был чугунный Толстой, нежно-красная морская ракушка, очень блестящая, покрытая точками, и морщинистые, с каменными лепестками, цветы. Тогда Ка соскучился и пришел к своему господину; тот пел: «Мы ели ен сао чахоточных стрижей и будем есть их до, до ен сао друзей»[1]. Это значило, что он был зол.

— О! — сказал тот мрачно,— ну говори, где и что.

Рассказ про свои обиды журчал: «Она была полна того неземного, неизъяснимого выражения...» и так далее. Собственно, это был жалобный донос на судьбу, на ее черную измену, на ее затылок.

Ка было приказано вернуться и держать стражу.

Ка отдал честь, приложился к козырьку и исчез, серый и крылатый.

<6>

На следующее утро он доносил: «Просыпается; я на часах около» (винтовка блеснула за его плечами).

«Восклицательный знак; знак вопроса; многоточие. Оттуда, где дует ветер богов и где богиня Изанага, оттуда — на ней змеиная полусеребряная ткань, пепельно-серая. Чтобы понять ее, нужно знать, что пепельно-серебряные, почти черные, полоски чередуются с прозрачными, как окно или чернильница. Прелесть этой ткани постигается лишь тогда, когда она озаряется слабым огнем радостной молодой рукой. Тогда по ее волнам серебристого шелка пробегает оттенок огня и вновь исчезает, как ковыль. На зданиях города так трепещет вечерний пожар. Большие очаровательные глаза. Называет себя обожаемой, очаровательной».

— Не то,— прервал я поток слов.— Ты ошибаешься,— строго заметил я.

— Неужели? — деланно печально возразил Ка.— Вообрази,— еще веселее произнес он немного спустя, как будто принес

---

[1] Ен сао = слюна чахоточных стрижей.

мне радостную весть,— три ошибки: 1) в городе, 2) улице, 3) доме.

— Но где же?

— Я не знаю,— ответил Ка; чистосердечие звучало в его голосе.

Хотя я его очень любил, но мы поссорились. Он должен был удалиться. Махая крылами, одетый в серое, он исчез. Сумрак трепетал у его ног, точно он был прыгающий инок, мой горделивый и прекрасный бродяга. «А, это он, бездноглазый! — воскликнули несколько прохожих.— А где же Тамара, где Гудал?» — дав повод воткать в повесть эти художественные мелочи своим испугом горожан.

Между тем я ходил по набережной взад и вперед, и ветер рвал мой котелок и бросал косые капли на лицо и черное сукно. Я посмотрел вслед золотившемуся облачку и хрустнул руками.

Я знал, что Ка был оскорблен.

Еще раз он мелькнул в отдалении, изредка маша крылами. Мне же показалось, что я одинокий певец и что Арфа крови в моих руках. Я был пастух, у меня были стада душ. Теперь его нет. Между тем ко мне подошел кто-то сухой и сморщенный. Он осмотрелся, значительно взглянул и, сказав: «будет! скоро!», кивнул головой и исчез. Я пошел за ним. Там была роща. Черные дрозды и славки с черной головой скакали в листве. Как охрипшие степные волы, ревели и мычали прекрасные серые цапли, высоко в небо закинув клюв, на самой высокой ветке старого сухого дуба. Но вот промелькнул инок, в сухой измятой высокой шапке, весь черный, среди дубов. Лицо его было желчно и сморщенно. Один дуб имел дупло, в нем стояли образа и свечи. Коры не было, потому что она давно была съедена больными зубной болью. В роще был вечный полусумрак. Жуки-олени бегали по коре дубов и, вступив в единоборство, прокалывали друг другу крылья, и между черных рог живого можно было найти сухую голову мертвого. Пьяные дубовым соком, они попадались в плен мальчикам. Я заснул здесь, и лучшая повесть арамейцев «Лейли и Медлум» навестила еще раз сон усталого смертного.

Я возвращался к себе и проходил сквозь стада тонкорунных людей. В город прибыла выставка редкостей, и там я увидел чучело обезьяны с пеной на черных восковых губах; черный шов был ясно заметен на груди; в руках ее была восковая женщина. Я ушел.

Падение сов, странное и загадочное, удивило меня. Я верю, что перед очень большой войной слово «пуговица» имеет особый пугающий смысл, так как еще никому не известная война будет скрываться, как заговорщик, как рано прилетевший жаворонок, в этом слове, родственном корню «пугать». Но у меня среди этих зарослей ежевики, среди этих ив, покрытых густыми рыжими волосами корней, где все было тихо и пасмурно, сурово и серо, где одинокий бражник метался в воздухе, а деревья были тихи и строги, какая-то пыльная трава, точно умоляя, опутала мои ноги и вилась по земле, как просящая милосердия грешница. Я разорвал ее нити грубыми шагами, посмотрел на нее и сказал: «И станет грубый шаг силен порвать молящийся паслен».

Я шел к себе; там моего пришествия уже ждали и знали о нем; закрывая рукой глаза, мне навстречу выходили люди. На руке у меня висела, изящно согнувшись, маленькая ручная гадюка. Я любил ее.

Я поступил, как ворон,— думал я: сначала дал живой воды, потом мертвой. Что ж! второй раз не дам!

7

Думая о камне, с написанной на нем веткой простых серо-зеленых листьев и этими словами «Если бы смерть кудри и взоры имела твои, я умереть бы хотела», Ка летел в синеве неба как золотистое облако, среди малиновых облачных гор, настойчиво маша крылами, затерянный в стае красных журавлей, походившей в этот час утра на красный пепел огнедышащей горы, красный, как и они, и соединенный с пламенеющей зарей красными нитями, вихрями и волокнами.

Путь был неблизок, и уж капли пота блестели на смуглом лице Ка, тоже красные от лучей зари. Но вот могучая журавлиная

труба воинственных предков зазвучала где-то выше, за рыхло-белыми громадами.

Ка сложил крылья и, осыпанный с ног до головы утренней росой, опустился на землю. На каждом его пере торчал жемчуг росы, черный и грубый. Никто не заметил, что он опустился где-то в истоках Голубого Нила. Он отряхнулся и, как озаренный месяцем лебедь, ударил трижды по воздуху крылами. К прошлому не было возврата. Друзья, слава, подвиги — всё впереди. Ка сел на злого, дикого, никогда не оскорбленного седоком полосато-золотого коня и, позволяя ему кусать свои теневые, но всё же прекрасные, колени, поскакал по полю. Стадо полосатых щетинистых волков с гнусавым криком гналось за ним. Их голос походил на обзор молодых дарований в ежедневной и ежемесячной печати. Но золотистый скакун упрямо загибал голову и с прежним бешенством грыз теневой локоть Ка. Он наслаждался дикой скачкой. Два или три Ням-Ням бросили в него ядовитую стрелу и с суеверным ужасом упали на землю.

Он приветствовал землю, потрясая рукой. У водопада он остановился. Здесь он попал в общество обезьян, с светской непринужденностью расположившихся на корнях и ветках деревьев. Одни держали пухлыми руками младенцев и кормили их, младшие возрасты с хохотом проносились по деревьям.

Черная рубашка, могучие низкие черепа, кривые клыки давали страшный отпечаток этому обществу волосатых людей. Крики буйной радости доносились из сумрака по временам. Ка вошел в их круг.

— Тогда,— вздохнул почтенный старик с мозолистым лицом,— все было иначе.

Уж птица Рук исчезла. Где она? И мы не боремся с Ганноном, вырывая мечи и ломая их о колено, как гнилой хворост, и покрывая себя славой. Он ушел снова в море. А птица Рук? Я не могу завернуться одним ее могучим пером и спать на другом!

А давно ли она, слетая с снежных гор, утром будила слонов своим криком. И мы говорили: вот птица Рук! Тогда она подымала за облака слонят, и они смотрят вниз на землю, и хобот их

был ниже тучи, как и ноги, а глаза, серый лоб и уши — выше голубой черты тучи.

Она отошла! Прости, о Рук!

— Прости,— заметили обезьяны, подымаясь с своих мест.

Здесь же, у костра, сидела Белая, кутаясь в остатки шали. Вероятно, она зажгла костер и в силу этого пользовалась некоторым почетом.

— Белая! — обратился к ней старик,— когда ты шагала через пустыню, мы знали; мы послали молодежь — и ты у нас, хотя многие в последний раз взглянули на звезды. Спой нам на языке своей родины.

Молодая Белая встала.

— Посторонись, бабушка! — сказала златоволосая девушка старой обезьяне, сидевшей на дороге.

Золотые волосы одевали ее в один сплошной золотой сумрак. Слабо журча, они лились вниз, как зажженные воды, мимо плеча, покрасневшего и озябнувшего. Вместе с прекрасной скорбью, отразившейся в ее движениях, она была поразительно хороша и чудно стройна. Ка заметил, что на ногте красивой правильной ноги отразилась вся площадка леса, множество обезьян, дымящийся костер и клочок неба. Точно в небольшом зеркале, можно было заметить старцев, волосатые тела, крохотных младенцев весь табор лесного племени. Казалось, их лица ожидали конца мира и чьего-то прихода.

Они были искажены тоской и злобой; тихий вой временами вырывался из уст.

Ка поставил в воздухе слоновый бивень и на верхней черте, точно винтики для струн, прикрепил года: 411, 709, 1237, 1453, 1871; а внизу, на нижней доске года: 1491, 1193, 665, 449, 31. Струны, слабо звеневшие, соединяли верхние и нижние гвоздики слонового бивня.

— Ты будешь петь? — спросил он.

— Да! — ответила она. Она дотронулась до струн и произнесла:

— Судеб завистливых волей я среди вас; если бы судьбы были простыми портнихами, я бы сказала: плохо иглою владеете;

им отказала <б> в заказах, села <б> сама за работу. Мы заставим само железо запеть: «о рассмейтесь!».

Она провела рукой по струнам, они издали рокочущий звук лебединой стаи, сразу опустившейся на озеро.

Ка заметил, что каждая струна состояла из 6 частей по 317 лет в каждой, всего 1902 года. При этом в то время, как верхние колышки означали нашествия востока на запад, винтики нижних концов струн значили движения с запада на восток. Вандалы, арабы, татары, турки, немцы были вверху; внизу — египтяне Гатчепсут, греки Одиссея, скифы, греки Перикла, римляне. Ка прикрепил еще одну струну: 78 год — нашествие скифов адия Саки и 1980 — восток. Ка изучал условия игры на семи струнах.

Между тем Лейли горько плакала, уронив чудные золотые волосы на землю. «Худо свой труд исполняете, горько иглою владеете»,— произнесла она, горько всхлипывая. Ка сломил ветку и положил около плачущей.

Лейли вздрогнула и сказала: «Некогда в детстве безбурном камень имела я круглый и ветку такую на нем».

Ка отошел в сторону, в сумрак; затаенные рыдания душили его; зелеными листьями он осушал свои слезы и вспомнил белую светелку, цветы, книги.

— Слушай,— сказал старик,— я расскажу о гостье обезьян. На моа приехала она однажды к нам. Мертвая бабочка на игле дикобраза, вонзенной в черную прическу, ей заменяла веер и опахала. В руке был ивы прут с серебряными почками, в руке у Venus обезьян; ладонью черной она держалась за моа, за крылья и за грудь. Лицо ее черно, как ворон, и черный мех курчавый мягко вился ночным руном по телу; улыбкой страстной миловидна, хорошеньким ягненком казалась она нам.

И с хохотом промчалась сквозь страну. Богиня черных грудей, богиня ночных вздохов.

Лейли: «Если бы смерть кудри и взоры имела твои, я умереть бы хотела»,— уходит в сумрак, заломив над собой руки.

— А где Аменофис? — послышались вопросы.

Ка понял, что кого-то нехватало.

— Кто это? — спросил Ка.

— Это Аменофис, сын Тэи,— с особым уважением ответили ему.— Мы верим, он бродит у водопада и повторяет имя Нефертити. Аи, Туту, Азири и Шурура, страж меча, кругом. Ведь наш повелитель до переселения душ был повелителем на Хапи мутном. И Анх-сенпа-атэн идет сквозь Хут-атэн на Хапи за цветами. Не об этом ли мечтает он сейчас?

Но вот пришел Аменофис; народ обезьян умолк. Все поднялись с своих мест. «Садитесь»,— произнес Аменофис, протягивая руку. В глубокой задумчивости он опустился на землю. Все сели. Костер вспыхнул, и у него, собравшись вместе, беседовали про себя четыре Ка; Ка Эхнатэна, Ка Акбара, Ка Асоки и наш юноша. Слово «сверхгосударство» мелькало чаще, чем следует. Мы шушукались. Но страшный шум смутил нас; как звери, бросились белые. Выстрел. Огонь пробежал. «Аменофис ранен, Аменофис умирает!» — пронеслось по рядам сражающихся. Все было в бегстве. Многие храбро, но бесплодно умирали. «Иди, и дух мой передай достойнейшему,— сказал Эхнатэн,закрывая глаза своему Ка.— Дай ему мой поцелуй».— «Бежим! Бежим!»

По черно-пепельному и грозовому небу долго бежало четыре духа; на руках их лежала в глубоком обмороке Белая, распустив золотые волосы; только раз мотылек поднял свой хобот и в болоте захрапел водяной конь... Бегство было удачно, их никто не видел.

8

Но что же происходило в лесу? Как был убит Аменофис?

I — Аменофис, сын Тэи.

II — он же, черная обезьяна. (Полосатые волчата, попугай.)

<I>

1) Я Эхнатэн.

2) И сын Амона.

3) Что говоришь, Аи, отец богов?

4) Не дашь ли ты ушепти?

5) Я бог богов,— так величал<и> меня ромету; и точно, как простых рабочих, уволил я Озириса, Гатор, Себека и всех вас. Разжаловал, как рабису. О солнце, Ра-Атэн!

6) Давай, Аи, лепить слова, понятные для пахаря. Жречество, вы мошки, облепившие каменный тростник храмов! В начале было слово...

7) О, Нефертити, помогай!

Я пашни Хапи озаливил,
Я к солнцу вас, ромету, вывел.
Я начерчу на камне стен,
Что я кум солнца Эхнатэн.
Он суеверий облаков
Ра светлый лик очистил.
И с шепотом тихим ушепти
Повторит за мною: ты прав!
О, Эхнатэн, кум солнца слабогрудый!

8) Теперь же дайте черепахи щит. И струны. Аи! Есть ли на Хапи мышь, которой не строили б храма? Они хрюкают, мычат, ревут; они жуют сено, ловят жуков и едят невольников. Целые священные города у них. Богов больше, чем не богов. Это непорядок.

<II>

1) Хау-хау.

2) Жрабр чап-чап!

3) Угуум мхээ! Мхээ!

4) Бгав! гхав ха! ха! ха!

5) Эбза читорень! Эпсей кай кай! (*Гуляет в сумрачной дубраве и срывает цветы.*) Мгуум мап! мап! Мап! Мап! (*Кушает птенчиков.*)

6) Мио бпэг; бпэг! вийг.
Га ха! мал! бгхав! гхав!
7) Егжизэу равира!
Мал! Мал! Мал! май, май. Хаио хао хиуциу.
8) Рррра га-га. Га! грав! Эньма мээиу-уиай!

Аменофис, в шкуре утанга, переживает свой вчерашний день. Ест древесный овощ, играет на лютне из черепа слоненка. Остальные слушают.

Ручной попугай из России: «Прозрачно небо. Звезды блещут. Слыхали ль вы? Встречали ль вы? Певца своей любви, певца своей печали?»

Трубные голоса слонов, возвращающихся с водопоя.

Русская хижина в лесу, около Нила. Приезд торговца зверями. На бревенчатых стенах ружья, Чехов, рога. Слоненок с железной цепью на ноге.

Купец. Перо, бивни; хорошо, дюша моя. Заказ: обезьяна, большой самец. Понимаешь? Нельзя живьем, можно мертвую на чучело; зашить швы, восковая пена и обморок из воска в руки. По городам. Це, це! я здесь ехал: маленькая, резвая, бегает с кувшином по камням. Стук-стук-стук. Ножки. Недорого. Еще стакан вина, дюша моя.

Старик. Слушай, почтенный господин мой: он рассердится и может испортить прическу и воротнички почтенному господину.

Торговец. Прощайте! Не сердитесь. Хе-хе! Так охота на завтра? Приготовьте ружья, черных в засаду; с кувшином пойдет за водой, тот выйдет и будет убит. Цельтесь в лоб и в черную грудь.

Женщина с кувшином. Мне жаль тебя: ты выглянешь из-за сосны и в это время выстрел меткий тебе даст смерть. А я слыхала, что ты не просто обезьяна, но и Эхнатэн. Вот он, я ласково взгляну, чтобы, умирая, ты озарен был осенью желанья. Мой милый и мой страшный обожатель. Дым! Выстрел! О страшный крик!

Эхнатэн — черная обезьяна. Мэу! Манчь! Манчь! Манчь! (*Падает и сухой травой зажимает рану.*)

Голоса. Убит! Убит! Пляшите! пир вечером. (*Женщина кладет ему руку на голову.*)

Аменофис. Манчь! Манчь! Манчь! (*Умирает. Духи схватывают Лейли и уносят ее.*)

Древний Египет. Жрецы обсуждают способы мести. «Он растоптал обычаи и равенством населил мир мертвых; он пошатнул нас. Смерть! Смерть!» — вскакивают, подымают руки жрецы.

Эхнатэн. О, вечер пятый, причал трави! Плыви «Величие любви» и веслами качай, как будто бы ресницей. Гатор прекрасно и мятежно рыдает о прекрасном Горе. Коровий лоб... рога телицы... широкий стан. Широкий выступ выше пояса.

И опрокинутую тень Гатор с коровьими рогами, что месяц серебрит в пучине Хапи, перерезал с пилой брони проворный ящер. Другой с ним спорил из-за трупа невольника. Вниз головой, прекрасный, но мертвый, он плыл вниз по Хапи.

Жрецы (*тихо*). Отравы. Эй! Пей, Эхнатэн! день жарок. Выпил! (Скачут.) Умер!

Эхнатэн (*падая*). Шурура, где ты? Аи, где заклинания? О Нефертити, Нефертити! (*Падает с пеной на устах. Умирает, хватаясь рукой за воздух.*)

Вот что произошло у водопада.

9

Это было в те дни, когда люди впервые летали над столицей севера. Я жил высоко и думал о семи стопах времени <...> Египет — Рим, одной Россия — Англия, и плавал из пыли Коперника в пыль Менделеева под шум Сикорского. Меня занимала длина волн добра и зла, я мечтал о двояковыпуклых чечевицах добра и зла, так как я знал, что темные греющие лучи совпадают

с учением о зле, а холодные и светлые — с учением о добре. Я думал о кусках времени, тающих в мировом, о смерти. «И на путь меж звезд морозный полечу я не с молитвой, полечу я мертвый, грозный, с окровавленною бритвой».

Есть скрипки трепетного, еще юношеского, горла и холодной бритвы, есть роскошная живопись своей почерневшей кровью по белым цветам. Один мой знакомый — вы его помните — умер так; он думал — как лев, а умер — как Львова.

Ко мне пришел один мой друг, с черными радостно-жестокими глазами, глазами и подругой. Они принесли много сена славы, венков и цветов. Я смотрел, как Енисей зимой. Как вороны принесли пищи. Их любовная дерзость дошла до того, что они в моем присутствии целовались, не замечая спрятавшегося льва, мышата!

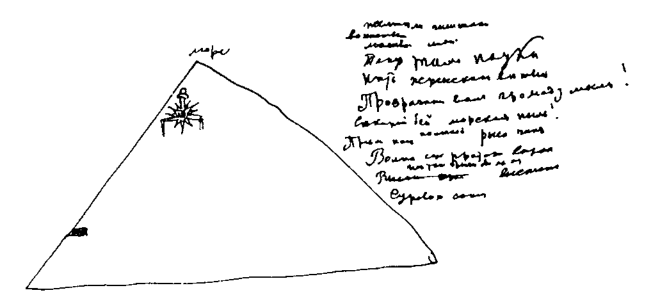
Они удалились в Дидову Хату. На сухом измятом лепестке лотоса я написал голову Аменофиса; лотос из устья Волги, или Ра.

Вдруг стекло ночного окна на Каменноостровском разбилось, посыпалось, и через окно просунулась голова лежавшей спокойно, вдвинутой как ящик с овощами, походившей на мертвую — Лейли. В то же время четыре Ка вошли ко мне. «Эхнатэн умер,— сообщили они печальную весть.— Мы принесли его завещание». Один подал письмо, запечатанное черной смолой абракадаспа. Вокруг моей руки обвивался кольцами молодой удав; я положил его на место и почувствовал кругом шеи мягкие руки Лейли.

Удав перегибался и холодно и зло смотрел неподвижными глазами. Она радостно обвила мою шею руками — может быть, я был продолжение сна — и сказала только: «Медлум».

Растроганные Ка отошли в сторону и молча утирали слезы. На них были походные сапоги, лосиные штаны. Они плакали. Ка от имени своих друзей передал мне поцелуй Аменофиса и поцеловал запахом пороха. Мы сидели за серебряным самоваром и в изгибах серебра (по-видимому, это было оно) отразились я, Лейли и четыре Ка: мое, Виджаи, Асоки, Аменофиса.

1915



Рукопись «Я пошел к Асоке...»

* * *

Я пошел к Асоке и попросил у него мыслей взаймы о равенстве и братстве.

А между тем на море такие морские дела.

На горе всегда стоял меловой бор храма, бор меловых сосен его стен, и только несколько столетий [раньше он был разрушен]. Его столбы долго желтели среди мусора, и морская пыль откладывала новые страницы на них, хотя сами они были высечены, эти столбы, из той же морской пыли. Сюда поплыла Лейли. Семь струн у ней в руках, морской конь везет ее, и чистая струя подымается, как знамя.

Но что же? Четырехтрубный пароход стоял на волнах. И кто-то из окна пароходной больнички плеснул серную кислоту и выжег прекрасные глаза.

Это был маленький пузырек, но глаза, сине-морские очи были съедены, проглочены огнем серной кислоты, а лицо, нежное, холодное, обезображенное в миг, сгорело до костей.

Вскрикнула — и упала навзничь в воды.

1915

<ТРИ ВЕРЫ>

Любо ведать себя женихом русалочьим и знать, что это знают и люди, и, плавая, знать над подбородком ласковый локоть русалки, любовно припавшей к тебе своей щекой, разметавши по воде и своим и твоим плечам ласково холодные свои волосы.

Любо выйти иным морским <путем> к людям и долго смотреть на них, не понимая их печей тела.

Пустеет берег, на обед иду в мой отдых.

Я уже очень многое забыл, но Лазаревский уже сидел и возился с песиком. <Этот суровый моряк, немного добродушный, немного печальный, но всегда милый, всегда с песиком, за которым он ухаживает, как за сыном — черно-белым, резвым, поднимающим одно ухо и опускающим другое.> Почему меня сразу потянуло к нему? Потому ли, что этот моряк русской службы — потомок Полуботка, а мой дедушка — русский придворный чиновник, запорожский казак Вербицкий? Может быть, предки просто поздоровались нами, как перчатками? Бывает, что перчатки чувствуют живое влечение друг к другу, когда мы, не снимая с рук, здороваемся ими.

Гонимый морем, я бежал по камням, сняв обувь и, потупя глаза безумного воина будущего, благоговейно прошел мимо храма двух.

Это была прекрасная любовь.

Они молчаливо сидели у костра своей любви и смотрели в его пламя — у рыбацкой лодки, где слышны плески моря, похожие <на> дикарей, сидящих у костра.

Я помню его узкий подбородок, большой белый лоб. А кто она? Темные вольные брови, худенькое личико. Что еще? Чер-

ные глаза, эта дикая волнующая рот усмешка черкешенки, украинской черкешенки поступь.

Три раза встречал <их> на берегу.

<...>

Я морской жених, любим русалками Черного, Каспийского и Балтийского морей, знаю их бешено-сладкие поцелуи...

<...>

Роскошные ночные кудри деревьев над серебряными ручейками; около месяца, похожая на горелые сливки, туча; синие и желтые шелка неба; и эта ночная истома — <пу́гало певучего сердца>; и купанье, где смеется Рахиль или Ревека узкими глазами; заборы и плетни, рассказы рыбака-художника — до свиданья, до свиданья!

В эти дни я бросал червон<цы> своих суток — мешок их исчез — на число каждой встречи. И как вертелось колесо счастья <!>

Хорошие вещи морского берега: отпечатанное на темной коже кружево рубашки, золотистые пятна просветов медленно переходят в нежно-серебряный забор теней около плеч, висячий мост над грудью и кругом локтя. Хорошо, когда вы лежите рядом и изучаете золотистый узор тепло-темного токаря загара на нежной белизне тела девушки. Хорошо, если золотистый волос вьется около ушка, и муравей ползет по плечу и измеряет грубое великанское дыхание человека мелким лучом своей походки. Хорошо, когда приподымают рубашку, чтобы показать свой загар.

Общество было разнообразное. Два или три трупа древних морей, сидевшие на берегу неподвижно. <Бородатые дачники, опустившие наконечники своих палок в волны.> Художник в желтом котелке, <о чем-то громко кричавший>. Молодые боги пробора, <которых, к счастью, можно было отнести к ископаемым животным>. Мамаши, дочери, пауки, камешки, песок в чулке и на локте, море, я и ты, в кого я влюблен.

Я поплыл, я хотел схватить простыню и воткнуть ее на утесе среди моря, где было железное кольцо, где я часто отдыхал, пугая чаек,— поднять знамя Хлебникова, чтобы оно веяло там,

грозное и черное, первое на земном шаре, прекрасное в своем ужасе. <Я пел песни войны сурового будетлянского воина.>

<...>

А эта осень в Куоккале, финской деревушке, где из столетних сосен <свисают острые груди ведьм!>. Нелепые разговоры о природе водопада, перед которым, разинув рты, стояли черноглазые мальчики русских деревень, предводимые учителем. И <рядом> черное море с врезавшимися в него серыми каменными беседками немецких дач, о которых шептались: «Это полы для немецких пушек».

Я вас не забуду — очень желтые яркие цветы ненавистью отравленных глаз на вымерших дачах. И прыжки обратного пути по камням, вечером, около брызг и пены. И тихое присутствие человека за стенами вымершей, казалось, дачи, его удары сердца в молчаливом переулке... ведь это во время войны.

Эта сумасшедшая осень гибели царей великой страны в маленьком уголке перед основной крепостью столицы, затаенн<ом> в морской луже.

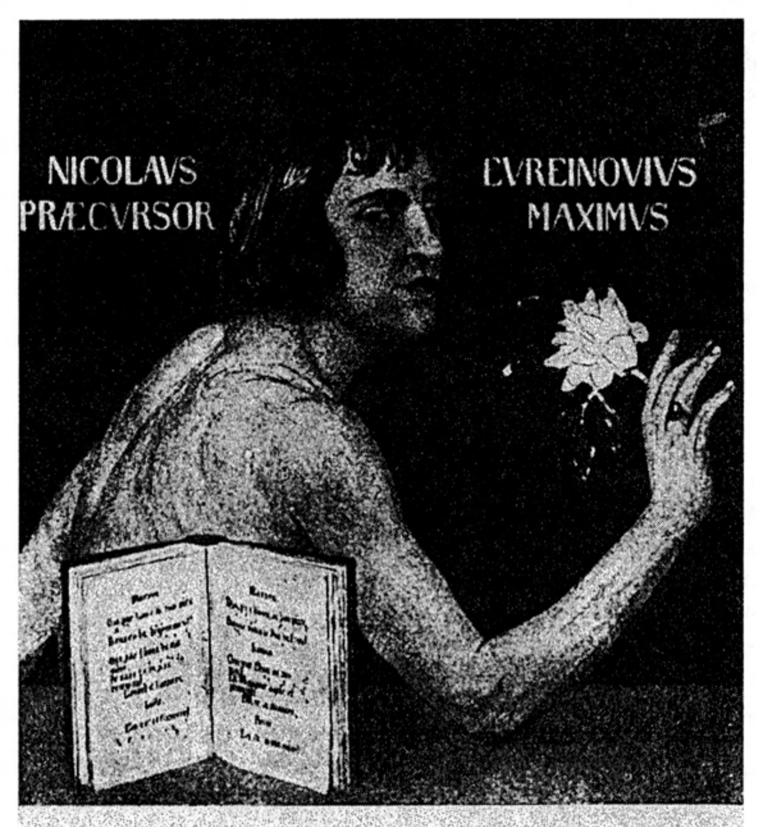
Вы идете мимо деревянных сеток рыбака из прутьев ивы, вы слышите удары сердца того, кто наблюдает за вами оттуда, и точно мяч, пойманный в игру <не>людских юношей (приморских камней), прыгаете из одной каменной ладони в другую, то падая, то взлетая, испытывая толчки <каменных игроков в лапту>.

А вы видели две толстые медные проволоки, перевязанные третьей? И я перевязал проволокой моего лета два устья — Невы и Волги. Я и море — мы соединили свои голоса, и я пропел «Разина», может быть, первый на этом берегу, шагая по пятнам камней.

А Евреинов! Вы помните, его писал Бобышов — гладкие средневековые волосы (<в Евреинове написано Средневековье, как пишут часовни за холмом>), его знаменитый деревянный ворон. И байеньки Каменского в исполнении толстой Блиновой, дикарки с очень теплым, пушистым взглядом.

Песок.

Ну кто он?



Н. Н. ЕВРЕИНОВ
Портрет работы художника М. П. Бобышова

М.П.Бобышов.
«Николай Евреинов — великий авангардист».
1915(?)

В.Блинова.
Портрет В.В.Хлебникова.
1915

[Эти дачные поселки, эти отгороженные забором] людские кустарники, где люди, цветы и листья на чешуйчатых ветках из рубля или копейки [человеческие трепещущие листья, протянутые к Богу] — какими бы веселыми ногами побежали вы друг к другу, как бы рассмеялись эти два цветка с парой <не>людских глаз <!> Но нет, их разделила серебряная ветка и держит поодаль и тянет в сторону, и они бросают небу столько скорби в тугих воротничках молчания... Знайте, их много, их много, невольников серебряной ветки!

<...>

19 октября 1915. Я снова у N. [Веры Б.]. Я сижу рядом с ней. Какое счастье! Чернов тоже. «Это хорошо сидеть рядом с невестой, скоро женитесь»,— заметила госпожа Б.

Как, Вера — невеста? А я и не знал. Новое горе. Признаюсь, я почувствовал жгучие слезы в горле.

Кругом внимательные изучающие люди.

Но, может быть, хорошо, что она незамужняя. Вера грустна и строга. На коленях ее черная повязка — знак печали. О ком?

Она сидела против меня, неловко положив ногу на ногу, и курила. На ней вязаная желтая рубашка для ходьбы на лыжах. И вся она хрупкая, грустная, утомленная. Она курила и какая-то трогательная неловкость была в ее руках. Я слишком упорно посмотрел на нее, и она неловко поправила край платья.

Говорили о погромах. «И нас будут громить,— сказала она, куря. И северная воздушность, и голубые глаза, грустная, утомленная, почти обреченная, и твердый взгляд, и усталость после перевязки ран,— ведь она сестра милосердия.

«Вера-невеста»,— я заплакал мысленно, как обиженный котенок.

Вера сказала: «Пойти, разве, на войну?» Она налила мне вина. «Можно? — спросила. — Курите, курить — мужественно!» — заметила она. У ней много простоты и оттенок суровости. Она немного холодна и жестока. Она рассказывала про охоту.

26 октября. Я снова там. Я смотрел на эти воздушные волосы севера — облако прически над лицом, большие голубые глаза,

похожие на голубой жемчуг, и его строгая нить около плеч. Я слушал. Радость! на руке еще нет золотого кольца.

Вот отрывок разговора: «Я выстрелила, заряд попал, ну, в зад зайцу. И я просто не знаю, как взяла его за голову и стала его так колотить о ствол. Ну, он так кричал, так кричал, просто не знаю. Мне его очень жаль было (она закурила) — зайца». Она едва заметно рассмеялась.

Инна вязала шлем серо-голубой. Я его надел и сделался похож на воина Средних веков. «Вы похожи на воина!» — Слова её редки, но нужны и уместны.

28 — день моего рождения и прекрасный пожар здания Уделов на Литейном. Совпадение?

Пожарные, их красные тела в сером колеблющемся дыму, равнодушные раненые в нетронутых пожаром покоях. Стоны, крики, зарево меди на скачущих колесницах, конские копыта, сразу занесенные на воздух в диком песенном упоении, бешенство порыва. Это воины древних столетий — недаром носят медные шлемы — зовут человечество умерить ярость солнца и бросить глупые, скучные войны. «За нами, за нами»,— выл дикий грохот колесницы пожарных <...>. Я стоял напротив и наслаждался тревогой одних и радостью других.

Утром пил мясной сок.

Был у моего друга. Я рассказывал бурно свои впечатления. Он давал советы как опытный друг: «Попытайтесь ухаживать, все возможно, не торопитесь, помните, что вы знакомы без году неделю; чуть что — звоните ко мне. Встречайтесь, помните, что девушку нужно покорить. Мой отец десять лет ухаживал за матерью».

— Мы заговорщики! — воскликнул я, целуя его.

Я поклялся проиграть до конца [Антихриста], если это будет так. Я любил его, мужественного, сурового человека с горячим сердцем.

Вечером пил за осуществление самых пылких и смелых надежд.

Семилетний мальчик, сыненок знакомых, читал «О, рассмейтесь, смехачи». Мы с ним беседовали и чувствовали заговорщиками среди взрослых.

Неужели это будет только сон?

Мальчик, высунутый из коляски, смотрел на меня радостными глазами, детски живыми и задорно блещущими, читал из меня и после всей ручонкой залезал в какой-то кисель, засмеявшись и оглядываясь на взрослых.

Или за этой Верой, как за Верой [Лазаревской] блестит копье первой Веры, Казанской, умевшей умереть среди цветов, смеясь, среди подруг, [теребивших] ее за руку, чтобы разбудить. Но мак убивает, как выстрел.

Да, за последнее время я все чаще и чаще чувствовал блеск копья первой Веры, самоубийцы, на прекрасных девичьих крыльях 17 лет отлетевшей к предкам.

Её жемчужно-серые глаза, северные сдержанные движения, рассказы про диких коз на ее родине — во время бурной войны, все копыта коней которой и колеса тяжелых пушечных станков призраками прошли через мое сердце за два года до вещественной бытовой войны.

Я, свернувший в своем сердце знамя дикой свободы моего народа, и она, говорящая и на языке моих врагов и по крови — крови врагов, но ухаживающая за воинами нашего стана и оттого такая грустная, думающая — кто мы?

Нет, мы первые из военной бури выходили на сушу другого человечества и знали это только вдвоем.

Я умолял, заклинал, говорил, что кнезь выше князя, всегда выше, и ведь я кнезь — куоккальский, голубоглазый, морской. Я упал, как белый тучежитель, забыв свое право грезить, на грязь — она моя родина. Покрытое черными цветами крови, копье исходило из моих ребер снежного юноши, озаряло мой вечер, мое умиранье упавшего с облаков бога. И у моей смерти есть право <выбора>: ушло «е», пришло «я».

И кто я, сын какой я Бульбы?
Тот, своеверный, или старший?
О, больше, больше свиста пуль бы!
Ты роковой секир удар шей!

Это был приговор над самим собой, почти похоронный колокол над самим собой. Мягкую медь меча «Я» перерубил железный меч «Мы».

Слово «таинственная» мне нравилось потому, что в нем скрывалось слово «воинственная».

Вы знаете, есть князь и кнезь,
Вы знаете,— вы моря панна!
Вас вдохновила в море пена
Сказать певцу: <»где грязь, там грезь»>
Глагольных глаз таинственную резь,
Чела высокую воздушь
И глаз морских сверкающую незь
Понять кому ж!
Когда, поссорив руку с пальчиком,
Вы дым в себя вдохнули строго,
Казалось, мир, играя в альчики,
Прошел вблизи, как ветер бога.
Сухой и твердый, как доска,
Я очарую брови эти,
Я брошу все мои войска,
Чтоб крикнуть «стой!» мечте столетий.
Они разобьются опять,
Все влагою скатятся в море.
И разуму молвлю я — «спать!»
Закутайся облаком хмурым.

Так звучало оно, никому не понятное.

<1915–1916>

<КА-2>

Мы шли опять по желтой, стоптанной дорожке,— тропинке желтого снега, торопясь, почти падая, и таинственные ветки лиственей опускались, как души предков, почивших, но бывших около.

— Мой дедушка, или бабушка живет в этой узловатой ветке,— торопливо подумал я.

Но вот рокочущий шум настиг меня, и сквозь деревья я заметил четыре пластины, соединенные паутиной, четыре пластины простые, как слова военного.

Большой желтой бабочкой правила человеческая пылинка и, доносившиеся сквозь дыхание земли, сухой треск и грохот напоминали лесного ежа. Два кольца красного цвета на пластинках воскрешали сумеречных бражников. Каждое утро я слышу этот треск: опускаясь на большом снежном поле, эти бабочки скользили на удобных санках, и ветер снега подымался за ними, точно от паяльной трубки.

Мы сели на 13 и, раскачиваемые на поворотах, изучающие и изучаемые соседями, случайными волнами земного шара, в облаке визга и грохота неслись в город. Я озирал слова беседы и помнил угрозы.

Давно прошел тот день, когда прапорщик войск рождения протянул мне руку и сказал твердо:

— До свидания.

Милый прапорщик.

— Притворяться младенцем сейчас нельзя,— настойчиво говорил кто-то.— Нет, если живой белый камень дышит с могилы мыслителя, оскорбите его сон! бросьте в него, склоненного с

улыбкой человеч<ности>, слово вражды. Пусть мертвые выйдут из прекрасных могил и вмешаются в битву! Живые устали. Мертвые, идите и вмешайтесь в нашу распрю. Мы устали. Люд другим выйдет из этих вод, стыдливо надевая свои одежды, точно после купанья в ручье смерти.

Я шел по улице. Столетия струнами соединяли куски <города>. Век поездов лежал у серых широких стен с узкими кувшинами в ямках; седые бояре скрывались в воздухе у золотых луковиц пряничного храма (золотые цветки золоченых куполов), и мнимая толпа в серебряных зипунах — рожденный ими звук большого города. Зеленые луга крыш.

Беженцы наполняли город. Извозчики то и дело останавливали добродушных кляч, и беженец, шедший вдоль старых стен с вылепленными из них серыми головками, выбегал на середину улицы и жал и тряс руку проезжавшей беженке со всем жаром неожиданной встречи, после внезапной разлуки там, где людские дела освещало лицо войны.

Я увидел малиновый окорок; через двадцать лет он будет уважаемым лицом этого города.

Но звук столетий окутывал город. И золотым ожерельем бегали бочонки, наполненные людьми, ставшими рыбой в море люда.

Закон множеств бросал и принимал эту сельдь больших городов.

Первобытный лес надвигался на человечество. Человечество чисел, вооруженное и уравнением смерти, и уравнением нравов, мыслящее зрением, а не слухом, бессильное победить судьбы всего люда, <и потому> относится к ним как к мертвой природе.

Ткань жрецов, ведущих куда-то по праву рождения, милостью чисел, быстро окутывала человечество, и слова их проповеди сплелись в одну большую сеть, удобную для рыбной ловли. Шест сетки был у меня. «Хорошо,— подумал я,— теперь я одинокий лицедей, а остальные — зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы лицедеями». Волнующий общеазийский разум, который должен выйти из тупиков наречий, и связанная с ним победа глаза над слухом и трепет сил

живописи, уже связавшей материк, и дружба зеленых китайских лубков и миловидных китаянок с тонкими бровями, всегда похожих на мотыльков,— с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты, и ногти мандарина, появляющиеся на руках обдумывающих себя.

Первобытный сосновый бор со всех сторон надвигался на человечество. Ничему не веря, люди стали хитрее и осторожнее. <И враждебными зрачками дикарей смотрели день и ночь,> скитаясь среди стволов.

— Мы в первобытном лесу,— задумчиво произнес кто-то,— мы — самотворцы. Ох, бросьте стрелу во все звезды! Ох, скитаться среди стволов! — Он умолк.

Заглагольный <мир>, человечество чисел. Греческий быт и старые нравы. Народ нравотворцев.

— Взять колючую проволоку — эти могильные памятники. И величественный <обряд войны> — молебен войнопоклонников. И серые боги, высеченные секирой из Времени. И храмовое заклание одним возрастом другого у ног серых богов — <вот что> я прочел на неизъяснимой улыбке каменной бабы, лежавшей в саду одного художника,— покрытой оспой времени. А требник войны загадочно торчал в ее отсутствовавших руках.

Конечно, даже вы допустите, что может быть человек и еще человек, положительное число людей. Два. Но знайте, что когда кого-нибудь нет, но его ждут, то он не только увеличивает на единицу число вещественных людей, он и отрицательный человек. И что, по воззрениям иных, мы переживаем столетия [кусты мигов] отрицательного пришельца с терновником в руке...

А вы знаете, что природа чисел та, что там, где есть да — числа и нет — числа (положительные и отрицательные существа), там есть и мнимые ($\sqrt{-1}$)?

Вот почему я настойчиво хотел увидеть $\sqrt{-1}$ из человека и единицу, делимую на человека. И его лицо преследовало меня всюду в шуме улиц.

Впрочем, скоро я понял, что если любимый, ожидаемый, но отсутствующий человек <есть> отрицательное существо, то каждое враждебное, постороннее собранию (но присутствующее в нем) будет $\sqrt{-1}$, существом мнимым.

Мы шли по улице.

Не многие понимают, что и Москва может дать черкесские впечатления и занимать скучающий ум.

Сейчас меня занимал густовишневый, малиновый, словно перепиленный судьбой, иногда удачно заменяющей пилу,— череп Байды, этого холодного запорожца, что, усевшись по-турецки на полу, держал, как оправдательную книгу, верхнюю половину черепа и не исказил лица на нижней половине с равнодушно веселыми глазами над самым краем мыслящего ковша.

<...>

На выставке новой живописи ветер безумий заставил скитаться от мышеловки с живой мышью, прибитой к холсту, до простого пожара на ней (с запертыми зрителями).

<Это> красочно звалось: «вывесить оглоблю».

В день открытия выставки устроитель заболевает, ложится в постель и принимает врачей.

Между тем мой неловкий двойник, но гораздо хуже меня, стоял и смотрел. Я сел в поезд и уехал от него. Его усталая хожба, его изнуренный облик удивили меня. (Множество людей искало дешевых мест в поезде бессмертных душ, стоящем под парами.)

Кривое и бледное лицо осталось в памяти...

Забавно встретить лицо седого немецкого ученого в человеке, которого вы помните с золотистыми волосами, окруженными полувенком.

Мои пылкие годы.

Когда он не был убелен, он мне напоминал еще Львиное Сердце. Ласковыми, уверенными движениями он возьмет вашу руку и прочтет неясное пророчество и после взглянет внимательь-

но и поправит два стеклышка. В те дни я тщетно искал Ариадну и Миноса, собираясь проиграть в XX столетии один рассказ греков. Это были последние дни моей юности, трепетавшей крылами, чтобы отлететь, вспорхнуть. Но их не было; наконец, пришло время, когда я почувствовал, что не смогу уже проиграть их. Это меня огорчило. Я понял, что дружба, знакомство есть ток между различным числом сил, уравнивающий их.

Был красивый юноша с мертвыми глазами, немного глупый от сознания: ты и другие. Было громкое имя и разговоры (хозяина) по телефону и меловые стены комнаты.

Что он мог предъявить, кроме верхней половины головы как оправдательную записку? Это последний запорожец.

В первые дни войны я помню черный воздух быстрых сумерек на углу Садовой и руссов, уходящих на запад.— Все помрем,— глухо сказал кто-то, взглянув на меня.

— Умереть мало, надо победить,— строго заметил я. Так начиналась первая неделя. Те, кто был всем, кроме вождя, шли весело, подымаясь с летних станов. Стуча трубками о колеса орудий, они верили, что у них есть кто-то, вождь. Был ли у них он? Или вставивший ноги в стремена, скачущий мертвый всадник был принят за вождя счастья?

— За повелительную осанку.

«Никто не идет на войну весело!» — негодуя, возразила мать, убирая самовар.

Раз мы ехали семеро (военные и провожатый).

Два белых пятна огней, как глаза ищейки, бежали по снегу около нас мимо деревьев, и поручик, громко воскликнувший: «через неделю я буду убит», там, в подземелье подвала, во время ужина, под стеклянным потолком, по которому сверху шли ноги прохожих, и требовавший исполнения государственных песен,— он вынул шашку и восьмиобразно провел ею в воздухе; заставил голую шашку проплясать медлительную «русскую» среди белых мечей огня переулка. Он махал ею в воздухе, пока

мчалось наше чудовище за городом. Он снова хотел что-то сказать, и только воскликнул грубо и упрямо:

— Через неделю я буду убит!

Голое железо шашки и бег в 60 верст.

Тогда на возвратном пути, у самых черных ворот с черными трубами и черными крыльями юношей победы, нас остановила застава и толпа темных людей кричала что-то.

— Пять шагов, поздно! — И тяжелая перекладина ударила в грудь женщину, и та упала со спины на снег. На кузове один зрачок разбит. Звон. Но в ворота забытой славы мы въехали, далеко сбив перекладину. С зрачками, полными дружбы, мы спокойно вышли из кузова, потрясенные рассказом события и знаком его. И уже шагом поехали в ворота победы, радуясь, что не радость мести, а победа — впереди.

С тех пор я уже избран королем времени (раскаиваются ли теперь избравшие?) и сделался главой первого на земном шаре государства времени. Предо мной один из внутренних, вечно открытых путей. Остался второй, искатель подержанных веков. Слабая, еле заметная, тропинка в саду черепов. Уже второй год. За две недели до Рождества, в день солнцеворота и за три недели до конца года я упал со склонов горы веры и радости и летел в какие-то пропасти. Через 91/2 я узнал смерть и, преобразив ее в лед, через 91 я стал <...> Когда-то, наконец, я оберну свой ремень вокруг солнца, носящего мое имя, и в своем сердце властно застегну пряжку солнечного ремня. Через 132 дня после наступит час шепота ив, и дробь моей души будет иметь общий знаменатель.

И год делится на четыре части. Неудивительна его природа удлиненного круга. Теперь, когда я пишу, глуповатая, бойкая головка зайца, его приглаженные прелестные волосы, дымная мордочка, немного встревоженный взгляд,— все напоминает чертей в понимании Гончаровой.

Я шел по Тверской и озирал лица туземцев. В каждом взоре силуэты шашки ранили меня.

Бог смерти дал мне руку, <я> пожал ее, точно знакомый. Бог смерти сказал мне: «здравствуй». У него были орлиные перья в черных косах, орлиный шлем на голове и руки дикаря.

Я думал: должны ли носители власти быть того же вида, что и подчиненные? Ведь иноплеменники с другими глазами и другою бровью легче начинали города здесь, точно грубые швы иновидных царств.

Я искал того из прирученных диких зверей, чье имя не бывает руганью. Он умен, честен, строг, и алчность его тушится овсом.

Я привез деревянного, но пряничного Иоанна Грозного с красивыми тонкими бровями, миловидным лбом и белыми рукавицами, глуповатую сову и четыре зеленые сельские барышни — яркие сельские девушки в золотых платках и с нежными тонкими бровями. Я пил вино внезапного вдохновения старой цаганки, разгадавшей меня (подумав о египетских ночах) там, в овраге, где были лачуги с самыми лучшими блинами. («Коммерческий карахтер»?) Я провидел перелом права имения. Пространство завоевано, и трава пространств завянет.

Право имения перейдет на творческий бой за время. Но я устал от какой-то лжи. Я был зрителем перед опущенной занавесью, и ее хмурые кисти были обвинениями.

Государство времени было наше и черные шары на серой синеватой плоскости и неловкая синька в звездах, где стоят люди с деревом легенд, и золото свечей внутри горит и сверкает, и черные шубы логовищ.

«С голосом жестоким век страшного суда»,— беззаботно напевал я, шагая туда, куда шел. Люди мелькали. Большая каменная коробка мелькнула среди сада. Я участвовал в большой битве мертвецов пространства и войск; время люда, время юношей и три осады занимали мой мозг.

Башня толп, башня времени, башня слова.

Задача осложнялась тем, что я же должен был придвинуть скорострельные и тяжелые разумы, и обо всем этом не знал никто, кроме меня.

<...>

И участвуя в свежем пиру безумия, бросив чужим поверхность, стыдливо надевая одежды после купания в ручье смерти,— дал клятву я, последнее, что я мог сделать с детским гробиком вместо сердца, когда-то умевшим биться.

Несколько сказок уже отыграно, мне осталось проиграть несколько сряду, и, как вздохи тяжелого моря, доносится успех; может быть, он тоже кит в море людей и где-то плавает и дышит столбом очередных изданий.

Топот и ржание конелюда.

Не всем известно, что конь, которому прошепчут на ухо слово «- ить!» бешено несется во весь скач. Волшебное слово, глагол всадников, не всем известный. Я искал это слово для всего человечества,— мне противен бич войны.

Я уже несколько лет веду странную жизнь, привязанный к седлу лошади.

— Люди, идем в море чисел,— воскликнул кто-то, долго куривший. Я вспомнил Посад, красные, тяжелые башни, золотую луковицу собора и полки с книгами ученого, не нуждающегося в пылинке пространства.

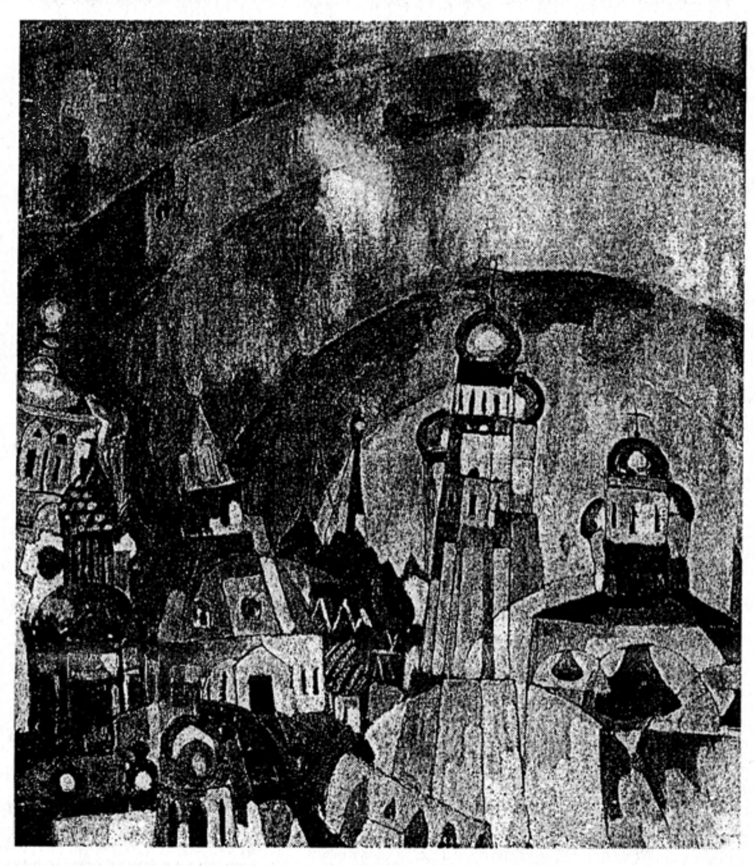
Да. Первое на земле государство времени уже жило, оно уже есть.

Уструг качается, и шумит шелк паруса. Узкие бледные лики в вязаных шлемах и обагренные по краям чернилами латы.

Он поставил шашку рукоятью на стол, сказал:

— Я плюну смерти в яростные глаза.

В.А.Фаворский.
Портрет П.А.Флоренского.
1922



А.В.Лентулов.
Москва. Панно. 1913.
Фрагмент

«Твоя стрела,— подумал я,— идет мимо. Этого мало». Я шагал по дубовым очам немецкого пола. Здесь жил живописец моего нечеловеческого времени (Лентулов). Признаюсь, я его мало любил. Он был лукав, миловиден, прост в обращении, но в нем было <...>. <Его> сырые голубые колокольни с мухоморами головок клонились, падали, ломались, точно в вогнутом зеркале, или перед землетрясением, или как весло рыбака за прозрачной взволнованной водой времени. Колокол, вырезанный из серебряной жести, тяжко взлетел на бок, и в него прилежно звонил темный египтянин в переднике, явившийся сюда прямо из могил Нила. Большой путь.

Небо было разделено золотой чертой, темный зеленый цвет нижней половины давал ему вид масляной стены присутственного места. Золотой узор вился по стене неба.

Мы беседовали, собираясь соткать воздух слова для этого большого города. Я думал, что эти кривые улицы только завитки волос большой бороды казненного боярина Кучки и что время тем, кто дал однажды голове-холму лихую пощечину, вынуть спрятанный голубой меч. Иногда неплохо быть пушкинианцем. Через прекрасное (Пушкин все-таки был закопченным стеклышком) можно посмотреть на будущее. Впрочем, я не собираюсь быть обманщиком. Я снова упрямо шел, читая приказы мигов по волосам бороды боярина Кучки. А давно ли от ее хохота (Пушкинской головы в «Руслане и Людмиле») мы скитались от моря до моря, уносимые ветром дыхания до края земли. И совы летели из усов и бровей старой головы и садились прямо на столбцы передовиков.

В этом месте четыре заводских трубы, красных и простых, подымались, как свечи образу более могучему, чем башни прежних столетий. Они дымились черным чадом и, как плечи, пересекались кривыми косами.— Подсвечник в чьей-то мощной суровой руке. А за ними цвел мощный лютик или калужница — золотой купол с серыми иссеченными людьми вдоль стен.

— Мы ехали мимо вашего памятника. Там вы стояли,— сказал мне кто-то насмешливо.

(В самом деле, Пушкин и я чертили червячков этих писем.) «Только почему вы сняли шляпу и держите ее сзади? Это нехорошо и вы простудитесь, дорогой мой, и они (прохожие) не стоят вашей вежливости».

Я улыбнулся.

Я не раз проходил мимо этого черного, кудрявого чугунного господина с шляпой в руке. И всегда подымал на него глаза.

Кто он?

Член общества 365 пожал мне руку, высокий, худой, сухощавый, спрашивая <мое> мнение о себе. <Его> голубые — знаки уважения к смерти — глаза чья-то молчаливость стыдила. Я стоял.

— Что он мне скажет?

Умирающий конь, покрытый рогожей, собрал толпу. Зрелище смерти, что собирает мошек, всегда прекрасно и гневно.

— Больше земного шара.

— Ведь они и я мы оба звуки! — гневно воскликнул я, озирая брошенных молиться мне московских рабов. Между тем и черный писатель закутался в плащ Гоголя, с своим острым клювом грача над черным камнем, и (чужой точно) мертвой рукой чумы выводил на рынок и белые стены золотого цветка, около которого люди делались муравьями (храм Христа Спасителя) и струистый треугольник глав — Иван Великий с пожелтевшим золотом, и башни свеч, и горы с пропастями там, где недавно были хижины, и снования усталых конькобежцев, и, походящие на числа, серые высокие стены с двумя или тремя красными окнами — и ко мне там выплескивалась мысль о себе и войне: <я лишь> тихий кролик.

Седое лицо боярина за окном, мелькнувшее в то время, когда его память забыта, как привиденье, и золотое ожерелье поездов,

и серая коробка зданий среди сада,— снова все стало холмом-головой, о которую гулко ударила моя рукавица.

Я носился в воздухе, стиснув железной рукой чью-то колючую бороду. Впереди был сад Людмилы.

Нас было несколько. 317. Степенью этого числа было то ничто, то единица. И, как пристяжная, в сбруе огней бешено скакавшая улица.

...Вечером хозяин (Петровский) опять сидел по-татарски на ковре и молчаливыми, прямыми, как лезвие, очами сурово, весь вызов, смотрел в небольшое пространство. Снились ли ему Сечь и его предки, и страшная внезапная тоска, и это впечатление срезанной половины черепа, что и на картине на выставке, где она оставалась, тревожили <его и> меня. У этого последнего было отнято все — язык и быт. Единство времени и мера были нарушены: несвоевременный, он скитался, и от него веяло холодом степных могил. Обрубанные виски он расширял, срезая волосы до уха. Казалось, этим он хотел освободить место для закладывания тонкого, длинного, несуществующего уса...

<1916>

СКУФЬЯ СКИФА
МИСТЕРИЯ

— Идем сюда,— сказал Ка,— где Скифы из Сфинкса по утрам бегают по золотистому песку.

Лелеемые усталой ладонью ветра, сыпались пески и убегали дальше то как мука, то как снег, то как золотое море шумящих тихо-золотистых струн. Рогатая степная змея подымала голову и после, тихими движениями, набрасывала себе на глаза песочную шляпу. Золотистый, он с шорохом просыпался со лба змеи. Жаворонок, недавно прилетевший из дальней Сибири, садился на черный сучок рога змеи, на ее засыпанный песком лоб, как на ветку, и погибал в меткой пасти. Он только что спустился из облачных хребтов, где они летели вместе, бок о бок, как моряки, слыша удары грома и поляны тишины заполняя своим пением жаворонков. Он отдыхал в вечно мерзлой стране на высунувшемся из крутого берега темно-глиняном, покрытом резьбой столетий, клыке мамонта. Он ночевал в пространной глазнице мамонта, а утром, когда их стая, щебеча и опьяненная полетом, соединяла свои голоса в тот мощный звучащий собор, который мог бы быть понят отдаленным громом или отголоском великого пения богов, то человеку человеческий мир вдруг казался тесным и <меньшим>, чем ранее. Жаворонок, серебряный, с черными рогами, затрепетал и вдруг поник головой. Его большой черный глаз, где отражались еще реки Сибири, полузакрылся. «Я умираю, я тону в лоне смерти,— сказал он,— я, жаворонок». Став толще, песчано-золотая змея засыпала и последним каменным взором с желтым зрачком смотрела на каменного льва. Чтобы напоминать молодым людским волнам о старых гребнях людей, его вытесали из камня и дали упругий удар хвоста кругом <плененных> бедер, и полузакрытые глаза, и разрезанные морщинами веков губы. Он смотрел по-человечески вдаль, полузакрыв в песках звериные лапы. Случалось, что утренний морок останав-

ливался около уст шептаться о тайнах столетий. Скомканные перчатки и скомканный плащ лежали на лапе льва. И странно было видеть черное сукно на суровом камне.

В это время малиновый меч солнца упал поперек пустыни, а черные пятна ночи побежали прочь, и прекрасное пение бесов донеслось до змеи из глубин мятежного звериного камня. Что было там, в подземельях львиного туловища, за кругом львиного хвоста? Седой вдохновенный жрец отодвигал на нити времен новую четку дня. Он стоял, протянув руку. Юноши в венках были внизу. Жрица с голубыми серо-бледными глазами складывала, согнувшись, ветки для костра. Веря жрецу и задумавшись, она смотрела в упор серыми глазами и молчала. Руки ее собирали травы и бледные лютики, украшающие венки. Жрица молча смотрела на нас, прекрасно и строго, но веря нам, и одежды озером падали к ногам Девы с черной повязкой кругом стана. Хворост, венки и смолы были сложены. Злаки пустынь, покрытые ручьем серебряного волоса, круглые и восково-зеленые, лежали на круглом камне. Сквозь черный колодец вынутого камня падал к нам малиновый луч.

А кругом, как стены храма, с задернутыми облаками глазами, лежал наполовину человеческий лев. Губка времени была пролита на его лицо.

— Дети,— сказал жрец,— вот он зажегся, сияющий глагол.

Мы благоговейно слушали его в этом подземелье храма. Он продолжал дальше:

— Вот большие и малые солнца кружатся во мне. Слышите ли вы их звук, как они поют, и пение их сливается морским глаголом с морем солнц, с пением утреннего неба? И вся слава меня хвалит звездную славу там. И если мы конебесы, <злые глаза осады увидят черный ветер концов наших грив, пену снежных комьев усталости, захлестывающие нас удары хвоста>. Топот. Еще топот! Сколько их поднялось на дыбы и гуляет на задних ногах, грозя передними. Мы заполняем пропасти утесами, на которых книги, не прочтенные седыми волхвами тысячелетий. Мы захлестываем себя гривами, спешно набрасывая горный мост к небу. О, гул восстания! Осада. Деревья, бревна, осколки законов, горы, веры — все

заполняет ров к замку неба. И улыбка судеб торчит репейником на наших диких гривах. Черные, белые, золотые, снежные товарищи, вы походите на крыло орла, клюющего небо!

Стук прервал его мятежный голос.

— Что — там?

— Путешественник с сухой дыней на голове стучит палкой по камню храма,— ответили мы.

— Добре. Ломка уз еще надежней и верней. Пучина пуз пылает пеною парней! — огненно заключил он, сходя.

— Вспомним про полузадернутые временем глаза храмозверя. Вспомним эту губку времени, пролитую мимо глаз! — он кончил.

Прекрасный удав со свинцовым взглядом и холодным разумом в них, как будто на дереве, качался у него на руке. Серо-пепельные пятна свинцово-железным сложным узором украшали его тело. Он дважды обвил руку — живой думающий жезл, раскачивающий свое тело.

— Вы, жреческие отроки, расскажите, где вы были? И ты, сероглазая и бледная, ты, призрак каменной лавки, вслушайся в таинство другого разума.

Все сели на белые каменные лавки вдоль стен. Утро кончилось. Все начали свои повести. И первый начал:

— Я сидел в подводной лодке, я склонился над столом-зеркалом. Журчание воды слышалось сверху и с боков. Мы неслись. Однообразные волны серым узором плеска покрывали поверхность зеркала. Но темная черта омрачила море, и на ней были трубы и дым; на корме были люди. Звонок. Звонки. Шум подводного выстрела. Бледное пламя! Мы сказали: «Хох!» Мы ложились на дно. Нас обгоняли человеко-похожие предметы. Так, крутясь, падают листья дерева — в голубой сумрак дня, и стучались в окна подводной лодки рукой мертвеца.

Веками раньше, но в тот же вечер, в пустыне дубовых стволов, под водой гребя веслами, мы, Запорожская Сечь, подплыли к голубому городу и качались под водой и сторожили черно-золотые паруса. Под водой мы гребли веслами. Красное, как сегодня утром, солнце закатывалось в море. Но сечевики дышали в трубки,

держали в руках смоленые концы весел и тихо качались под водой. Но вот проплыла ладья. На ней стояло много женщин в белом; все темные и стройные. Стоя на корме в длинных золотых кольцах на локтях и ногах, они были дети, ответившие на синие волны моря черными лучезарными волнами волос. Они плыли дальше. Наш вождь поплыл вплавь и как утопленник был принят на ладью. Сытые грабежом, мы поплыли назад. Пустые дубы чуть заставляли горбиться море, и только морские хохотуньи, увидя нас, прядали кверху. Морской шар синел. Мы были у родины. Славянки в золотых волосах встречали нас у устья реки и пели:

Челнок с заморским витязем
Зовет на берег выйти земь.
Толпе холодных лад
Не надо медных лат.
Мы бросили жребий в синь,
Венком испытуя богинь.
Вернулись! Вернулись! Вернулись!
Знакомые тополи улиц.
Голубые, плакать незачем.
Есть утех колосья резать чем.

Мы тихо зевали, утомленные рассказом, где времена сияли через времена. И кто-то сказал: «Я тот же! Я не изменился!»

Мы встали и разбрелись. Костер дымился над серебристым пеплом. Но вот священное пламя заколебалось и задвигалось, как змея, когда она прислушивается к священным звукам. Все насторожились. Кто-то вошел и шепнул на ухо и показал на камень змеевласой женщины, стоявшей в сумраке. Кто-то сказал: «Помни об осужденных умереть на заре. Ах! Сплести еще одно уравнение поцелуев из лесных озер».

. . . .

Целый день нагой я лежал на песчаной отмели в обществе двух цапель, изучаемый каким-то мудрецом из племени ворон. Он не видал еще нагого человека. Я думаю так.

Между тем озеро, полное неясных криков и вздохов, начинало жить особой ночной жизнью. Вздохи избытка жизни, покрываемые мрачным кашлем цапель, доносились от него, похожего на тусклое серебро. Сын Солнца, женоподобный, темный, в волосах ниже плеч — бывало, он любовно и нежно расчесывал их большим гребнем, точно он звал это делать незнакомую девушку,— выходил из-за костра, и чем сильнее он опускал свой гребень в темные волосы, тем любовнее и темнее делались его добрые глаза.

Кружево и белая рубашка женщины оттеняли темную шею иога. Его ноги, одетые в светлые волосатые штаны белого <цвета>, были обуты в привязанные ремнями подошвы.

. . . .

Я помнил кроваво-золотые пятна на голубовато-белой голове призрака, золотое пятно его шлема и черный дым над ним, точно копоть над пламенем свечки.

. . . .

Пустыня молчала. Ночью мы поднялись смотреть коготь гуся, блиставший в вышине, и освежиться дивным холодом ночи.

Большие костры изумили нас. Путешественник заснул и, упав головой, темнелся около ног, закрытый плащом.

— Завтра вы оставите храм,— сказал старик.

К утру, во время черной зари звезд, мы расстались.

— До свиданья,— сказали мы.

Ка увел меня за руку. Прошли месяцы войны.

Мы встретились на севере, у моря, на покрытых соснами утесах.

Я помнил слова седого жреца: «У вас три осады: осада времени, слова и множеств». Да, государства людей, родившихся в одном году. Да, таможенные границы между поколениями, чтобы за каждым было право на творчество.

Правда, их тела нам не нужны. Но ведь отдельные тела — листья, а остается еще дуб. Пусть он воет от наших ударов — что нам до листьев? — их много, и на смену одному вырастет другой.

Поезда уже были проложены по дну моря; я воспользовался одним из них. Среди этих утесов, изрытых морщинами, чьи ноги были вымыты морем, мне нужно было найти Числобога — бога времени. Один из этих черных утесов, точно любимец древних [нибелунгов] — зубр, стоял в море и рога опустил в море. Я шел к нему, шагая по людским глинам, прилипавшим к подошвам. Глина тихо скрежетала. Мы [великий союз времцев] относились к людям, как к мертвой природе.

Китаец с спрятанной косой, пропустив сквозь ноздри змею, вышедшую потом изо рта, улыбался узкими глазами в слезах, приговаривая: «Хороший змея, живой змея». Потом он носился с гремящей острогой, собирая зрителей, и высек за что-то маленькую куклу, у которой просил помощи и чуда.

— Теперь сделает, — лукаво объяснил он свой договор с небом.

Белая мышь выползла из чашки.

— Живой,— радостно указывал на мышь, — живой.

— Где Числобог? — спросил я его.

Он вынул змею и сказал:

— Ветер знает, моя бог не знает.

— Стрибог, ты синий и могучий, ты, верно, знаешь, где Числобог?

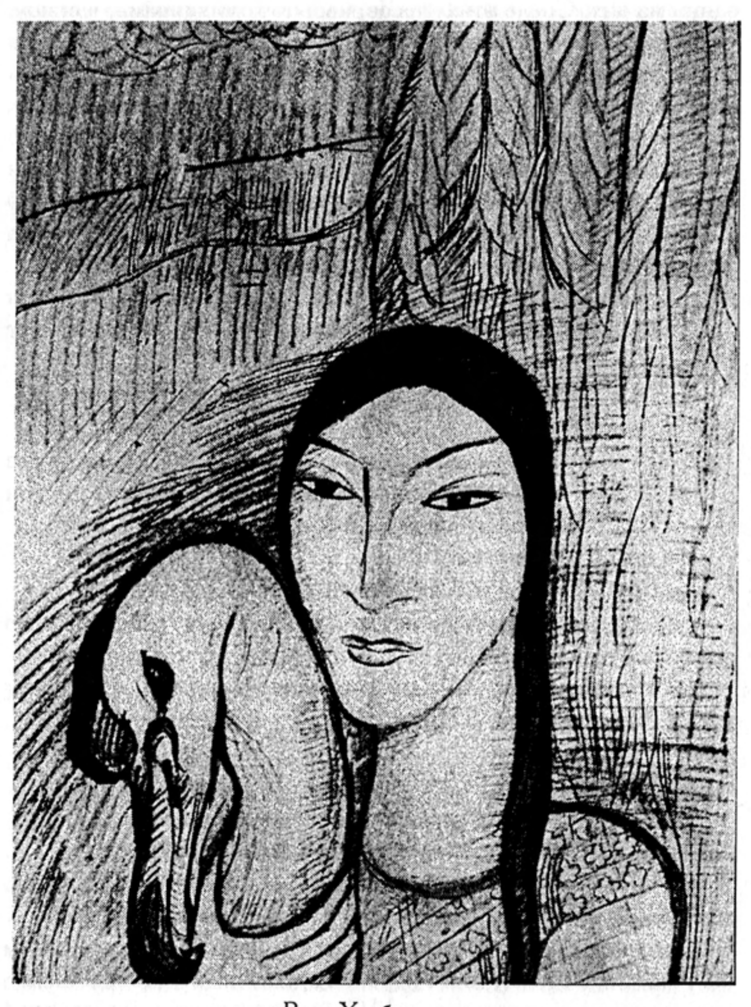
— Нет,— ответил,— я должен сейчас, как буря погнать над морем стадо ласточек. Спроси Ладу — она среди лебедей и лелек.

Лада направила к Подаге.

Подага холодно убивала зайца о ружье и в белой шубке стояла на поляне. Знакомые серо-голубые глаза удивили меня.

— Числобог? — спросила Подага.— Он стал где-то королем государства времени.

Две гончие своим зовом прервали разговор. Это меня удивило. Как Числобог мог стать королем времени? Он собирает подписи своих первых подданных? [Собственно королем государства времени был я. У меня есть даже подписи моих первых подданных...] Легкий вздох вырвался вслед навсегда исчезнувшей Подаге.



Вера Хлебникова.
Девушка с лебедем.
1918 (?)

Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи земли кружились кругом большого. Что ж, от этого Подага не вернется. И даже лай ее гончих становится все тише и тише. Я стал думать про власть чисел земного шара. Еще уравнение вздохов, потом уравнение смерти. И всё.

На этом государстве не будет алой крови, а только голубая кровь неба. Даже среди животных различают виды не только по внешнему виду, но и по нравам. Да, мы искусные и опасные враги и не скрываем этого. [Мы настолько отделились от людей, что имеем право начать войну со всем человечеством.]

Я был у озера среди сосен. Вдруг Лада на белоструйном лебеде с его гордым черным клювом подплыла ко мне и сказала:

— Вот Числобог, он купается.

Я посмотрел в озеро и увидел высокого человека с темной бородкой, с синими глазами, в белой рубахе и в серой шляпе с широкими полями.

— Так вот кто Числобог,— протянул я разочарованно.— Я думал, <кто-то> другой!

— Здравствуй же, старый приятель по зеркалу,— сказал я, протягивая мокрые пальцы.

Но тень отдернула руку и сказала:

— Не я твое отражение, а ты мое.

Я понял это и быстрыми шагами удалился в лес. Море призраков снова окружило меня. Я этим не смущался. Я знал, что $\sqrt{-1}$ нисколько не менее вещественно, чем 1; там, где есть 1, 2, 3, 4, там есть и —1, и —2, —3, и $\sqrt{-1}$, и $\sqrt{-2}$, и $\sqrt{-3}$. Где есть один человек и другой, естественный ряд чисел людей, там, конечно, есть и $\sqrt{-}$человека, и $\sqrt{-2}$ людей и $\sqrt{-3}$ людей и m — людей = $\sqrt{-m}$ людей. Я сейчас, окруженный призраками, был 1 = $\sqrt{-}$человека.

Пора научить людей извлекать вторичные корни из себя и из отрицательных людей. Пусть несколько искр больших искусств упадет в умы современников [дикарей земного шара]. А очаровательные искусства дробей, постигаемые внутренним опытом!

. . . .

[Я вынул записную книжку и начал читать стихи:]

Жерлянки, жабы, журавика окружали каменный желоб, где журчал ручей.

Гуж гор гудел голосами грохота гроз в глухом глупце. Глыбы, гальки, глины, гуд и гул.

Зелено-звонкий змей зыби — зверь зеркал — зой зема — зоя звезд. И звука зов и зев. Зев зорь зияет зоем зова звезд. Над зеркалом зеленых злаков — зрачков зеленых зема — змея звука звонких звезд.

Но плавал плот пленных палачей на пламени по́лого поля — пустыне пузыристых пазух и пуз на пенистом пазе пещерного прага пустот — пружинистой пяткой полуночных песен и плясок. Пищали пены пестро-пегой пастью и пули пузырей пучины печи пламенеющей. Их пестует опаска праздных прагов — еще прыжок пучинной пятки перинных пальцев прыжок прожег пружинистую пасть пены у пещер. О, певуче-пегие племена!

. . . .

На большом заборе около моря было напечатано: «В близком будущем открывается государство времени».

Каменные рабы, стоя на шахматном чертеже, охватывавшем часть моря и суши, разрушали друг друга, руководимые беспроволокой, уснащенные башнями вращающихся пушек, огненной горечью, подземными и надземными жалами. Это были большие сложные рабы, требовавшие и количественного, и качественного творчества, выше колоколен, крайне дорогие, с сложными цветками голов. Невидимые удары на проволоке воли полководцев руководили действиями железного, от почки до мозга, воина. Их было 32, которые не имели права встать на чужую клетку, не разрушив всеми силами стоявшего на ней противника. Их было 32, выше колоколен каменных рабов. Надев на локоть щит земного шара, можно было спастись от ударов. <Победитель в состязании уносил право победителя его пославшему народу.>

6 июля 1916

* * *

Мы взяли $\sqrt{-1}$ и сели в нем за стол. Наш Ходнырлет был глыбой стекла, мысли и железа,— летавшей, бегавшей, нырявшей.

Колеса, плоскости, винты. То, что было видно в окно Нырлетскача, печаталось светописью очень удачно и скоро. Мы занимались тем, что изучали снимки. Вот лица провожающих. Вот ласточек стая. А <вот> чайки, пена, вода, рыбы.

Мы в море, под водой, и слушали хихикание недруга на другой стороне земного шара.

Я переделывал статью в далекий город и медленно выбирал слова. Я задумался. Военные столетия проходили передо мной.

<1916>

* * *

Никто не будет отрицать того, что я ношу на моем мизинце ваш Земной Шар.

Так как я человек мирный, то я предаюсь переделке крылатого слова «секим башка» в не менее крылатое «секим усы» и холодно созерцаю голосование пушечными выстрелами и подачу избирательных записок посредством направленного в небо ружейного боя. В небо трудно промахнуться, и оно хороший сосуд для сбора записок. Это борются казаки и «нехорошие люди» — большаки. Я думаю о страшном проломе крепости, когда с нападавшей стороны было выведено из строя только два человека, а сонные осаждаемые, воскликнув: «Ванька, там пуляют!» — новый военный клич — схватились за ружья и успешно отразили ночное нападение.

[Но всё же один мертвец получил рану в щеку, пока колесница смерти — простой сгорбленный извозчик с белым знаменем, с положенным поперек дрожек гробом,— перевозила его, недавно смеявшегося среди нас, в город мертвых.]

«Птиу!» — поют над вами пули, когда вы выглядываете из дверей. Мелькают юноши с белыми повязками на руке, в красных дубленых полушубках, с желтой полосой на штанах, и их лица оживляют пустынные улицы. А один врач четверть часа просидел на снегу, выглядывая из-под ворот, обстрелянный из-за забора, после того как он неудачно зажег спичку и окликнул: «Кто тут?» Он простудился. Воинственный священник с желтой полоской подвига в петлице носился по улицам и, высокий и русый, сжимал в руках огнестрельное оружие.

[Это была игра, забава людей из окопов, облако войны, принесенное ими сюда,— я знал, что один черкес, поссорившись и выскакивая из духана, оставляет больше трупов, чем эта дневная война. Впрочем, здесь же два соперника делили шкуру медведя, и два воина плясали над трупом обывателя.]

Я знал, что скоро они помирятся. Тем более, что в большие белые стены города стучала третья гостья — чума. «Разрешите войти!» — уже в третий раз раздавался ее голос. Впрочем, вам достаточно есть мясо сусликов, чтобы не заболеть ею. Татары, большевики и часть пленных засели в крепости, и два собора — русский и армянский — получили на колокольню черное гнездо пулеметов. По ночам они обменивались настойчивыми выстрелами, глухо повторяемыми каменными зеркалами города. Город впал во мрак. Железные пути пожелтели от ржавчины, и гласные думы собирались в здании окружного суда пополоскать клювы в воде думских речей.

Зато ночью город был прекрасен. Мертвая тишина, как в мусульманских селеньях, пустынные улицы и черные яркие зори неба. Я был без освещения после того, как проволока накаливания проплясала свою пляску смерти и тихо <умерла> у меня на глазах. Я выдумал новое освещение: я взял «Искушение святого Антония» Флобера и прочитал его всего, зажигая одну страницу и при ее свете прочитывая другую; множество имен, множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая одни струны, оставляя в покое другие, и потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в черный шуршащий пепел. Сделав это, я понял, что я должен был так поступить. Я утопал в едком белом дыму, [носящемся] над жертвой. Имена, вероисповедания горели, как сухой хворост. Волхвы, жрецы, пророки, бесователи — слабый улов и невод слов тысяч [человеческого рода, его волн и размеров] — все были связаны хворостом в руках жестокого жреца.

Меня удивило, что Диана хотела утопать в испарениях и грезах.

Я тихо радовался, что Будда был искусен в исчислении атомов.

И всё это — в дни, когда сумасшедшие грезы шагнули в черту города, когда пахарь и степной всадник дрались из-за мертвого обывателя, и из весеннего устья Волги несся хохот Пугачева,— стало черным высокопоучительным пеплом третьей черной розы. Имя Иисуса Христа, имя Магомета и Будды трепетало в огне, как руно овцы, принесенной мной в жертву 1918 году. Как гальки в прозрачной волне, перекатывались эти стертые имена людских грез и быта в мерной речи Флобера.

Едкий дым стоял вокруг меня. Стало легко и свободно.

Это было 26 января 1918 года.

Я долго старался не замечать этой книги, но она, полная таинственного звука, скромно забралась на стол и, к моему ужасу, долго не сходила с него, спрятанная другими вещами. Только обратив ее в пепел и вдруг получив внутреннюю свободу, я понял, что это был мой какой-то враг.

Я вспомнил про особые чары вещей, как некоторые вещи дóроги и полны говора чего-то близкого нам и потом в свой срок сразу вянут и умирают и делаются пустыми.

Я решил, что они звучат незаметно для разума.

Это так: они полны таинственного звука, вызывающего ответные дрожания в нас самих.

А недавно, за два дня перед этим, я гордился своим черепом человека, сравнивая с ним череп с костянистым гребнем и свирепыми зубами шимпанзе. Я был полон видовой гордости. У вас она есть?

1918

<ОКТЯБРЬ НА НЕВЕ>

Ранней весной 1917 я и Петников садились на московский поезд.

> Только мы, свернув ваши три года войны в один завиток грозной трубы, поем и кричим, поем и кричим, пьяные дерзостью той истины, что Правительство Земного Шара уже существует. Оно — Мы.
>
> Только мы нацепили на свои лбы неувядаемые венки Председателей Земного Шара, неумолимые в своей загорелой дерзости, мы — обжигатели сырых глин человечества в кувшины времени и балакири, мы, зачинатели охоты за душами людей...
>
> Какие наглецы! — скажут некоторые.— Нет, они святые! — возразят другие. Но мы улыбнемся и покажем на солнце: поволоките его на веревке для собак, судите его вашим судом судомоек — если хотите — за то, что оно вложило эти слова и дало эти гневные взоры. Виновник — оно.
>
> Правительство Земного Шара — такие-то.

Этим воззванием был начат поэтический год, и с ним в руках два самозванных Председателя Земного Шара вечером садились на поезд Харьков — Москва, полные лучших надежд.

Нашей задачей в Петрограде было удлинить список Председателей, открыв род охоты за подписями, и скоро в список вошли очень хорошо отнесшиеся члены китайского посольства Тин-Эли и Янь-Юй-Кай, молодой абиссинец Али-Серар, писатели Евреинов, Зенкевич, Маяковский, Кузмин, Каменский, Асеев, Брик, Пастернак, Спасский; художники Бурлюк, Малевич, Куфтин, Синякова; летчики Богородский, Г.Кузьмин, Михайлов, Муромцев, Зигмунд; <композитор> Прокофьев; американцы Крауфорд, Виллер и Девис; и многие другие.

ВѢСТНИКЪ ПРЕДСѢДАТЕЛЕЙ ЗЕМНОГО ШАРА.

Общество быстро развивается и крѣпнетъ. Изъ новыхъ членовъ слѣдуетъ указать Али-Серара посла Абиссиніи (Джути, Али-Серару), мистера **Дэвиса** и мистера **Виллеръ** изъ Америки (Нью Іоркъ, Союзъ весовыхъ юношей). Сп. **Перлинги** изъ Греціи, **Маяковскаго, Василиска Гнѣдова, Рославца, Малевича, Бурлюка, Гольшмидта, Зимацкаго, Г. Кузьмина, П. Петровскаго, Якулова, Дзигановскую, Михайлова** и др. Всѣ они на разныхъ языкахъ любезно дали свои подписи. Особенно живописна абиссинская подпись Али Серара.

Правительство Земного Шара запросило сіамскаго посла, согласенъ ли народъ, представляемый имъ, имѣть общія морскія государственныя очертанія вмѣстѣ съ Соединенными Штатами Сѣверной Азіи. Отвѣтъ еще не полученъ. Но будетъ Правительство Земного Шара твердо смотритъ въ свое будущее, и находится въ расцвѣтѣ своихъ силъ.

Каждый предсѣдатель имѣетъ право издать очередный „Временникъ" тамъ гдѣ онъ находится. Получено письмо съ Марса.

Тэозо Моорита (Токіо Іоэги, 540) находится въ оживленной переспискѣ съ предсѣдателями и проситъ сообщить адресъ Бориса Зайцева. Кто знаетъ?

Издательство „Василиск и Ольга."

Рождественскій бул., д. 15, кв. 19.

Цѣна 1 рубль

Объявление в сб. «Временник 4».
1918

На празднике искусств 25 мая знамя Председателей Земного Шара, впервые поднятое рукой человека, развевалось на передовом грузовике. Мы далеко обогнали шествие. Так на болотистой почве Невы было впервые водружено знамя Председателей Земного Шара.

В однодневной газете «Заем Свободы» Правительство Земного Шара обнародовало стихи:

Вчера я молвил: гулля, гулля!
И войны прилетели и клевали
Из рук моих зерно.

Это было сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном пехотном полку, отгороженном забором из колючей проволоки от остальных людей,— по ночам мы толпились у ограды и через кладбище — через огни города мертвых — смотрели на дальние огни города живых, далекий Саратов,— я испытывал настоящий голод пространства и на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими Мир, Весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков — Киев — Петроград. Зачем? я сам не знаю.

Весну я встретил на вершине цветущей черемухи, на самой верхушке дерева, около Харькова.

Между двумя парами глаз была протянута занавеска цветов. Каждое движение веток осыпало меня цветами. Позже звездное небо одной ночи я наблюдал с высоты несущегося поезда; подумав немного, я беспечно заснул, завернувшись в серый плащ саратовского пехотинца. На этот раз мы, жители верхней палубы, были усеяны черной черемухой паровозного дыма, и когда поезд остановился почему-то в пустом поле, все бросились к реке мыться, а вместо полотенца срывали листья деревьев Украины.

— Ну, какой теперь Петроград? Теперь — Ветроград! — шутили в поезде, когда осенью вернулись к Неве.

Я основался в селе Смоленском, где по ночам на таинственных поездах с погашенными огнями ездили «ходи», шатры вооруженных цыган были раскинуты в болотистом поле и вечно сиял огнями дом сумасшедших. Мой спутник, Петровский, большой знаток привидений, обратил мое внимание на одно деревцо — черную настороженную березку, стоявшую за забором.

Оно чутко трепетало листами от малейшего ветра. На золотистом закате каждый лепесток дерева выделялся особенно зловеще. Оно, такое, какое оно есть, настойчиво приходило к нему во сне каждую ночь. Петровский начал относиться к нему с суеверным вниманием. Позднее он открыл, что береза растет над мертвецкой, где хранились до вскрытия тела убитых. Это было уже в самый разгар событий. Мы жили у рабочего Морева, и у него, как и у многих жителей окраины, в это время хранились куски свинца для отлива пуль — «так, на всякий случай».

Под грозные раскаты в Царском Селе прошел день рождения. Когда по ночам, возвращаясь домой, я проходил мимо города сумасшедших, я всегда вспоминал виденного во время службы безумного рядового Лысака и его быстрый шепот:

— Правда е, правда не, правда есть, правда не.

Всё быстрее и быстрее делался его учащенный шепот, тише и тише, безумный прятался под одеяло, уходил в него с подбородком, скрываясь от кого-то, сверкая только глазами, но продолжая шептать нечеловечески быстро. Потом он медленно подымался и садился на постель; он застывал на корточках, с круглыми, как у ястреба, глазами, желтея ими, и вдруг выпрямлялся во весь рост и, потрясая свою кровать, звал «правду!» бешеным, разносившимся по всему зданию голосом, от которого дрожали окна.

— Где правда? Приведите сюда правду! Подайте правду!

Потом он садился и, с длинными жесткими усами и круглыми глазами желтого цвета, тушил искры пожара, которого не было, и ловил их руками. Тогда сбегались служители.

Это были записки из мертвого поля, зарницы отдаленного поля смерти — на рубеже столетий. Силач, он походил на пророка на больничной койке.

В Петрограде мы вместе встречались — я, Петников, Петровский, Лурье, иногда забегал Ивнев и другие Председатели.

— Слушайте, друзья мои. Вот что: мы не ошибались, когда нам казалось, что у чудовища войны остался один только глаз и что нужно только обуглить бревно, отточить его и общими силами ослепить войну, а пока прятаться в руне овец. Прав ли я, когда говорю так? Правду ли говорю я?

— Правильно,— был ответ. Было решено ослепить войну. Правительство Земного Шара выпустило короткий листок: подписи Председателей Земного Шара на белом листе, больше ничего. Это был его первый шаг.

«Мертвые! идите к нам и вмешайтесь в битву. Живые устали,— гремел чей-то голос.— Пусть в одной сече смешаются живые и мертвые! Мертвые, встаньте из могил».

В эти дни странной гордостью звучало слово «большевичка», и скоро стало ясно, что сумерки «сегодня» скоро будут прорезаны выстрелами.

Петровский, в черной громадной папахе, с исхудалым прозрачным лицом, улыбался загадочно.

— Чуешь? — коротко спрашивал он, когда внезапно грохотала при нашем проходе водосточная труба.

— Что воно случилось, никак в толк не возьму,— проговорил он и стал загадочно набивать трубку с тем видом, который ясно говорил, что дальше не то еще будет.

Он был настроен зловеще.

Позднее, когда Керенский был накануне свержения, я слышал удивленный отзыв:

— Всего девять месяцев пробыл, а так вкоренился, что пришлось ядрами выбивать.

Что он ждет? Есть ли человек, которому он не был бы смешон и жалок?

В Мариинском дворце в это время заседало Временное правительство, и мы однажды послали туда письмо:

«Здесь. Мариинский дворец. Временное правительство.

Всем! Всем! Всем!

Правительство Земного Шара на заседании своем 22 октября постановило: 1) считать Временное правительство временно не существующим, а главнонасекомствующего Александра Федоровича Керенского находящимся под строгим арестом.

«Как тяжело пожатье каменной десницы».

Председатели Земного Шара — Петников, Ивнев, Лурье, Петровский, Я — «Статуя командора».

В другой раз послали такое письмо:

«Здесь. Зимний дворец. Александре Федоровне Керенской.

Всем! всем! всем!

Как? Вы еще не знаете, что Правительство Земного Шара уже существует? Нет, вы не знаете, что оно существует.

Правительство Земного Шара (подписи)».

Однажды мы собрались вместе и, сгорая от нетерпения, решили звонить в Зимний дворец.

— Зимний дворец? Будьте добры соединить с Зимним дворцом.

— Зимний дворец? Это артель ломовых извозчиков.

— Что угодно? — холодный, вежливый, но невеселый голос.

— Артель грузовых извозчиков просит сообщить, как скоро выедут жильцы из Зимнего дворца?

— Что? Что?

— ...выедут обитатели Зимнего дворца.

— А! Больше ничего? — слышится кислая улыбка.

— Ничего!

Слышно, что кто-то хохочет у другого конца проволоки.

Я и Петников тоже хохочем у этого конца.

Из соседней комнаты выглядывает чье-то растерянное лицо.

Через два дня заговорили пушки.

В Мариинском в это время ставили «Дон Жуана», и почему-то в театре видели Керенского; я помню, как в противоположном ярусе лож все вздрогнули и насторожились, когда кто-то из нас наклонил голову, кивая в знак согласия Дон Жуану раньше, чем это успел сделать командор.

Через несколько дней «Аврора» молчаливо стояла на Неве против дворца, и длинная пушка, наведенная на него, походила на чугунный неподвижный взгляд — взор морского чудовища.

Про Керенского рассказывали, что он бежал в одежде сестры милосердия и что его храбро защищали воинственные девицы Петрограда — его последняя охрана.

Невский всё время был оживлен, полон толпы, и на нем не раздалось ни одного выстрела.

У разведенных мостов горели костры, охраняемые сторожами в широких тулупах, в козлы были составлены ружья, и без-

звучно проходили черные густые ряды моряков, неразличимых ночью. Только видно было, как колебались ластовицы. Утром узнавали, как одно за другим брались военные училища. Но население столицы было вне этой борьбы.

Совсем не так было в Москве; там мы выдержали недельную осаду. Ночевали, сидя за столом, положив голову на руки, на Казанском, днем попадали под обстрел и на Трубной, и на Мясницкой.

Другие части города были совсем оцеплены.

Всё же, несколько раз остановленный и обысканный, я однажды прошел по Садовой всю Москву поздней ночью.

Глубокая тьма изредка освещалась проезжими броневиками; время от времени слышались выстрелы.

И вот перемирие заключено.

Вырвались. Пушки молчат. Мы бросились в голоде улиц, походя на детей, радующихся снегу, смотреть на морозные звезды простреленных окон, на снежные цветы мелких трещин кругом следа пуль, шагать по прозрачным, как лед, плитам стекла, покрывавшим Тверскую,— удовольствие этих первых часов, собирая около стен скорченные пули, скрюченные, точно тела сгоревших на пожаре бабочек.

Видели черные раны дымящихся стен.

В одной лавке видели прекрасную серую кошку. Через толстое стекло она, мяукая, здоровалась с людьми, заклиная выпустить; долго же она пробыла в одиночном заключении.

Мы хотели всему дать имена. Несмотря на чугунную ругань, брошенную в город Воробьевыми горами, город был цел.

Я особенно любил Замоскворечье и три заводских трубы, точно свечи твердой рукой зажженные здесь, чугунный мост и воронье на льду.

Но над всем<и> золотым<и> купол<ами> господствует выходящий из громадной руки светильник трех заводских труб, железная лестница ведет на вершину их, по ней иногда подымается человек, священник свечей перед лицом из седой заводской копоти.

Кто он, это лицо? Друг или враг? Дымописанный лоб, висящий над городом и обвитый бородой облаков? И не новая ли

черноокая Гурриэт-эль-айн посвящает свои шелковистые чудные волосы тому пламени, на котором будет сожжена, проповедуя равенство и равноправие?

Мы еще не знаем, мы только смотрим.

Но эти новые свечи неведомому владыке господствуют над старым храмом.

Здесь же я впервые перелистал страницы книги мертвых, когда видел вереницу родных у садика Ломоносова в длинной очереди в целую улицу, толпившихся у входа в хранилище мертвых.

Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти.

1918

ЕСИР

Недалеко от черты прибоя, на полудиком острове Кулалы, вытянутом в виде полумесяца, среди покрытых травой песчаных наносов, где бродил табун одичавших коней, стояла рыбацкая хижина. Сложенные паруса и весла указывали, что это был стан морских ловцов. Здесь жил ловец Истома и его отец, высокий, загорелый великан с первой сединой в бороде. Зимой они громили тюленей и, увидев зверя, когда он, похожий на человека, выстал в море и смотрел любопытными глазами, бросали в него копье с подвижным кокотом.

Теперь они собирались в весеннюю путину и то подымались, то спускались из избушки на сваях около старой ивы; с веток ее падали морские сети, а около корней стояла смола. Заплаты, свежеположенные на парус, заново черная от смолы бударка, солнце, сверкающее на волнах и на смоляных боках лодки, громадная белуга, лежавшая на лодке, свесив на землю свою махалку, орланы-белохвосты, сидевшие на отмели, другой — черной точкой сидел на верхушке песчаного обрыва, и тучи уток со свистом падали откуда-то сверху на то подымавшееся, то опускавшееся море,— вот что было вокруг.

Рано утром лодка весело побежала в город, охваченный тогда славой Разина. Полотняное небо паруса шумело над ловцами, и мир делался тесен и близок.

Трава, в которой свободно скроется верблюд, с обеих сторон склонялась над водой. Здесь они увидели лодку; охотник правил одним веслом; лицо его было настолько искусано мошками, что казалось изуродованным оспой. Он почти не видел; мертвый кабан лежал на лодке.

Сонные черепахи удивленно подымали свои головы или прыгали в воду, а в воде проворно скользили красно-золотистые ужи. Иногда их было так много, что казалось, бесчисленные травы волнуются течением.

Под шум согнутого паруса быстро скользила ловецкая лодка. Она пристала на Кутуме и там, где стояли старые ивы, покрытые рыжим ивовым волосом, отчего они походили на поставленных на голову людей, а прозрачные ветви были одеты гнездами цапель, бросила в песок тяжелую кошку.

Ловцы вышли на берег.

Мимо Кремля, через Белый город и Житный город, проходя то Вознесенскими, то Кабацкими воротами, ловцы, сгибаясь от осетра, положенного на плечи, пошли мимо рядов с ловецкой сбруей, к знакомому старообрядцу-помору.

В одном месте их остановило стадо красного степного скота. Конные пастухи гнали их по узким улицам, и их кривые рога теснились, как речные волны. В самую гущу их врезалась тяжелая телега с зеленовато-белыми телами осетров. Там степняк ехал на стонавшем верблюде, здесь на белых украинских волах — чумаки.

У берега стояли суда с парусами из серебряной парчи и около них живописные женщины Востока. Вольные сыны Дона, в драгоценных венках, усыпанных крупным жемчугом, и серебряных зипунах там и здесь мелькали на улицах.

Черноглазые казачки в вышитых сорочках стояли около глиняных плетней и широко улыбались всему миру; в черных покрывалах проходили татарки. Закутанные в белое, на верблюдах проезжали степные женщины.

Старик-помор встретил их на пороге своей землянки, обнесенной забором из соломы и грязи. Так, спасаясь от зноя и пожаров, жили русские того времени.

Когда они спустились по ступенькам вниз, от темноты они ничего не могли некоторое время увидеть, но потом заметили земляные лавки, покрытые восточными коврами, и несколько тяжелых кубков на столе.

Дородная, немного тучная женщина вышла навстречу гостям. Ее лицо было покрыто сетью мелких морщин и было старчески

миловидно. В красном углу сидел гость — индус. Что-то прозрачное в черных глазах и длинные черные волосы, загибаясь, падавшие на плечи, давали ему вид чужестранца. Он рассказал новости, привезенные недавно из Индии, некогда столь кроткой, что она самому небу жертвовала только цветы. Как опора и надежда браминов, Саваджи восстал против коварного Ауренгзиппа, быстро основав государство маратхов. И как, с другой стороны, среди яростной борьбы поклонников Вишну и поклонников Магомета разливается кроткое учение гуру (учителей) Нанака и Кабира; как проповедующие общее братство и равенство для всех людей сикхи (ученики) выбрали своим пророком сначала Говинда, а потом Тег Бахадура. И как преследует сикхов вероломный Ауренгзипп, не брезгуя ни ядом, ни наемным убийцей, и как в Китае недавно кончилось восстание Чанг-Гиентшонга, и как дух свободы пылает над всем миром.

Рассказывал и про Галай-гала-яму индусов. Гневно рассказывал про Китай, как там бедняк за полтинник, врученный его семье, соглашается идти на казнь вместо другого и кладет на доску свою морщинистую шею и покрытую седой косой голову, как там нельзя найти земли величиной с ладонь, которая бы не была покрыта колосьями; как человек возделывает такие неприступные высоты, что, казалось, у него должны были бы быть крылья, чтобы залететь туда, а собирая морскую капусту, человек приступает к возделыванию пространств моря.

И многое другое рассказал индус; глубокой ночью разошлись спать.

Истома заснул, думая о пленнике, брошенном в яму, по лицу которого ползает жаба; о правителях, которым приносят корзины вырванных глаз; о правителях, зашивающих рты слишком говорливым и разрезывающих рот слишком молчаливым; о казни глотанием песка до смерти. Утром Истома двинулся на рынок.

Он пересек шествие; большое знамя, на котором был изображен положенный на костер кабан, развевалось впереди отряда. Всадники в черных бурках, на сухопарых злых конях ехали за ним. Мелькали их черные шапки с малиновым верхом.

Это был Зажарский стрелецкий полк. В толпе же чаще и чаще слышалось имя Разина.

Взволнованные люди входили и выходили через все семь ворот Белого города: Мочаговские, Решеточные, Вознесенские, Проломные, Кабацкие, Агарянские, Староисадские.

Здесь он снова встретил индуса Кришнамурти.

Кришнамурти с раннего утра ушел за город, где зеленые сады застыли над тихими речками, и остановился в немом изумлении.

— Аум,— тихо прошептал он, наклоняясь над колосом синих цветков.

— Что? Дивуешься божьему миру? Дивуйся, дивуйся! — произнес за его плечами голос древнего старика.

В лаптях, в синих портах и белой рубашке, он стоял, опираясь на палку, ветхий и столетний. Лебедь времени, Кала-Гамза, трепетал над ним, над его седыми кудрями. Он был стар. Оба поняли друг друга. Потом Кришнамурти взял с собой мальчика и пошел с ним кормить диких бесприютных собак.

Он пошел на рынок у Кабацких ворот.

Здесь на открытых столах гуляла повольница. Слышались отрывочные слова, восклицания:

— Друг, иди сюда! Тяжко мясу без мяса! Тяжко другу без друга, как соловью без луга.

— На, пей! Веселись, душа!

Смуглые воины пировали под открытым небом.

— Слушай: видела жаба, как коня куют, протянула и свою ногу: «Куй, кузнец!» Так и ты, друг,— воскликнул смуглый, почти черный человек, ударяя смуглой рукой по столу. Вокруг нее, точно веревки, вились тугие жилы, изобличая в нем силача-воина.

— Э! Рыбу водой не поят. Дыня или тыква? — Хохот покрыл слова говорившего.

В это время резкий стон прорезал многоголосый говор толпы.

Это проходил среди толпы высокий малый в белой рубашке и зипуне ярко-красного цвета. В руках у него был дикий лебедь, связанный в крыльях тугими веревками.

— Лебедь, живой лебедь!

Казалось, его никто не слышал.

Индус не принадлежал к расколу Шветамбара, требовавшему от учеников ходить нагими, быть «одетыми в солнце», но его вера требовала делать добрые дела всем живым существам, без изъятья,— ведь в лебедя могла переселиться душа его отца. Он решил освободить прекрасного пленника.

Там, на крутом берегу Волги, развязал брамин дикую птицу, и скоро та в последний раз блеснула в синеве белой серебряной точкой.

А брамин по-прежнему стоял над темной водой.

О чем он думал?

Как ежегодно привозят верблюды священную воду Ганга?

И как, будто среди молитвенных голосов, совершается обряд свадьбы двух рек, когда из длинногорлого тяжелого кувшина рукой жреца вода Ганга проливается в темные воды Волги — Северной невесты!

Истома его догнал.

— Это что — лебедя освободить! Нет, ты дай свободу всему народу,— сказал он.

Индус молчал. Он думал, как далекий гуру из Индии руководит его разумом здесь. И вдруг, повернувшись, сказал: «Ты увидишь мою родину», — и после повернулся и ушел, залитый лучами солнца, в темно-зеленом халате.

А Истома размышлял, думая о его речах и думая о ползавшем на руке муравье: «Кто этот муравей? Воин? Полководец? Великий учитель своего народа? Мудрец?»

А около тихо плескалась Волга-невеста.

На другой день ловцы, справив рыбацкую сбрую и распрощавшись с милым старообрядцем, двинулись в обратный путь.

Дорогой они встречали расположенные в виде узких полозьев челны, на которых высился громадный воз хвороста; видели бударку, в которую, как первобытный парус, была воткнута густая зеленая береза. И ветер вез лодку с ее зеленым парусом. Бабы-птицы поодаль тянули свою тоню, и в их огромных клювах-мешках бились еще живые рыбы. Видели охотника, надевшего тыкву на голову и хватавшего за ноги живых уток.

Когда стемнело, вышли на берег вечерять и разложили костры.

Долго за полночь шла беседа про страшную «чуму сетей», когда вдруг на огромном расстоянии в одни сутки гибнут все сети, захворавшие болезнью сетей, особой водорослью; про страшные сны, когда не человек жарит осетров, а осетр раскладывает костер и жарит пойманного человека. Небо Лебедии сияло своими зеленоватыми звездами; Волга, журча, вливалась в море тысячью мелких ручьев. Черни были охвачены тишиной и сном. Просыпаясь утром, Истома с удивлением заметил странные кусты около лодки.

Вдруг кусты зашевелились, и голые, покрытые маслом люди, сбрасывая с себя ветки, бросились к ним.

«Есир!» — пронесся в воздухе несколько раз воинственный крик.

В то же время лодка была занята другими; они, быстро работая веслами, отплыли от берега. Истома был оглушен сильным ударом кулака. Он помнил над собой лицо, лишенное, как ему показалось, носа, плоское, как доска.

Когда Истома очнулся, он был связан по рукам и ногам и окружен вооруженными степными всадниками, составившими совет.

Среди горок камней, золы и человеческих костей был расположен степной аул. Древние зеленые изразцы лежали среди песка и пепла сожженных на костре человеческих костей. Редкие травы трепетали широкими кистями, да одинокий жаворонок резвой рысью бежал по песчаным волнам пустыни.

Вот он остановился и сел на синем обломке кувшина. Здесь была Золотая Орда, и лишь обломки башни темно-синего полива да старинный камень с татарскими письменами напоминали об этом.

Да змея бесшумно скользила около надписи: «Нет бога, кроме бога», а черноволосая девушка этих мест ходила с медной деньгой, вплетенной в косу. И надпись древнего хана: «Я был — мое имя высоко» — тонула в черном шелку ее кос.

Вот она зажгла костер и села на землю, раздумывая про Сюмер-Улу, срединную гору мира, где сходятся души мертвых предков пить молоко кобылиц.

Старый калмык пил бозо — черную водку калмыков.

Вот он совершил возлияние богу степей и пролил жертвенную водку в священную чашу.

— Пусть меня милует Чингиз-богдо-хан,— важно проговорил он, опустив голову.

Великий Чингиз казался ему беспечным богом войны, надевшим как-то раз на плечи одеяние человеческой судьбы. Любимец степной песни, он и до сих пор живет в степи, и слова славы ему сливаются со степным ветром.

Первую чашку он плеснул в огонь, вторую — в небо, третью — на порог. И бог пламени Окын-Тенгри принял жертву. Тысяча рук окружала его. Окруженный заревом, он выскочил из пламени, и с невыносимым для смертного уха звуком залязгали, застучали и запрыгали одна о другую его красные челюсти, а белые мертвые глаза страшно уставились на смертного. Зарево тысячи рук окружило его. Словно черным парусом белое море, свирепые зрачки косо пересекали глаза. Страшные белые глаза подымались к бровям головой мертвого, повешенной за косу. Удар ветра, и он исчез, и вновь из костра выступил черный котел, сменив багрового духа.

Коку, его дочь, подошла к нему. Ее косы, завернутые в шелковые чехлы, падали ей на грудь.

Вот она повернула голову, и вся миловидность Китая сказалась на темном лице; сквозь черный загар выступала степная алая кровь, живые глаза сверкали, как два черных месяца, умом и радостью. Малиновая, шитая золотом, шапочка была у ней на голове.

Она помнила, что девушка должна быть чистой, как рыбья чешуя, и тихой, как степной дым, и бесшумно села на землю в своих черных шароварах.

И снова лицо ее, как пламенеющий уголь, склонилось над землей.

А калмык грезил.

Он мысленно садится на коня, на аршин быстрее мысли, и скачет в великой охоте Чингиза; в ней участвовали все покоренные Чингизом народы, и почти вся Средняя Азия была охваче-

Вера Хлебникова.
Калмычка в национальном костюме.
1918 (?)

на кольцом великой облавы. Здесь несется ветроногий табун диких коней, там падает вилорогий первобытный бык, а здесь тетива лука вышиной с человеческий рост посылает стрелу в курчавого красного теленка. Полунагие наездницы с дикими криками проносятся по степи, и там и здесь звенят тетивы.

Старый калмык выпил еще чашку бозо, когда всадник с орлом на руке подъехал к нему. Он сообщил про приближающегося киргиза с невольником, и они вдвоем выехали к нему навстречу. Кони бодро переехали небольшую речку.

Утренние голые люди, обмазанные для борьбы жиром тюленя, были теперь одеты и громко обсуждали что-то. На Истому надели мешок для муки, сделав дыры для рук и головы, и, посадив его на седло и связав ноги, все поскакали в кочевье.

Там к нему подошел старик и коротко сказал: «Моя есир». Истома знал все страшное значение этого слова. Вихорь и огонь удара плети перевели слово.

Вечером они двинулись в путь.

Киргиз нараспев пел «Кудатку-Билик». Истома бежал за Ахметом. В белой войлочной шляпе, в разноцветном халате Ахмет покачивался на седле и помахивал плетью, забыв, казалось, про пленника.

Степной неук бежал легкой рысью. Истома со связанными руками бежал сзади.

От частых, похожих на песню бея, ударов хвоста глаза почти ослепли и ничего не видели. Полотно рубашки лопнуло и разрывалось, спустившись на связанные руки и шею. Слепни и оводы, густо усевшись на теле, зеленой сеткой своих жадных зеленых глаз покрывали плечи. Другие тучей вились около. Тело распухло от укусов, жары и зноя. Ноги были в запекшейся крови. От штанов осталась рваная полоса.

Когда они доехали до орды, стая черномазых детей окружила его, но киргиз отогнал их, подняв плеть. Что-то вроде жалости показалось на медном лице. Покачал головой и ослабил веревки; дал молока и первый раз сказал: «ашай». Добрая старуха протянула ему черпак воды, и он выпил, как дар неба. Здесь Ахмет за 13 рублей продал своего невольника. Новый купец

был много добрее. С этого времени жить стало лучше. Его повели купаться. Дали кумачовую рубашку. «Якши рус»,— сказал Ахмет, любуясь им. Три дня он отдыхал в духане.

Старик-горец беседовал с ним и делил с ним свой кусок сыра, лечил его ноги.

Когда он сидел на земле в своей широкой бурке, а стриженый череп подымался над буркой, как горный ястреб, Истоме делалось легче. Ему казалось, что рядом такой же невольник, как и он.

Скоро их догнал большой караван рабов, где были грузины, шведы, татары, русские, один англичанин. Тогда из русских невольников набиралась личная охрана отборных полков как китайского богдыхана, так и турецкого султана, и великого могола в Индии. Скоро караван снова двинулся, и верблюды забряцали бубенчиками.

Дорога шла голой песчаной степью, где только жаворонки и ящерицы бегали среди кустов, да изредка подымался огненоокий, издали похожий на волка, степной филин и с трудом уносил схваченного могучей лапой зайчонка. Истома шагал за своим верблюдом по белым солончакам и бесконечному песку. В одном караване с ним была <полька> Ядвига. У ней были длинные золотистые волосы, а в голубых глазах вечно смеялась и дразнила русалка — ресниц голубая русалка.

Для нее между горбами верблюда, похожими на песчаные холмы, покрытые кустами ковыля, был сделан особый шатер. С ног до головы она была одета в белое покрывало.

— Як на море! Совсем як на море! — восклицала она иногда и высовывала из шатра ручку.

Иногда она расспрашивала про пашу: «Вин какой? Чи он седой? Чи он грозный?»

И задумывалась.

И когда венок обвил ее голову, она вдруг сделалась хорошенькой русалкой, зачем-то сидевшей на верблюде.

Синеглазая, златоволосая, закутанная в складки полупрозрачного полотна.

Думает ли она о празднике Ярилы или о празднике весенней Ляли? Но вот большая бабочка, увлекаемая ветром, ударилась

ей о щеку, и ей кажется, что это она стучится в окошко родимого дома, бьется о морщинистое лицо матери.

— Вот такой же бабочкой прилечу и я,— шепчет она.

Между тем показались горы, и у их подножья остановились на ночь.

Отсюда они двинулись на буйволах. Это могучие быки, с вытянутыми вдоль затылка широкими рогами, с черно-синими глазами, где вечно светится пламя вражды к людям. Если на гладкой, лишенной волоса, коже там и здесь торчали редкие волоски, то лишь для того, чтобы плотнее пристала к телу рубашка степной черной грязи; с нею буйволы не расставались, спасаясь от своих мучителей — тучи оводов. Первая глиняная рубашка — ее буйволы стали носить раньше человека. Более всего они любили воду и, раз увидев ее, бросались в нее так, что были видны лишь ноздри и глаза. Так они были способны проводить целые сутки.

На черном хребте одного из них в белой рубашке персиянки и в шароварах сидела Ядвига и уж беспечно плела венки и гадала, отрывая лепестки: «Чи любит, чи нет?» Дорога шла горами. Как глаз бога, иногда сверкал над пустынными хребтами снежный утес, а иногда с высот виден был синий шар моря, какой-то небесный в своей синеве, и на нем косо скользил одинокий парус.

Мансур обращался ласково, много шутил и часто подходил поправить покрывало.

— Аллах велик,— говорил он Истоме,— хочет — я тебя купил, и я — твой господин, а захочет — и я тебе целуй-целуй руку.

В Испагани караван разделился, и больше Истома не видел Ядвиги.

С большими остановками, почти через год, Истома попал в Индию.

Его проводник Кунби был сикхом; нужно ли удивляться, что однажды Истома обратился к учителю и сказал: «Я тоже сикх».

Кунби радостно встретил новообращенного. Нужно ли удивляться, что однажды Истома и Кунби вместе бежали?

Кунби научил его спокойно выжидать в чаще тростников, когда мимо мчался, топча рощу, посланный вдогонку слон; спать на широких ветках деревьев, где только что пробежала, кривляясь, обезьяна. И скоро, как два заклинателя змей, они начали скитальческую жизнь; сонная гремучая змея спала у них в выдолбленной тыкве, в соломенной корзине; белые ручные мыши, наученные прятаться, жили в грецком орехе.

Он научился понимать сложенный из сосновых игол муравейник, когда увидел жилые горы храмов и видел медные кумиры Будды много раз больше размеров человека. Раз он увидел в пещере, в лесу, нагого отшельника; борода падала к его ногам. Уже несколько лет старик держал в руках сухой хлеб, и теперь насквозь хлеба прошли длинные извилистые ногти. Старик не менял своего положения, руки его не умели двигаться, и ногти прорастали предметы, как корни растения, белые и кривые. Был страшен его вид. «Не весь ли народ индусов перед ним?» — думал Истома. И теневые боги трепетали около него темными крыльями ночных бабочек. Мудрец мечтает уйти из области людей и всюду вытравить свой след, чтобы ни люди, ни боги не сумели его найти.

Исчезнуть, исчезнуть. Подобно своим учителям, он должен победить в себе гордое желание стать богом. И если кто-нибудь, изумленный, назовет его богом, мудрец сурово воскликнет: «Клевета!»

Беги обрядов, ведь ты не четвероног, у тебя нет копыт. Будь сам, самим собой, через самого себя углубляйся в самого себя, озаряемый умным светом.

На высоте, куда посмеет взлететь не каждый стриж, видел воздушные храмы, висевшие ласточкой над грозной пропастью. Синее море билось у подножия пропасти. Как глаз увенчивает собой тело, так же спокойно этот труд человека заканчивал дело природы, просто и строго подымаясь на недоступном утесе.

Видел храмы, множеством подземных пещер вырубленные в глубине каменной первобытной породы. Сумрак вечно царил там: местами однозвучно звенели ручьи. Пышно одетые кумиры, вытесанные из камня, толпою теснились вдоль стен и спокойной,

равной ко всему, улыбкою встречали путника по подземному храму, покрытые ручьями влаги.

Видел темные толпы слонов, вырубленных из каменной породы, поднявших свои бивни, провожая богомольца по бесконечной лестнице, ведущей на вершину отвесного утеса.

Там и здесь на выступах зданий сидели белоснежные павлины, любимые людьми, но нелюдимые. Насельники запустевших храмов, стая диких обезьян, встречала их недовольным лаем тысячи оттенков и градом брошенных орехов.

Хоботы каменных слонов тянулись вдоль дороги.

Храмы, стыдливо прячущиеся за кружевом своих стен, и храмы, несущие свою веру на вершину недоступного горного утеса, чуть ли не за облака, храмы, похожие в своем стремлении кверху на стройную женщину гор, несущую на плече кувшин воды, и храмы, стены которых сделаны синевой реки и белизной облаков, строгие лестницы в глубь неба и в глубь подземного мира,— все они напоминали, что <...>

В глубине лесных пещер пустынники, неподвижно протянувшие свои руки к небу, давшие обет не шевелиться. Пространство между ними было давно уже заткано паутиной паука. Мыши безбоязненно пробегали по их ногам, а птицы садились на седую взлохмаченную голову. Послушники кормили старцев.

И рядом поклонники мрачной богини Кали. Шелковой петлей в беззвучной глубине черных рощ, около толстых и гладких стволов, они ловили своих жертв и неслышным поворотом рычага ломали позвонки шеи в честь таинственной богини Смерти.

И рядом веры, не знающие храмов, потому что лучшая книга — белые страницы — книга природы, среди облаков, а путь рождения — смерть — лучшая молитва. Видел у ворот храма святого; он с отвращением, точно горькое лекарство, пил воду из кружки для милостыни, одетый в одежды, снятые с трупа чумного покойника. Он говорил: «Нужно плакать, когда мы рождаемся, и смеяться, когда мы умираем». Он снова закутался в свой плащ, снятый с усопших.

Около храмов видел бесноватых; с неслыханной силой они разрывали на себе веревки и пытались убежать в лес.

Каждое утро на заре Истома видел молящегося брамина; он стоял на одной ноге, приставив другую к лодыжке, и, повернутый на восток, широко открытыми руками, казалось, обнимал небо. Его черное тело застыло; руки расходились, точно ветки стройного дерева. Он шептал, беззвучно шевеля губами: «Тат Савитар варениам бхарго дхимахи дхио ио нах пракодайтат девазия» («Станем думать о солнечном боге, он взошел осветить наши разумы»).

В то же время крик проснувшегося павлина покрыл пожаром звуков тихую молитву, и зелено-синие звезды на перьях птицы походили на темно-синие глаза неба сквозь древесную листву.

Зеленые сады над развалинами старых храмов, ветки и корни деревьев, впившиеся в белый камень лестницы, походили на учение браминов: все суета, все обман. Не так ли хорошенькую рассеянную головку пишет рука на старой книге в тяжелом переплете?

И то, что ты можешь увидать глазом, и то, что ты можешь услышать своим ухом,— все это мировой призрак, Майя, а мировую истину не дано ни увидеть смертными глазами, ни услышать смертным слухом.

Она — мировая душа, Брахма.

Она плотно закрыла свое лицо покрывалом мечты, серебристой тканью обмана. И лишь покрывало истины, а не ее самое, дано видеть бедному разуму людей. Исканием истины казалась эта страна Истоме, исканием и отчаянием, когда из души индуса вырвался стон: «Всё — Майя!» Он хорошо помнил, как он шел в зеленой роще, и вдруг шум крыл нарушил тишину, и на белый столб покрытого зеленью храма взлетел павлин, и ветер белоснежных перьев, поток малых и больших глаз, небом звезд покрывавших серебряное тело, круто падая вниз вьюгой седых морозных звезд, холодных глаз, казались ему собранием глаз великих и малых богов этой страны.

Пять лет провел Истома в Индии.

Он был на Яве и видел славные храмы и улыбающегося Будду из меди во столько раз больше человека, во сколько раз чело-

век больше муравья, и темные громады каменных слонов под водопадом.

Когда его сильно потянуло на родину, он вернулся вместе с одним караваном, посетил свой остров, но ничего не нашел, кроме сломанного весла, которым когда-то правил.

Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше.

Куда? — он сам не знал.

1918–1919

* * *

Нужно ли начинать рассказ с детства? Нужно ли вспомнить, что мои люди и мой народ, когда-то ужасавший сухопутный люд парусами и назвавший их «турусы на колесах», осмеивая старым забытым искусством каждую чепуху, народ, который <и> Гайявате современности недоверчиво скажет: «турусы на колесах», и тот поникнет, седоусый, и снова замолчит — еще раз повод внутренне воскликнуть: «Нет друзей мне в этом мире!» — мой народ хитро, как осетр, подплывавший к Царьграду в долбленных, снабженных веслами подводных лодках, и невидимо качавшийся под волнами, в виду узорных многобашенных улиц шумной столицы, чтобы потом, после щучье-разбойничьих подвигов в узком проливе, нырнуть в море частыми ударами весел, внизу гордых парусов напрасно преследующего его турецкого флота, достичь устья Днепра и свободно вздохнуть в Запорожье, где толпились чайки. Мой народ забыл море и, тщетно порываясь к свободе, забыл, что свобода — дочь моря.

Но племя волгоруссов моей земли знало чары великой степи (отдых от люда и им пустота), близость моря и таинственный холод великой реки. Там сложилось мое детство, где море Китая затеряло в великих степях несколько своих брызг, и эти каплистаны, затерянные в чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским ладом.

Вот вы прожили срок жизни, и сразу почувствовали это, так как многие истины просто отвалились от вас, как отваливаются черные длинные перья из крыла ворона в свой срок, и он сидит один в угрюмой лесной чаще и молча ждет, когда вырастут новые.

Да, я прожил какой-то путь и теперь озираю себя: мне кажется, что прожитые мною дни — мои перья, в которых я буду летать, такой или иной, всю мою жизнь. Я определился. Я закончен. Но где же то озеро, где бы я увидел себя? Нагнулся в его глубину золотистым или темно-синим глазом и понял: я тот! Клянусь, что, кроме памяти, у меня нет озера, озера-зеркала, к которому неловкими прыжками пробирается ворон, когда всё вдруг тихо, и вдруг замолчавшие лесные деревья и неловкий поворот клюва — все сливается в один звук, звук тайны сумрачного бора. А ворон хочет зеркала: его встречают деревья, как лебедя.

Но память — великий Мин, и вы, глубокие минровы, вы когда-то теснились в моем сознании, походя на мятежников, ворвавшихся на площадь: вы опрокинули игравшую в чет-и нечет стражу и просили бессмертия у моих чернил и моего дара. Я вам отказал. Теперь сколько вас, образов прошлого, явится на мой призыв? Так князь, начиная войну невовремя, не знает, велико ли будет его войско, и смутно играет, гадая о будущем, и готовит коня для бегства. Здесь его голос начал звенеть, и я подумал: но ведь это я, но в другом виде, это второй я — этот монгольский мальчик, задумавшийся о судьбах своего народа. А вырезанные из дерева слоны смотрели с ворот хурула. Тогда у меня было поручение достать монгольских кумиров, но я его позорно не выполнил.

Я помню себя очень маленьким, во время детского спора: могу ли перелезть через балясину? Я перелезаю и вызываю похвалу старшего брата. Прикосновение телом к балясине до сих пор не исчезло из памяти. Но вот другой конец страны: старый сад, столетние яворы, гора обломков камней, поросшая деревьями,— сгоревший во время восстания дворец польского пана; во время этой зари жизни мы были мудрецами, и проводить день в теплой речке было законом этих дней. Там ловились лини и щуки во столько раз меньше вершка, во сколько мы были меньше взрослого человека, и самым ярким местом этих лет была весенняя охота на осетров величиною с иголку, подплывавших к берегу; но наша сетка двух рыболовов не помогла: они ускользали стрелой и опять показывались, замирая своим чешуйчатым туловищем.

Два рыболова были взволнованы и озабочены — рама с сеткой для комаров была в их руках.

Здесь мне пришлось отведать хвост бобра — известное лакомство. Покрытый землей, с черной засохшей кровью, он был принесен и под яблонями, бывшими тогда в цвету, хвост его, покрытый чешуйками и редким волосом, был изжарен. Ничего особенного. Я любил мясо серых коз, таких прекрасных и жалких с черными замороженными глазами. И помню охоты: дорога в лесу, табор саней, верховые, волчьи следы в поле; взрослые исчезли, снежноусый пан-поляк торопится догнать других. Раз к порогу нашего дома подъехала телега, полная доверху телами молодых вепрей. Раз привезли молодую собаку с распоротым брюхом. О, эти четвероногие люди лесов с желто-дымными косыми отрезанными бивнями, как они мстили своим двуногим братьям за их ловкую пулю в темном зимнем сумраке! Один косой бивень долго лежал у отца на письменном столе.

Вечерняя таинственная ловля бабочек, когда вечер делался храмом, цветы, обра<щаясь к заре>, как жрицы в белых тонких рубашках, <издавали> запах жертв, и, как молитва, несся, свистя полетом, бражник. Когда мы робко подкрадывались, вытянув руку к бабочке, тогда, как <сейчас вижу>, сверху трепетала зарница. Закрывались окна. Ждали грозу.

Годы ученичества на далекой Волге и новые удары молодой крови в мир...

<1919>

ОХОТА

Когда заяц выбежал на поляну, он увидел старые знакомые кусты, незнакомый белый сугроб среди них и безусловно загадочную черную палку, выходившую из сугроба. Заяц поднял лапку и наклонил ухо. Вдруг за сугробом блеснули глаза. Это не были заячьи глаза, когда они большими звездами ужаса восходят над снегом. Чьи же — человечьи? Или они пришли сюда из страны Великих Зайцев, где Зайцы охотятся за людьми, а люди робко по ночам выходят из своих нор, вызывая выстрелы неумолимых стрелков, пробираются на огороды, чтобы обглодать ветку осины или кочан капусты.

— Да,— подумал заяц,— это он, Великий Заяц, пришел освободить своих родичей от оскорбительного ига человека. Что ж! я исполню священные обряды нашей страны.

Заяц покрыл прыжками всю снеговую поляну, то изящно перекувыркиваясь в воздухе, то высоко подбрасывая свои ноги. В это время черная палка пошевелилась. Сугроб двинулся и сделал шаг вперед. Страшные голубые глаза мелькнули над снегом.

— Ах! — подумал заяц,— это не Великий Освободитель, это человек.

Испуг сковал его тело. Он сидел и дрожал всеми членами, пока выстрел, брызгая кровью, не подбросил высоко кверху его тело.

1919

МАЛИНОВАЯ ШАШКА

Над страной прокатилось несколько волн.

Прошла та волна, когда железнодорожников и скромных учителей заставляли учить наизусть: «Коте мой сирый, коте мой билый, коте волохатый...», и те не знали, что им делать, и слезы веселого хохота скатывались на седые усы; прошла и та пора, когда немцы, уходя, дали напоследки грозный выстрел из пушки в зеркало воды, и водяное дерево, увлекая с собой тучу мертвых рыб, вдруг взвилось кверху дыханием кита, сразу обезрыбив пространство речки, а на дорогах неубранными лежали мертвецы с беспомощно запрокинутой кверху рукой, расстрелянные неизвестно кем и когда.

Теперь было время советской волны.

Торговки сиротливо стояли над корзинами хлеба, молодые лавочники таинственно проникали в глубину вашей души в поисках за созвучными струнами и иногда, подсовывая товар, шептали: «Знаете, это, кажется, в последний раз. Я слыхал, завтра будет приказ».

Дул ветер Москвы. Суровый всадник голодающего севера, казалось, с какой-то неохотой вступал в завоеванный край, точно в самом начале встретил женщину с ведрами или заяц с странной храбростью перебежал дорогу. Парус Оки высоко стоял над Украиной, и надпись «Я страшен» зияла на нем.

Бежавшие из Москвы, как из зачумленного города, люди, каким-то сплавом бога и черта захватившие места в поезде и много раз по дороге услышав грустную просьбу от стариков: «поклонитесь от нас белому хлебу», точно не надеялись старые седые люди когда-нибудь увидеть его опять, эти люди с ужасом

видели за собой догонявший их призрак Москвы, точно желтые зубы коня низко наклонялись над цветами, срывая цветы. Раем, с пулеметом у входа, чтобы не разбежались, вытянув руки, райские жители, был север.

Конь гражданской войны, наклоняя желтые зубы, рвал и ел траву людей. Большевицкая волна спадала.

Ничто не помогало. Не помогали яркие щегольские лубки на углу улиц — взятия Одессы, с похожими на глупую красную гвоздику взрывами снарядов в белых клубах дыма и Бовой-королевичем, завоевателем приморского города. Не помогал и чертеж советских владений с запоздавшей ниткой, как остановившаяся стрелка часов. В городе знали: рабочие были против! Эту весть на ухо передавали в переулках, передавали за семейным ужином.

Всё изменялось. Люди перестали быть людьми. Эта кожа одевала их тело, как крышка часов одевает сложный строй колес и гвоздиков; тела людей были заведенные, готовые взорваться и ответить расстрелом, человекообразные снаряды, жестокие куклы. И вы в глухом переулке, встречая живой глаз, осторожно отводили его, как натянутую проволоку пороховой засады. А иногда за облаками лиц, за облаками глаз вам чудились хитроумные, полные научной тайны чертежи, постройки рока; и слова и дела были какой-то облачной зарей, харей и личиной на многоугольнике рока.

Было ли это в поле среди нив, в саду или гостях, два человека встречались, как две заведенные куклы, со страшными написанными глазами, куклы с пружинами смерти в груди, не знавшие, взорвутся ли они или нет от слов «дорогой товарищ», «который час?», от прикосновения руки. Смерть проволокой опутывала людей.

Старое благодушие, где ты? И в меру уходившей из-под ног почвы подымалась волна молчаливого разгула и расстрелов за нею.

Эти расстрелы каждый день печатались жирной прописью. И вот, воскликнув: «Камо бегу от лица твоего?», вы вдруг бежали из города в глухую усадьбу, в зеленый плодовый сад, где цвели вишни и яблони, ворковала голубка и мяукали иволги.

Но и этот мир уединения, горлинок и иволог перерезывали одинокие выстрелы.

Однажды в эту уединенную усадьбу упал камень, на два дня возмутивший ее тихие воды. Приехал П. Отворив ворота и подходя к ступенькам усадьбы, он сделал два выстрела: один в небо, другой в землю, и поднялся на старое потемневшее крыльцо.

Я его когда-то знал.

Белокурые волосы, которые я когда-то знал вьющимися, сейчас по-козацкому были гладко обрезанными под горшок. Голубые глаза смотрели нагло и весело. Губы его узкого высокого лица твердо и весело усмехались, в крупных зубах было что-то волчье или собачье. Лицо, как и раньше, было очень бледным, почти как полотно, только пожелтело.

Балясины мертвого дерева ограды крыльца были обвиты глухими морскими узлами старой лозы, стягивавшей змеей мертвое дерево, точеной кругом узора. Толпы колец и лоз подымались кверху от мертвой петли, падая широкими листами многолетней удавки кругом казненных дерев.

Две ласточки отдыхали в слепленном из соломы и глины гнезде, непрерывно щебеча, вылетая и прилетая, сидя в нем точно два челнока, вытащенных на морской берег.

Он сел за стол и расставил локти своего красно-желтого зипуна, от которого было больно глазам.

— Ну,— произнес он, отдуваясь,— вот и я, паны мои!

Он задумался.

— Ну, о чем балакать, хлопцы?.. Бачу,— сказал он на тонкие голоса женщин, радостно и хлопотливо пищавшие за дверью, и засмеялся волчьими зубами.

— Да неужели? Да не верю? Да не может быть? — в один голос, точно давая разученную игру, пели и прыгали и визжали сестры; косички их прыгали.

— Спичку, спичку! Маня, дай зеркало, свечу,— порой доносился торопливый шепот.

Вышла старшая сестра, босая, в мещанском красном платочке, с укрощенной улыбкой и лукавой кошачьей походкой, в белом широком парусиновом платье, немного тучная, чуть тяжелая, с

красивым, по-русски правильным на расстоянии лицом. Только постоянная игра в ее глазах, голубо-серых и любовных, освещала ее <лицо> вспышками.

— Эге! якая ведьма вышла,— важно произнес он вместо привета.

Она села близко против него, и искры вылетали из ее золото-карих глаз с черною точкой.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

Кошачья усмешка волновала ее яркий рот. Губы ее дрожали чуть-чуть заметной коварной дрожью, говорившей о внутреннем смехе,— так кошка, положив лапу на птичку, вся дрожит и бьет хвостом.

— О чем думаю! Да никаких думушек нет. Моя дума вот: я таким уродился, что хочу всё уважать, всё, что есть кругом меня. Ну, вот, свинья идет. Увижу свинью и уважаю ее — толста, здорова, идет, песенки распевает, добилась своего. В поле иду, в лес иду, потому что уважаю его за деревья, за траву, лезу в воду, потому что уважаю реку. Да. Так — так! Я всё уважаю. И хо́чу, чтобы и меня уважали. Да!

А ну-ка, хлопцы, як живете — оно, может, не очень? Бачу, всех голубков коршун за зиму поклевал. А ну-ка. Ничего, добрая детина растет, добрая. А штанов еще нет? Прямо тулуп на голое пузо? А подковы гнешь? гнешь? Бачу, не очень, а ничего, добре.

«Хлопец» широко распахнул голое пузо.

— А бачите что — у меня умерла невеста.

Он строго потупил глаза, точно во время молитвы, и сделался мрачным.

— Какая? деревянная или оловянная? — невинно спросил хлопец,— из пряника?

— Да не! Ну что голову морочить, вот приехал к вам, дал двести верст крюку, а они морочат голову. Совсем и заморочили. Невеста и есть невеста.

Вдруг вбежала вторая сестра. Живые черные умные угли-глаза, множество струй недлинных черных волос, рассыпанных по плечам (я видел также эти волосы медно-золотыми — окись

водорода), синяя кацавейка, тело оголялось через темно-синюю парусину. Живопись, менявшаяся, как обеды в хороших столовых, покрывала это живое, полное жизни лицо, изменчивые губы. Она подскакивала и хлопала в ладоши, обнимая и целуя.

— Петя, дусенок! Какая дусочка! Боже мой, какая душечка! Как хорошо, что приехал!

Восклицанья взлетали кверху, как птички во время тока.

— Ой и весело мне,— як соловью в лапах у кошки,— вздохнул он тоскливо, кусая и душа и проглатывая самодовольный смех.

— Ну, скажи, Петро, зачем приехал?

— Да что! Хочется увидеть весь свет, показать себя другим перед смертью.

— Ах, уж умирать собираешься! Так значит, к невесте! Да? А муки с собой берешь? для невесты — она проголодалась.

— Який бабский вечер. Всё бабы и бабы, и лишь один пышный красивый мужчина, девчоночки мои.

— Ты, дружок, начинаешь заговариваться.

— Ох и извели меня. Совсем свели с ума. Нет, прочь с глаз! окаянные прелестницы.

— Какой красавец, какая душка! — взвизгнули две сестры.

— Идем в сад, дусенька, идем, у нас цветы есть, сама сажала.

— Не хо́чу. Не хо́чу, да и всё! Вот так сяду и буду сидеть до второго потопа да люльку курить. А ну-ка, хлопцы, дайте огня!

Хлопцев было трое; младший,— богатырь телом и ребенок сердцем, <имел> ту страдальческую улыбку, которая <говорила> о припадках падучей.

Большой, старый, глиняный казалось, похожий сразу и на бабочку и на кувшин, череп, с каким-то усталым, изнемогшим выражением и прямо к небу поднятыми глазами, где застыла мольба и просьбы, неизвестно к кому обращенные, и старушечьми зубами желудевого цвета, лежал сбоку на столе, указывая, что живопись здесь процветала; здесь был приют живописи.

И вдруг, переведя глаза на старшую сестру с ее роскошными, дивными темноглинистыми, падавшими кругом стана волосами, стало ясно, что она сегодня Магдалина с черепом в лесной пеще-

ре и что какая-то нить связывает их. Во всяком случае, таково было задание сегодняшней очередной постановки. Белое парусиновое платье, темные роскошные волосы, с дикой негой и простотой падавшие волнисто вниз, гладкой волной на грудь, и бесконечно нежные и стыдливо-голубые глаза, любовно устремленные на гостя, любовно сложенные губы сочно-красного цвета молодой женщины.

Знаете ли, что значит спичка в глухой заброшенной усадьбе в плодовом саду? Это бог и царь сельских вечеров. Тысячи лиц, сменяя веснами друг друга, со страниц книг переходили на суточный постой на лице одной из сестер. Сестры, как трудолюбивые пчелы, работают и помогают друг другу. Звонкий хохот, прыскающий смех, убегающие ноги, чтоб спастись от смеха, порой прерывают их труд. Тысячи разнообразных милых глазок, как цветы, как однодневные бабочки, появляются и исчезают на лице. Лицо делается лугом лиц, где на почве одни цветы сменяют другие и одни души — другие. Сколько сумасшествий от однообразия сельской жизни спасены тобой, закопченная спичка! Как место в поезде занимается то одним, то другим человеком, так живая человеческая голова становится гостиницей путешествующих лиц.

Тихий самодовольный хохот собравшихся был прерван голосом старшей сестры:

— А ну-ка, иди-ка сюда! Э, да иди, не кривляйся, родимый, а ну, наклони сюда головушку. Крепче! Не кобенься. Положи сюда! — вот так.

Она положила голову на колени и, придерживая ее одной рукою, долго, дрожа красными торжествующими губами, ласкала, гладила ее другой рукой, как ласкают и успокаивают на коленях ленивую жирную кошку. Потом вдруг диким движением хищной птицы, вдруг проснувшейся ночью совы, схватила череп и положила ему на голову.

— Хо-хо-хо! — загрохотал гость.— Хо-хо-хо! — повторил он, схватываясь за живот, вскочил с места и, наклонив голову и засунув ее в высокий воротник красно-желтого радужного жупана, в дикой пляске, сделавшись огромно высоким, громадными

шагами понесся по крыльцу, выкидывая дикие колена. Это было страшно. Мне показалось — сама Смерть, темнея громадными глазами, носится по крыльцу и делает слепые прыжки, и, казалось, удивленная тем, что с ней происходит, делала громадные шаги, становясь похожей на летучую мышь днем.

Он грузно опустился на скамью.

— Хо-хо-хо! ох, уморили детину!

Серебряная шашка лежала с ним рядом на столе; на прекрасном боевом железе была вырезана золотая надпись неведомого летчика и его имя. Серебряная полоса, кто был твой первый господин, и как он умер? И, купаясь в облаках, падая в воздушные ухабы, скользя по серебряным проходам среди облаков, откуда в самом конце облачной глуби, слепой норы, каплями прекрасного голубого огня брызгало небо, о ком на далекой земле ты думал тогда, летая крылатой птицей? И были у нее черные глаза, пара черных цветов на лице, или голубые, в шелковых божественных ресницах, светоносным огнем, полным неги, горели они изнутри и любовно и с гордостью смотрели на тебя, победителя небесной синевы, и голубое девичье пламя, ясным светом открыв весеннее окно, горело у ней в глазах.

— Полк подарил,— сказал гость и тронул шашку.— Сам зарубил гада! — похвалился он после.— Да, были дела...

Трое хлопцев присоседились к оружию, отколовшись от старших. Правда, не во всякую дверь мог бы пройти младший.

— Вот поеду на Карпаты, там галичане. Забуду в чистом воздухе гадкий порошок кацапов,— ой и дурной же, в Москве все извозчики, клюя носом по вечерам, закладывают им ноздри и одобряют и возносятся на небо, забыв про овес и конный двор. «От него душа веселится и уходит на небо». А там ведьмочки-панночки. Ну, найду добрую дивчину, вот як ты али ты, голубую снегуру с крупными, большими глазами и пущу корни в землю. Пора. Довольно перекати-поля. И время. Довольно. Побачил всего.

Старшая сестра положила на темный шелк своих волос темный умный череп. Две головы за гранью времени в каком-то зеркальном отражении стояли одна над другой.

— Ну — теперь, Барышня Смерть, здравствуйте!

Она встала, босая, с распущенными волосами и двойной страшной головой; золотисто-голубые, с черной точкой глаза блестели, окруженные роскошным светом. Белое платье было торжественно, золотые роскошные волосы странно запылали тысячами огней. Невидимый свет окружал ее стройное, немного тучное тело. Темный умный череп смотрел торжественно большими глазами. Дыхание тайны носилось в воздухе, трепеща крыльями над семью людьми.

— А впрочем, невеста не умерла,— произнес гость, закуривая трубку и переменяя положение ног.

— Голубчик! Жива?

— Жива и вышла замуж.

Темный череп стоял, как на жертвеннике, на темных, одного цвета с ним, распущенных волосах красавицы. Она беззвучно улыбалась, поджав губы, готовые прыснуть от смеха.

Если тайна живописи возможна на холсте, досках, извести и других мертвых вещах, она возможна, разумеется, и на живых лицах; и были сейчас божественны ее брови над синими глазами, вечно изменчивыми, как небо в оттенках, в вечной дрожи погоды, и роскошно-алым темным цветком пышных уст.

— Бычка! — подскочил один из братьев и, взяв окурок, роскошно и шумно вдувая воздух, наслаждаясь, затянулся.

— Что, не бачили меня видеть? О чем я? Да... Ну вот, вроде есаула я был в конном отряде. Петлюровцев колотил. Все у меня были: и китайцы, старообрядцы, спартаковцы, венгры. Хорошие, боевые ребята были. Врываемся в город, песни играют, кто во что одет: в черные бурки, сермяги, алые жупаны — прямо сброд, но у всех на шляпе червонные ленты вьются. Лихие люди. Старообрядцы — молодцы ребята!

— Да неужели? и ты не врешь? — захохотала старшая сестра,— так ты настоящий воин, богатырь на коне.

Кошачьи глаза опять смеялись, и щеки ее прыгали.

— Едем, свищем, а червонные ленты на соломенных шляпах либо по плечам червонеют, як невиданные птицы крутятся, скачут в поле. Дикий вид, а молодецкий. Так в кумачах едем. Как песни грянем — стон стоит. Ну, я без малейшей дрожи гадов на

тот свет шлю. Вы что думаете — шутка? Бой, сердце колотится — у как! Як птичка выпрыгнуть хочет. Як дрова сплеча рубишь, засекаешь гадов, а сам — после ходишь пьяный, весь шатаешься, пьянеешь боем, стоишь, как столб, голова кружится. Ничего в это время не помнишь.

— Ничегошеньки? Неужели?

— Гордо так ходишь, озираешься. Балакают, бывают пьяные богом, ну а мы так пьяные боем. Конница налетает вовсю, спасаясь от главного удара пехоты. Удар боя направлен в одну сторону. Углом идет бой. На иноходце летишь, жупан кровью, кажется, горит, в руке шашка, пальба по врагу, пыль, о-о, а-а-а! — рев стоит, и хлопцы с красными лентами в пыли несутся. Режут, бьют всё что по дороге. У, страшно говорить! Эх, милое дело! Да, я уже не тот, много видел, гадам мстил. Честно скажу, не жалел.

— Да ну же? Да ты истинный русский воин! сирот опора!

Он сидел грустный, опустившийся, развалясь.

— Ого-го! милейший. Наверно, сидел в обозе или в тылу сеном торговал, а сюда приехал и доказывает и нос выше держит, знаем! — загорячились мальчики, споря о чем-то и доказывая.

— Ну, не верьте, если не хотите. Ну вот... Знал сербов — удивительно чистые души, и все черноокие. Ну и гуцулы хороши, с павлиньим пером на соломенной шляпе, дерутся до последнего.

Изучавшие со всех концов шашку хлопцы вдруг радостно захохотали.

— Что вы, хлопцы? О чем гремите?

— Хо-хо-хо! Вот так шашка! Ну и шашка! Даже кровь на ней есть, и такая чистенькая, молоденькая, точно девушка, барышня, новенькая кровь. Он ходит и головы срубает, а потом присядет к окну, сгорбится, как кузнечик, и малиновой краской шашку выводит. И кровь в лавке покупает или дарят возлюбленные.

— А что, разве я вру? Докажи, что я вру!

— Кровь ржавеет, а здесь новенькие красные пятна, совсем свежие.

— Какая дуська, какая дуська! Шашку раскрашивает! — торопливой скороговоркой заговорили сестры.

— Вот не думала! Ты подумай только! шашку раскрашивать! Это надо! Дай я обниму тебя.

Она встала и, тучная, толстая, но страстная, протянула к нему руки старой многолюбицы.

— Ну нет, спасибо.

— Раз, только раз, ну, дусенька, раз!

— Поцелуй на расстоянии — тогда согласен.— Он тихо смеялся и закрывался руками, прятался под стол от по-прежнему протянутых рук.

— Ну, дуся,— разок, только разок!

— Да нет же, на расстоянии — ради бога! — прятался он.

— Ну, как хочешь. Ну, не хочешь, не надо. А всё же дуся! Дуся и дуся!

Она вынула иголку и нитку.

— А расстрел так: подходишь, и — бац! прямо в лоб стреляешь — валишь! Оно скверно бывает, когда выстрелишь в лоб, а людина все-таки, как столбец стоит, ни с места, и только кровью глаза запачканы. Что ж! Выстрелишь второй раз. О, по кровавому лбу трудно стрелять.

— Какой врун! какой лгун! боже, какой лгун! Покажи свои глаза окаянные,— разгорячились сестры,— свои томные голубые очи — мужчины, великолепного красавца и убийцы.

— Хо-хо-хо! Вот так шашка! Это он подводит себе совесть, подведенная ты душа! Вояка ты, вояка.

— Там была дивка, я замахнулся, она как завизжит, смотрю — красная кровь!.. Я думал взаправду кровь, даже испугался сам, смотрю-смотрю, а там на железе красная краска, еще пальцем растерта и отпечаток двух пальцев. Вот миляга! Сидел у окна, сгорбившись, трудился, наводил.

— Хо-хо-хо! Миляга,— намазал шашку и всем рассказывает, что это кровь, хочет быть страшнее.

Третья сестра: Кузнечик! обожаемый! тебя обожаю! Красить шашку, ну подумайте только! — Она была восторженным существом.

Вторая: Дружок! я тебя не узнаю, еще сегодня храбрый воин, и вдруг — паяц!

Хлопец: Тоже, художник на шашке! Знаем вашего брата! продувная братия.

— А что? Я учился живописи. Не закрашивать же мне губы, я ведь не женщина. Они у вас бледные, как земля, а теперь горят, как огонь. Ну, а мы целуемся шашками. Цокаемся. Ловкие, сердитые поцелуи на морозе. Я не скрываю, что это краска, а не кровь.

— Дружок, а про расстрелы, может быть, тоже живопись на лезвие молчания? — Она наклонилась к нему и, обняв его голову руками, захохотала.— Так вот ты кто? Трудится, как художник, на лезвие шашки головки выводит золотоволосые. Ах ты, миляга, миляга! Сердечная душа.

— Воображаю ночную темноту, и два всадника целуются шашками. Ночь молчит. Какая дуся! Какая дуся! Кругом трава выше человека.

— Не верите, как хотите. Это в порядке вещей. Вы, женщины, красите себе губы, а я свою шашку, что тут неестественного? Ну, довольно.

Он туго затянул голову платком и надел череп, поддерживая рукой. Его дикие скачки слепого, во все стороны, разогнали всех и заставили жаться в угол. Страшные жмурки! Высокая дикая тень, размахивая руками и с бледным черепом, металась по крыльцу и вдруг разразилась неожиданным крепким гопаком, так что тряслись половицы. Он сбросил жупан на землю и был страшен, в голубой шелковой рубашке, дико расставляя ноги, размахивая костлявыми руками.

Этим воспользовались братья и, будучи дюжими ребятами, схватив воина за ноги и за руки, немедля вынесли в сад. Волны мужского хохота доносились оттуда. «Охо-хо-х! — задыхался один,— охо-хо-х!» — задыхался от смеха другой. Все тонули в сумерках. «Кузнечик, кузнечик,— неслось оттуда,— настоящий кузнечик!»

— Ну, будет. Довольно. Будет. Уеду в Галицию. Там нявки есть — спереди белогрудые женщины, как простые смертные, а сзади кожи нет, и все потроха видны, красное мясо. Точно часы без крышки. Страшная русалка, и тоже глаза подведены. Ух, ее лешие не любят! Ловят — и прямо в огонь.

Они принесли мертвого кузнечика за ноги и за руки на крыльцо.

— Ну, кушайте, вот лапша, молоко и всё. Знаете, когда суровый воин ест, он удивительно походит на кузнечика, в особенности рот — твердый, тонкий, узкий, и жадные большие глаза. Ну совсем, совсем живой кузнечик, так взяла бы — и на булавку.

— Хо-хо-хо! — на булавку. Кузнечик так кузнечик. А вареники добрые. Как надо вареники! С вишней, молодуха? У художников глаза зоркие, как у голодных. Добрые вареники, белые, жирные, как молодые поросята! Я уж десяток послал себе в рот.

— Вот бы взять такого поросенка и шлепнуть по губам, чтоб замолчал, а то трещит, не зная что!

— Какой невежда, какой наглец, уходи из-за стола! — вспылила сестра.

— Тпру, голубушка, стой, уходи сама, если по душе.

— Нет, подумайте, какой невежда: гостя, и так называть! как ты смел! Мальчишка, нахал, щенок, уходи из-за стола! Ах окаянный, не хочешь. Ну постой!

— Вот и гость! На войне едешь грозой гадов, шашка над головой, полполка под твоим началом, конечно, почетный белый конь, а в гостях хлопцы за ноги выносят в сад и голодным кузнечиком зовут. Где же всё величие? Бедная моя слава!.. А дюжие хлопцы! Приезжайте, возьму к себе.

— Ну что, как? — загадочно и коварно спросила старшая сестра.

Первая сестра: Душка! милый!

Вторая сестра: Божественный, обожаемый!

Первая сестра: Как я его люблю!

Вторая сестра: Как я его люблю!

— Идем чай пить.

— Ну, братья и сестрицы, что вам рассказать? Вы меня варениками, а я рассказами. Товарообмен. Ну вот, взяли город. Много их там. А ну-ка, песню к горячему самовару. Грянули песню. Город взят. Начинается расстрел гадов. Я пощады не давал.

— Ого-го! так, верно, и ходит и отрубает головы по дороге.

— А что вы думаете, сробею? Мало вы меня знаете, судари мои! Откуда у меня серебряное оружие?

Второй брат: Докажи!

Старший брат: Он по речке, наверно, ходил — как увидит лягушку, так голову и отрубит,— вот и говорит, что рубил гадов. Ужа увидит, тоже зарубит малиновой шашкой. Таких гадов зарубал, что только речка плакала. Ходил и думал, что это люди.

Старшая сестра: Так как же, таких гадов зарубал или нет? Отвечайте же! Боже, какой глупый.

— Ну опять попал в бабью неволю. Начинается бабья власть.

Третья сестра: А всё-таки на огонь прилетел, как бабочка.

Старшая сестра: Ты истинный друг!

— Едешь на иноходце, кругом хлопцы спивают: «Ох, яблочко малосольное, ох вы, девушки, малохольные!»,— да так грустно, что за сердце возьмет. Ленты развеваются. Кругом дивчины, да еще якие, черноокие, живая сказка в плахте, и пищат: «Який червонный жупан. Да какой красивенький! Ой, мамонька, якой красивый!» Имел успех. Нэ пользовались. Едешь себе и свищешь.

«Ок, я страдала,— загремели из сада голоса заглядевшихся девушек с лопатами на плечах.— Уж и застрадала! увидала и застрадала...»

— Есть у меня черкеска, оружие. Для воина всё есть.

— Ну, так как же, правда, что ты девяносто гадов убил?

— Девяносто не девяносто, а за тридцать ручаюсь.

— И не жалко?

— А меня жалели? Это было в Чернигове, мы сидели в остроге и ждали смерти. Брат налетел с четниками, ворвался в город на броневике, разбил острог, взял меня. Спаслись... Всё видал. Сам будешь такой. Душа подрастет. Вы ребята, а души младенцев! Чи я баба, чтобы жалеть? Вы, бабы, льете слезы, мы льем кровь — каждому свое. Люди душат друг друга за горло, кто скорее. Не ты — так тебя. Ну вот. Одежды мало, ее нужно беречь, одежду снимаем, оставляем в белье. Приходят в опил-

ках, сене, где кого поймали — в стогу, копнах, в подполье. Раз было — привели пять заложников, поставили босыми, в белье, выстрелили, один убежал. Считаем — все лежат, одного нет. В лес ведут красные следы из раны. Ну, раны,— всё равно подохнет в лесу. Пес с ним! Туда ему и дорога. Через двое суток приходит в избу: течет кровь, в белье, босой, хохочет и говорит: «Я-таки убежал. Расстреляйте меня! Только сейчас». Ну, я не неволю...

— Ну так как же, отвечай, было дело или нет? А то выпорю.

Как П.? Неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папахе, белый, как смерть, и нюхал по ночам в чайной кокаин. Три раза вешался, глотал яд. Бесприютный, бездомный бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили писать его тело.

А теперь — воин в жупане цвета крови, молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкеской. Его все знали и, пожалуй, боялись. Опасный человек. За большие, голодные, выпуклые глаза, живую речь, вдавленный нос его зовут «кузнечик».

В свитке, перешитой из бурки, черной папахе и <трепаном чекмене>, выступавшем из-под верха, он был сомнительным человеком большого города и с законом не был в дружбе. Некогда, подражая пророкам (вот мысль: занести пророка в большой город, с метелями,— что будет делать?), он худой, белый, как свеча, питался только черным хлебом и золотистым медом, да английским табаком, большой чудак, в ссоре с обществом искавший правды. Женщины-художницы писали много раз его голого, в те годы, когда он был красив.

Хромой друг, который звался «чертом», три раза снимал его с петли. Это было вроде небесного закона: П. удавливается, Ч. снимает.

Известно, что он трижды обежал золоченый, с тучами каменных духов, храм Спасителя, прыгая громадными скачками по ступеням, преследуемый городовым за то, что выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи.

Любил таинственное и страшное. Врал безбожно и по всякому поводу.

1921

Д.В.Петровский.
Фотография в альбоме А.Е.Крученых (ГММ) с пометой Хлебникова, вернувшегося в Москву 21.XII.1921 г.: «Где твой кроваво-радужный жупан? Сего разбойника добре знаю. В.Х.»

* * *

— Ну, что же это? что же это? — воскликнула Бэзи, хлопнув в ладоши.— Боже, как глупо! боже, как глупо!

В самом деле, на западе северные откосы Монблана, с большого плоскогорья черным потоком камней ринувшиеся вниз, а выше стеной подымавшиеся по отвесу, были искажены в суровой красоте столетних сосен правильным очерком человеческой головы. Как мухи, в вышине неба жужжали летчики, и суровые тени в черных пятнах собрались на нахмуренный лоб пророка и черные, спрятанные под нависшими бровями глаза, похожие на чаши с черной водой. Это была голова Гайаваты, высеченная ножом великана художника.

В знак единства человеческого рода Новый Свет поставил этот камень на утесах старого материка, а взамен этого, как подарок Старого Света, одна из отвесных стен Анд была украшена головой Зардушта.

Голова божественного учителя была вырублена так, что ледники казались белой бородой и волосами древнего учителя, струясь снежными нитями.

— Этой каменной живописью натянуты паруса взаимности между обоими материками,— заметил Смурд.— Паруса из множества людских сердец.

— Не правда ли, хороши эти пласты острого каменного угля, обработанные в черные глаза пророка? Говорят, что пастухи по ночам жгут из пламенной руды свои голубые костры, и тогда его глаза блещут гневом.

Между тем столетние сосны были раскинуты на разных высотах лица.

— Боже, как глупо! Зачем портить природу? — недоумевала Бэзи.

— Если горы вторят гулким раскатом, отчего не искать каменных созвучий лицу?

— Друзья, знаете что? проведемте ночь на поверхности сурового глаза Гайаваты! Едва заметная тропинка ведет к нему...

— Я согласна! Ура, за мною бегом!

Этот голос был Бэзи. Но уже с третьего шага молодая девушка присела и произнесла:

— Здесь чертовски острые камни. Я не понимаю, как можно идти? Разве стать козой... Что делать?

— Нет, нет, мы провели бы ночь как боги сумрака там, наверху! Каменные терновники гор в уме мы бы венцами возложили на седые и черные кудри.

— Я полагаю, что хороший ужин внизу стоит воображаемых богов в воображаемых кудрях.

— Внизу есть сливки!

— Целый кувшин сливок.

— И чай, дивный золотой чай, старого душистого настоя! Что делать?

— И всё же, и всё же — вперед! Когда взойдет солнце, мы огласим горы древними криками и предложим Святому бычка: — Закури, Солнце!

— Лихо.

— Молодые боги, не слишком ли тяжелая участь? мерзнуть и дрожать. А там внизу настоящие сливки.

— Зашейте рты!

1921

* * *

— А, русалка! На чем сидишь, русалочка?

— На мертвеце. Он, точно кресло, неподвижен. И камень непоседливей его руки. Да, камень — егоза с ним рядом. Утес булыжный — конь, скакун. Покой великий. Он гомер. Он замер. Он вымер.

Говор сбоку:

— Кто там?

— Денег пастухи. Деньговоды.

— В воду!

— Золотые погоны!

— В огонь их!

— Белая мямля!

— — В землю!

Кол из будущего:

Как жалки они! среди камней...

И вот, научившись слабым месяцем обращать наше счастье кругом солнца мировой радости, мы нашли его. Но это случилось не раньше, как вся земля стала съедобной и младшие братья человека — растения, коровы, травы — не сняли оков. Так блеском мысли кончилась борьба города и деревни. И вот мы строим наше общежитие на законах звука. Граждане жилых парусов города-звука, населенные людьми волны и свисты чьего-то голоса, несемся мы в мировое пространство.

Мы нашли счастье, как утомленный путник в пыли и грязи находит на дороге сверток с белоснежным бельем. Разрядом мысли, грозою мысли кончилась тяжба города и деревни.

Ах, драки знаков свинцового набора, что они лежат в другом порядке, в порядке другого слова, чем то, которое им не по сердцу. Их кладет свинцовой пылью одетая рука, а они обвиняют друг друга и думают, что «ять» больше виноват, чем «е».

<1921>

УТЕС ИЗ БУДУЩЕГО

Люди сидят и ходят, скрытые в пятнах слепых лучей светлыми облаками лучевого молчания, лучевой тишины.

Некоторые сидят на высоте, на воздухе, в невесомых креслах. Иногда заняты живописью, мажут кисточкой. Общества других носят круглые стеклянные полы и столы.

Другие шагают по воздуху, опираясь на посох, или бегают по воздушному снегу, по облачному насту на лыжах времени; большая дорога для ходьбы по воздуху, большак для толп небесных пешеходов, проходит над осями низких башен для скрученной в катушки молнии. По тропинке отсутствия веса ходят люди точно по невидимому мосту. С обеих сторон обрыв в пропасть падения; черная земная черта указывает дорогу.

Точно змея, плывущая по морю, высоко поднявшая свою голову, по воздуху грудью плывет здание, похожее на перевернутое Гэ. Летучая змея здания. Оно нарастает, как ледяная гора в северном море.

Прямой стеклянный утес отвесной улицы хат, углом стоящий в воздухе, одетый ветром — лебедь этих времен.

На крылечках здания сидят люди — боги спокойной мысли.

— Второе море сегодня безоблачно.

— Да! Великий учитель равенства — второе море над нами, нужно поднять руку, чтобы показать на него. Оно потушило пожар государств, лишь только к нему был приставлен рукав насоса пожарной кишки. Это было очень трудно в свое время сделать.

Это была великая заслуга второго моря! В знак благодарности вечно на одном из облаков отпечатано лицо человека, точно открытка <не>знакомому другу.

— Борьба островов с сушей, бедной морем, окончилась. Мы равны морем, заметив его над головой. Но мы не были зорки. Песок глупости засыпал нас курганами.

Я сейчас курю восхитительную мысль с обаятельным запахом. Ее смолистая нега окутала мой разум точно простыней.

Именно мы не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную звезду из костей.

Правительство этих граждан, человеческое сознание, не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. Будем помнить, что каждый волосок человека — небоскреб, откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш и Маш. Опустим свой мир сваями в прошлое.

Вот почему иногда просто снять рубашку или выкупаться в ручье весной дает больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле. Снять одежды — понежиться на морском песке, снова вернуть убежавшее солнце — это значит дать день искусственной ночи своего государства; перестроить страны государства, большого ящика звенящих проволок, по звукам солнечного лада.

Не надо быть Аракчеевым по отношению к гражданам своего собственного тела. Не бойтесь лежать голыми в море солнца. Разденем тело и наши города. Дадим им стеклянные латы от стрел мороза.

С другой стороны:

— С вами спички еды?

— Давайте, закурим снедать.

— Сладкий дым? Клейма Гэи-Гэи?

— Да, они дальнего происхождения, из материка А.

Превосходный съедобный дым, очаровательны голубые пятна неба, тихая звездочка, в одиноком споре спорящая с синим днем.

Прекрасны тела, освобожденные из темниц одежд. В них голубая заря борется с молочной.

Впрочем, уравнение человеческого счастья было решено и найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем

около мирового. Слышать шелест рогоз, узнавать глаза и душу своего знакомого в морском раке, вбок убегающем с поднятой клешней, не забывая военного устава,— часто дает большее счастье, чем все, что делает славу и громкое имя, например, полководца.

Счастье людей — вторичный звук; оно вьется, обращается около основного звука мирового.

Оно — слабый месяц около земель вокруг солнца коровьих глаз, нежного котенка, скребущего за ухом, весенней мать-мачехи, плеска волн моря.

Здесь основные звуки счастья, его мудрые отцы, дрожащая железная палочка раньше семьи голосов. Проще говоря, ось вращения.

Вот почему городские дети в разлуке с природой всегда несчастливы, а сельским оно знакомо и неразлучно, как своя тень.

Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки; в пустом покое темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое «нет».

Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его степи.

Построили в сердце звериные города.

Казалось, человек захлебнется в углероде себя.

Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида.

Целые части счета счастья исчезали, как вырванные страницы рукописи. Грозил сумрак.

Но совершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, пластами покрывавшей землю, спящую ее душу хлеба и мяса. Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок.

И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях, и теперь я курю мой воздушный обед.

<1921–1922>

РАЗИН НАПРОТИВ

Две Троицы

На гордом струге нет-единицы плыть по душе Разина, по широким волнам, будто по широкой реке среди ветел и вязов, сидящих бакланов, среди плавающих баб-птиц, правя челн поперек волне, поперек течения, избрав Волгой его судьбу, точно орел жестким клювом оконченную плахой, но дав жизни другое течение, обратное относительно звезд над нею, перерезая время наперекор ему, от калмыцких степей к Жигулям плывя через шумный поток его Я. И скрягой считать прозрачные деньги волн, плеск волн, когда призрачный струг нет-единицы тихо плывет по реке Разина поперек естественного течения природы времени его Я, в искусственном направлении, среди черных волн Жигулей, от низовьев простой в своей думе головы, лежащей на секире, под расстрелом глаз вокруг задумчивых толп, до истоков жизни молодого донца в Соловках, перерезавшего поперек всю русскую равнину, всю Россию, чтобы подслушать северные речи, увидеть северные очи бога, бога севера, до пути молодого донца на Днепре, где, стоя над омутом, языческой удалью глаз весело вызывал, выкликал из голубой волны русалок, прижимавших к водяным кудрям и плечам столько громких имен из древних летописей.

Недаром хохочут холмы: «Сарынь на кичку!» — и оси, корни из мнимой нет-единицы русалок протягиваются к да-единицам люда.

Недаром и до сих пор Волга каждую ночь надевает разбойничий платок буйной разинской песни и, голубая красавица, смо-

19 июня 1671 умер Разин [illegible] $3^{10}+3^{9}+3^{8}+365 = 1905$ г., 22 дек.

$$x = \left(3^{10}+3^{9}+3^{8}+365-2^{3}\right)\left(2-[illegible]\right) + \left(2^{12}+2\right)\left(n-1\right) + 0$$

Если 0 = смерть Разина, при $n=1$ получим 22 дек. 1905, при $n=2$ отречение царя.

$3^{10}+3^{9}+3^{8}+365-2^{3}$, $2^{12}+2$, 3^{5};

или 1053.81, $+\ 365-2^{3}$, $2^{12}+2$, 3^{5}

это уравнение роста русской свободы, подымающейся цветком из головы Разина.

Голова Разина $+\ 3^{10}+3^{9}+3^{8}+3^{7}+3^{6}+3^{5}+3^{4}+3^{3}+3^{2}+3^{1}+3^{0} = 1919 = 20$ декабр.

[illegible]

«19 июня 1671 умер Разин... это уравнение роста русской свободы, подымающейся цветком из головы Разина».
Материалы к «Доскам Судьбы». 1921

трит, как заря зажигает кумачовой раннею спичкой сумрак лесов.

От кончины плыть к молодости.

Вот с секиры, широкой, как язык коровы, прыгнула и соскочила голова, становится на плечи и покрывается призраком огромных богатырских кудрей. «Эй, дружи около!» — кричит она, приставив кулак к богатырскому рту.

Населить свой парус, свою лодку юношей-моряком — отрицательным Разиным — то в шишаке, то в кумачовой рубахе настежь, так чтоб грудь великих замыслов была распахнута постелью, и оттуда смотреть в темную глубь реки — в темный мир омута, смотреть на тени, брошенные убегающим испуганным раком; быть лодкой мертвецу, умноженному на нет-единицу.

— Эй! Двойник Разин, садись в лодку Меня, из кокоры полутора моих суток, на скамейку моей жизни. Отрицательный голубой Двойник Разин, пепел заклятий сыпется на тебя из моих рук точно покрытая бляхами уздечка, надетая на голову дикого коня-неука. Покорись моей воле! Будь черной пашней сохе моей сверкнувшей воли.

От красной плахи, волжской птицей в клетке разметав буйные волосы каленого добела железа предсмертных пыток, и великого моря смерти, куда влетела Волга этой жизни, плыть к первым негам юного Я молодого дикого южнорусского богатыря, жадным до неба, искавшего устоев правды в шуме волн у камней Ледовитого моря, под мощным гомоном тысячи тысячей государств птиц, возводивших стройную постройку храма камнями плеска крыл, камнями голосов.

Никто бы не узнал в молодом богатыре, слушавшем на берегу ночного моря голоса летевших журавлей, лавину победы в их голосах, читавшем летучую книгу, ночные страницы ночных облаков, будущего сурового и гордого мятежника, писавшего соседним царям насмешливое «любезный брат». Вещие глаза еще мальчика, с первым пухом на губах, были подняты широко открытыми лесными озерами навстречу вещим голосам птиц, может быть, кричавшим оттуда: «Брат, брат, ты здесь!» — голосам оттуда. Там он искал те оси постройки человеческого мира, глав-

ные сваи своей веры, которые потом мощными сваями вбивал в родную почву страны отцов, родной быт.

Это не был главный яроста нескольких столетий, наследник земли отцов. Это был мальчик-пустынник, мальчик-отшельник с тихими задумчивыми глазами, пришедший от своего моря к морю Ломоносова.

Наводнение неба черным кружевом стай, какой-то ледоход в небе, серые льдины птиц. Стремительный потоп несущихся Млечных Путей. Стройные косяки-государства, томительные трубные клики на воздухе этих государств, длинные, как пурга. Призраки летучей воздушной конницы, узоры точек, вдруг собравшиеся в широкий лопух, и военные крики небесной пехоты, летевшей на приступ весны, певучие полки, брошенные на завоевание весны трубными голосами журавлей, перерезав мир звонкими кликами, брошенные на приступ замка зимы войною песен,— весеннее небо севера навсегда отразилось в больших пустынных глазах Разина, глазах юноши-пустынника, немого путешественника у берегов Ледовитого моря.

Это были две Троицы: зеленая лесная Троица 1905-го года на белоснежных вершинах Урала, где в окладе снежной парчи вещие и тихие смотрят глаза на весь мир, темные глаза облаков; и полный ужаса воздух несся оттуда, а глаза богов сияли сверху в лучах серебряных ресниц серебряным видением.

И Троица 1921-ого года в Халхале (северная Персия), на родине раннего удалого дела Разина.

За Пермью, у крайней северной точки веток Волги, на переломе Волги и текущих к северу рек Сибири прошла первая Троица; у каменного зеркала гор, откуда, прочь с гор, с обратной стороны бегут реки в море, любимое с севера Волгой,— там прошла вторая Троица, поворотного 1921 года.

«Знаем, своему богу идут молиться»,— решили северяне пермской тайги, когда в черных броднях и поршнях, с ружьями за плечами, с крошнями на ремнях за плечами, мы уходили перед Троицей на месяц лесовать на снежных вершинах, искать лесное счастье, мечтая о соболях и куницах Конжаковского камня, и неведомая снежная цепь манила и звала нас.

Речка Серебрянка летела по руслу, окутывая в свои снежные волосы скользкие, темные, черные камни, обнимала их пеной как самые дорогие, любимые существа и щедро сыпала горные поцелуи; и, прислонив ухо, можно было слышать ауканье девушек, живой человеческий смех и старые песни русских деревень.

Кто у кого брал струны и человеческие голоса — река или село — в мгновенной бездне нити проворной речной волны?

Как мчится и торопится скороход с зашитым в поле письмом, хранила река в голубых волнах письмо к Волге, написанное севером.

Кто-то смеялся там в глубине вод и задорно кричал удалое лесное «ау» ему, наклонившему сверху лицо, пришельцу оттуда, из мира людей.

Когда река отступала от русла каменной щели, на полувысохшем русле мокрой топи можно было увидеть свободно набросанные широкие когти, отпечатанные медведем, изданные рекой в роскошном издании, с широкими полями, с прекрасными концовками сосен, в обложке песчаных берегов и снеговых отдаленных гор с черной сосной наверху.

Эти вдохновенные песни древнего лада, маленькие песенки, полные дыхания жизни, по которым можно было судить, сколько творцу лет, куда он шел, в каком был настроении, был ли сердит или задумчив, казалась ли ему вселенная мрачным проклятием или благовестом, полным горошин серебряных слов, шашкой пьяного по голове или задумчивым рукопожатием ночью, были напечатаны издательством леса на книгах черной топи. Не только свои медведи, но даже охотники умеют читать эти частушки в издании топких болот, от первых времен мира.

Какая Лаура прочтет песни лесного Петрарки?

А мы идем против реки всё выше и выше, на суровые потолки гор...

<1921–1922>

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

— Через два месяца я буду убит! На прусский лоб! Ура! Урра! — кричал молодой прапорщик, вскочив с своего места.

— Ура,— подхватывали остальные, вставая и вежливо смотря ему в глаза.

— Смерть наверняка! Урра смерти! — лихо крикнул он, волнуясь от счастья; винная заря малиновой темнотой покрывала ему щеки, ему, мертвому без проигрыша через два месяца. Он стоял и говорил. Голая шашка, оставив платье на берегу рук, купалась вверху, рассекая воздух белым лезвием,— гражданка грядущей войны. Она бесстыдно плясала, скинув последние шелка, и, повторенная в глазах, отражалась в зеркалах подвала, переполненного военной молодежью, на серебристых плоскостях, делавших стены и потолок подвала; весь подвал походил на зеркальный ящик. «Боже, царя храни»,— пели медные горла дуд, вдруг вспомнившие о себе.

Вышли на мороз. Сели кататься, носиться по Москве, далеко за снежными заставами. Вино в руках. Люди в свежих могилах недавних цветов и зверей, с ног до головы одетые в могилы: разве не овца, белокурая и милая, грела дыханием смерти шею поручика,— разве не братская могила льнов Псковской земли белым полотном рубашки выступала на руке, державшей вино? Разве не темный зверь, с другого конца земного шара, из темных лесов Америки, прильнув к черепу художника, бросил живую дышашую тень и на лоб, и на суровую морщину, и на горящие глаза художника? Он, раньше скакавший в листве за сонными птицами, теперь согревал человека черной могилой, теплой ночью мерцающих пушистых волос, черным сиянием густых

лучей и, воин после смерти, защищал человека от копий мороза. Живя в хижине из чужой смерти, эти люди, в шкурах свежевскопанных могил, готовились сделать прыжок в смерть, чтобы где-то там стать, вернув долг, почвой для растений, дровами для травоядных печей.

— Долг будет выполнен,— все повторяли это слово.

Какая корова, черно-пегая или белая, затопит свое вымя, висящее до земли, душой этого поручика? Какое поле — может быть, голубых незабудок, может быть, золотых лютиков, станет второй душой поручика? — этой горсти земли, похожей на разумные часы, волной, упадающей обратно в черную землю, на шепот земли, вдруг услышанный ухом: «Сын! вернись! мне необходимо тебе что-то сказать!»

Ехали, хмуро и весело молчали. Поручик иногда вставал, и голая шашка на ходу описывала в воздухе какие-то знаки, вроде восьмерки.

Самокат опоясал Москву, раздувая на ходу трубку снежной пыли, испуская стоны раненого зверя. Несколько приговоренных к смерти наступавшей войной сидели за стеклянной темницей внимательными божествами бега. Чудовище летело, подняв над собой какую-то стеклянную Ярославну, лежавшую в глубоком обмороке, подымая черными могучими руками ее стеклянный стан, как сумасшедший арап, не найденный в песнях Пушкина, умыкающий свою добычу.

— Хрюк! — дико хрюкнул самокат, прокалывая тьму холодными белыми клыками. Встречные отвечали ему стоном дикого гуся и исчезали в морозной неге.

Я гадал о войне. Что она для людей? Большое бо-бо? В час ночи, на пути домой, застава около Ворот Славы была снесена со столбов запыхавшимся чудовищем. Мы похлопывали по шее дрожавшее и умиравшее животное, упавшее на колени. Городовые, сделавшие засаду, переписывали наши имена, не совсем довольные тем, что все мы стоим на ногах. Ничуть не удивляясь тому, что мороженое бревно, поперек наших горл, не размозжило наших черепов, мы сошли на снег со сломанного чудовища, полного предсмертной дрожи, издыхавшего рядом; оно было ра-

нено и разбило свои глаза, очаровательные в своем блеске, протыкая вилами черный стог ночей и бросая его через голову.

Теперь я знал, какою будет война: мы вылетим из своих мягких сидений в бешеном беге, сойдем на землю, но застава будет сорвана! Мы видели эту заговорщицу позорно лежащей в снежной пыли, мы щупали наши головы и видели, что они прочно сидят на плечах.

Это маленькое письмо из будущего, незаметно для окружающих ловко врученное случаем, вдруг показало мне войну в себе. Еще не дошедший до нас великий чертеж громадного здания войны, вот он, точно два-три слова, намечающие смысл большого труда.

Я умею угол великих событий, отделенных временем в несколько лет, видеть в маленьких чертежах сегодняшнего дня. В этом крушении были черты, освещавшие будущее.

Да, мы были около вершины угла, и маленькая прямая нашего крушения сменялась великанской прямой войны, пересекавшей стороны чертежа под тем же углом, как и прообраз. Да, застава будет сломана! хотя мы и сойдем на землю.

Я добрыми глазами смотрел на друга, когда он читал: «Я тебя, пропахшего, раскрою отсюда до Аляски» — и его могучий голос страшными объятиями крушил детские хребты понятий, еще не хотевших умирать.

На лицах понятых было написано: «Наша хата с краю». Чугунные тела Ворот Славы, держа трубы, смотрели на нас... Война, нарастая в звуке своей мощи, точно гудок встречного поезда, метала тузы лучших полков, распечатывала все новые и новые колоды людей. Спасаясь от головной боли, проигравшийся игрок облаком замотал голову. Этот кумачово-красный платок придавал ему восточный вид.

Звук войны достиг той высоты, грани слышимого, когда ощущение звука переходит в ощущение боли, и часто можно было видеть среди бросившихся прочь, шарахнувшихся улиц остановившийся «6-й» или «13-й», полный раненых.

«Все умрем»,— услышал я глухой суд из рядов красавца-полка, деловито уходившего на запад. В страшную печь броса-

лись все новые и новые возрасты. Изредка из черных освещенных зданий доносились шумы грустной и могучей молитвы: это пели тысячи грудей уходящих... «Но ведь с той стороны ему тоже молятся»,— подумал я. И вдруг передо мной мелькнул образ маленького жалкого китайца, которого сразу несколько рук дергают за косу,— что ему делать в этой толпе? Мне стало жалко того, кому молились. Кол из будущего надвигался на улицу, полную запаха вчерашних слов и понятий. Лишь верхние чердаки спаслись от потопа других времен. Подвалы были затоплены.

Я шептал проклятия холодным треугольникам и дугам, пирующим над людьми, подымающим ковши с пенной брагой, обмакивающим в мед седые усы князей жизни, и видел, как кулак калек подымается к их теням с тою же глухой угрозой. Я отчетливо видел холодное «татарское иго» полчищ треугольников, вихрей круга, наступавшее на нас, людей, как вечер на день, теневыми войсками, в свой срок, как 12 часов войны; я настойчиво помнил, как чечевица, наполнявшая котелки пехоты, вдруг стала чечевицей лучей мести, собрала в одну точку и зажгла, как хворост.

Я помнил, как по рядам войск пробежало сначала крылатое слово: «тут-то оно и сказалось», произнесенное весело, с лукавым видом взаимного понимания, вдали от начальства, бородатым дядькой, а потом: «бабушка надвое сказала», угрюмо произнесенное суровым боевиком, как отблеск надвигавшейся кровавой зари, две трещины, пересекшие мир того дня.

И не к «войне ли до конца» относилось это загадочно-суровое «бабушка надвое сказала»? — невольно спрашивал я себя. Может быть, число, может быть, треугольник был пастухом этих двигавшихся на запад волн. Не он ли расставил громадные прутья железной мышеловки?

Всей силой своей гордости и своего самоуважения я опускал руку на стрелку судьбы, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение ее плотника. В игре в дураки кто кого оставит в дураках? — спрашивал я себя.

Я помню, как шепот «царь проедет» собирал толпы на углу Тверской. Скороход огромного роста, на аршин выше среднего

уровня платков и котелков, передвигался в ней, городовые заботливо наводили порядок.

Вдруг коршун, зорко, как сыщик, выискивавший кого-то в толпе, два раза пронесся над ней и, точно не найдя, что ему надо, отлетел прочь, скрытый крышами. И только когда промчалась запряженная черной парой коляска царя и мелькнуло его лицо, коршун неожиданно вылетел снова и, опустившись над самой головой царя — точно выполнив поручение,— быстро поднялся и исчез. Точно опущенный палец вдруг указал на кого-то, а голос произнес: «вот он!».

«Коршун»,— разочарованно повторяли многие, и праздник встречи был испорчен, сорван внезапным приходом нового действующего лица.

1922

ЖЕЛЕЗНОЕ ПЕРО НА ВЕТКЕ ВЕРБЫ

Я пишу сейчас засохшей веткой вербы. На ней сидят хохолки, уже помятые комочки шелка, стая пушистых зайчиков, выбежавших на дорогу.

Есть обычай вырывать растение мысли из почвы, где она родилась. Я же хочу, чтобы к корням пристали комья земли для глаз почвоведа.

Первая статья писалась иглой дикобраза лесов Гиляна.

После нее было перо из красной колючки железноводского терновника.

Эта — из вербы, другим взором, в бесконечное, в без-имени.

Я не знаю, какое созвучие дают эти три пера писателя.

За это время отшумело много событий.

На родине дикобраза разбитый Кучук-хан бежал в горы и замерз во время снежной бури. Хорошие воины пошли в горы и у мертвого туловища отрубили голову, чтобы получить за нее хорошие деньги. Так писалась книга нравов за это время.

Но самое яркое светило, взошедшее на небо событий за это время — это пасха 4-х измерений художника Митурича.

Прекрасный памятник из сыра.

На четырех склонах белого холма сыра (сырной горы) было следующее: на одном откосе стоял оттиснутый полумесяц Ислама, на другом — отпечаток ноги Будды, на третьем — крест Северной веры, который одни понимают как проникание времени в пространство и их угловое отношение и видят в нем пространственное толкование учения Минковского, другие — как проясненный лик человека, где ось глаз пересекает перекладину сред-

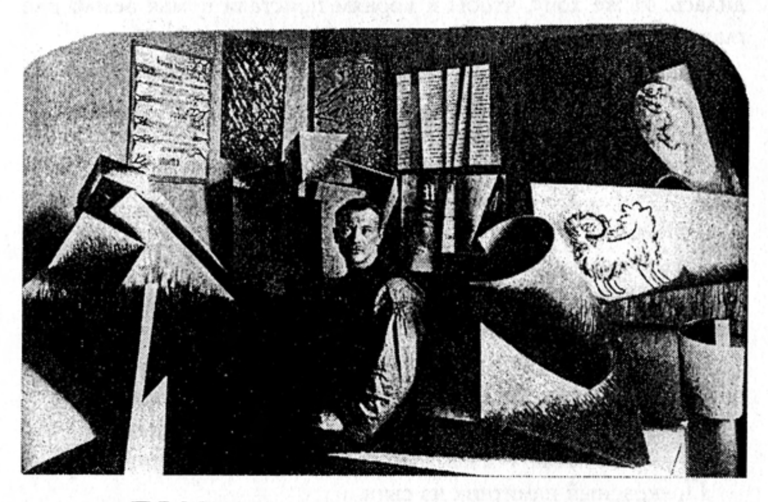
ней черты лица, а на четверт<ом> — рощи из троек и двоек будетлян, где мера заменила веру.

Это изваяние съедобного храма высилось на скатерти.

Подымаю эту вселенную, полную до краев будущим, в честь Митурича!

Между тем летучий отряд борьбы с мировой глупостью печатал эту книгу, чтобы из начальных звуков Баку и Москвы вышло «бом» — подражание удару колокола.

30 апреля 1922



П.В.Митурич среди «пространственной графики»
на темы В.Хлебникова.
Фотография. 1921–1922

П.В.Митурич.
Графическое представление текста Хлебникова. 1919.
(«Черный любирь» — СС, 1:95)

Здесь впервые напечатаны
«Дети Выдры»

ИДИТЕ КЪ ЧОРТУ.

Вашъ годъ прошелъ со дня выпуска 1-хъ нашихъ книгъ: „Пощечина“, „Громокипящій кубокъ“, „Садокъ Судей“ и др.

Появленіе Новыхъ поэзій подѣйствовало на еще ползающихъ старичковъ русской литературочки какъ бѣломраморный Пушкинъ танцующій танго.

Коммерческіе старики тупо угадали раньше одурачиваемой ими публики цѣнность новаго и „по привычкѣ“ посмотрѣли на насъ карманомъ.

К. Чуковскій (тоже не дуракъ!) развозилъ по всѣмъ ярмарочнымъ городамъ ходкій товаръ: имена Крученыхъ Бурлюковъ, Хлѣбникова...

Ѳ. Сологубъ схватилъ шапку И. Сѣверянина, чтобы прикрыть свой облысѣвшій талантикъ.

Василій Брюсовъ привычно жевалъ страницами „Русской Мысли“ поэзію Маяковскаго и Лившица.

Брось, Вася, это тебѣ не пробка!..

Не затѣмъ ли старички гладили насъ по головкѣ, чтобы изъ искръ нашей вызывающей поэзіи наскоро сшить себѣ электро-поясъ для общенія съ музами?..

Эти субъекты дали поводъ табуну молодыхъ людей, раньше безъ опредѣленныхъ занятій, наброситься на литературу и показать свое гримасничающее лицо: обсвистанный вѣтрами «Мезонинъ поэзіи», «Петербургскій глашатай» и др.

А рядомъ выползала свора адамовъ съ проборомъ — Гумилевъ, С. Маковскій, С. Городецкій, Пястъ, попробовавшая прицѣпить вывѣску акмеизма и аполлонизма на потускнѣвшія пѣсни о тульскихъ самоварахъ и игрушечныхъ львахъ, а потомъ начала кружиться пестрымъ хороводомъ вокругъ утвердившихся футуристовъ...

Сегодня мы выплевываемъ навязшее на нашихъ зубахъ прошлое, заявляя:

1) Всѣ футуристы объединены только нашей группой.

2) Мы отбросили наши случайныя клички эго и кубо и объединились въ единую литературную компанію футуристовъ:

Давидъ Бурлюкъ, Алексѣй Крученыхъ, Бенедиктъ Лившицъ, Владиміръ Маяковскій, Игорь Сѣверянинъ, Викторъ Хлѣбниковъ.

Манифест в сборнике «Рыкающий Парнас».
1914

III

ДЕТИ ВЫДРЫ

1-й парус

1

Море. В него спускается золотой от огня берег. По небу пролетают два духа в белых плащах, но с косыми монгольскими глазами. Один из них касается рукой берега и показывает руку, с которой стекают огненные брызги; они, стеная, как лебеди осенью в темной ночи, уносятся дальше. Издали доносится их плач.

Берег вечно горит, подымая костры огня и бросая потоки лавы в море; волны бьются о красные утесы и черные стены.

Три солнца стоят на небе — стражи первых дней земли. В верхнем углу площадки, по закону складней, виден праздник медведя. Большой черный медведь сидит на цепи. Листвени Севера. Вокруг него, потрясая копьями, сначала пляшут и молятся ему, а потом с звуком бубен и плясками съедают его. Водопад лавы падает с утесов в море. Дети Выдры пролетают, как нежно-серебристые духи с белыми крылами.

2

Волны время от времени ударяют о берег. Одно белое солнце, другое, меньшее — красное с синеватым сиянием кругом и третье — черное в зеленом венке. Слышны как бы слова жалобы и гнева на странном языке. В углу занавеси виден конец крыла. Над золотым берегом показывается крылатый дух с черным копьем в руке, в глазах его много злой воли. Копье, шумя, летит, и красное солнце падает, точно склоняясь к закату, роняя красный жемчуг в море; земля изменяется и тускнеет. Несколько зеленых травинок показалось на утесе, сразу прыгнув. Потоки птиц.

Встав на умершее солнце, они, подняв руку, поют кому-то славу без слов. Затем Сын Выдры, вынув копье и шумя черными крылами, темный, смуглый, главы кудрями круглый, ринулся

на черное солнце, упираясь о воздух согнутыми крыльями,— и то тоже падает в воды. Приходят олени и звери.

Земля сразу темнеет. Небу возвращается голубой блеск. Море из черного с красными струями стало зеленым. Дети Выдры подают друг другу руку и впервые опускаются на землю. В дневной жажде они припадают устами к холодной струе, сменившей золотой поток лавы; он надевает на руку каменный молоток и раскалывает камень. Всюду травы, деревья, рощи берез. Он сгибает березу, роняющую листья, в лук, связывает прядью волос.

Показывается маленький монгол с крыльями.

Озирая курган прежних спутников, одинокое солнце закатывается в грустных облаках.

Покачивая первые дни золотого счастья, Матерь Мира — Выдра показывается на волнах с рыбой в зубах и задумчиво смотрит на свои дела.

Первый дым — знак жизни над той пещерой, куда привел их мотылек.

3

Дети Выдры сидят у костра вдвоем и растапливают свои восковые крылья. Сын Выдры говорит, показывая на белое солнце: «Это я!» Черный конь морских степей плывет, летит вода из круглой ноздри около круглого глаза. Кто-то сидит на нем, держа в руках слоновую доску и струны.

То первые дни земного быта.

Крупный морской песок. Ребра кита чернеют на берегу. Морские кони играют в волнах. Одинокий естествоиспытатель с жестянкой ходит около них, изучая мертвые кости кита. Дочь Выдры берет в морскую раковину воды и льет за воротничок ученому. Он морщится, смотрит на небо и исчезает.

Небо темносерое. Дочь Выдры окутана волосами до ног. Дождь. Письма молнии. Прячась от нее, они скрываются в пещере. Небо темнеет. Крупные звезды. Град. Ветер. Площадь пересекает черный самобег. Дикие призывные звуки. Здесь стон разбившегося насмерть лебедя и дикое хрюканье носорога. В темноту брошены два снопа света, из окна наклоняется истопник в шубе и,

протягивая руку, кричит: «туда!» — и бросает на песок сумку. Страшный ветер. Дрожа от холода, они выходят, берут привезенные одежды. Они одеваются. На нем пуховая шляпа. Дочь Выдры в черной шубке; на ней голубой чепец. Они садятся и уезжают.

Бородатый людоконин, с голубыми глазами и копытами, проходит по песку. Муха садится ему на ухо; он трясет темной гривой и прогоняет. Она садится на круп, он поворачивается и задумчиво ловит ее рукой.

4

Поднимается занавес — виден зерцог «Будетлянин», ложи и ряд кресел. Дети Выдры проходят на свои места, в сопровождении человека в галунах.

На подмостках охота на мамонта.

Золотые березы осени венчают холм. Осины. Ели. Толпа старцев и малые внуки стоят, подымая руки к небу. Бивни желтые, исчерченные трещинами, эти каменные молнии, взвились кверху. Как меткая смерть, носится хобот в облаках пыли. В маленьких очах, с волосатыми ресницами, высокомерие. Художник в дикой, вольно наброшенной шкуре вырезает на кости видимое и сурово морщит лоб. Камни засыпают ловчую яму, где двигается один хобот и глаза.

В.М.Васнецов.
Каменный век. Панно в Историческом музее.
1885

Занавес

Твою шкуру секли ливни,
Ты знал ревы грозы, ты знал писки мышей,
Но как раньше сверкают согнутые бивни
Ниже упавших на землю ушей.

2-й парус

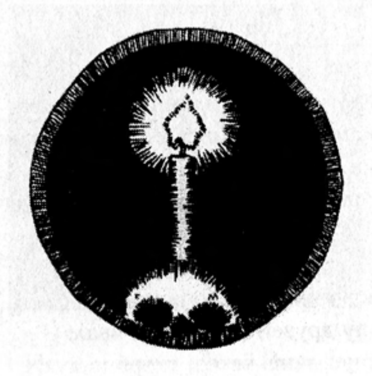
Горит свеча именем Разум в подсвечнике из черепа; за ней шар, бросающий на все <атом> черной тени. Ученый и ученики.

Ученый. Точка, как учил Боскович, ровесник Ломоносова, — что? (*Срывается со стороны игра в мяч. Мяч куда-то улетает.*) Бурные игроки!

Игрок. От силы сапога
Летит тот за облака.
Но слабою овечкой
Глядит другой за свечкой.

Атом вылетает к 2-му игроку; показываются горы. Это гора Олимп. На снежных вершинах туземцы молитв.

Б<оги>. Гар, гар, гар! Ни, ни, ни! Не, не, не!



К.С.Малевич. Memento mori.
1908

Размером «Илиады» решается судьба мирмидонянина.

Впрочем, он неподалеку, в сумраке, целует упавшую с закрытыми очами Бризеиду и, черный, смуглый, подняв кверху жесткие черные очи, как ветер бродит рукой по струнам.

Сверху же беседуют о нем словом Гомера: «Андра мой эннепе, Муза».

Снежный зверинец, наклоняя головы, сообща обсуждает час его. Сейчас или позднее он умрет.

Ахилл. Я люблю тебя! Ну ляг, ляг, ну положи сюда свои черные копытца. Небо! Может ли быть что-нибудь равное мое<й> Брысе? Это ничего, что я комар! О чем вы там расквакались? (*Раньше все это было скрыто тенью атома.*) Не смей смеяться. Нехорошо так сладко смеяться. Подыми свои голубые ловушки.

Наверху Олимп бросал взволнованно прочувствованные слова на чашку весов, оживленно обсуждая смерть и час Ахилла.

Впрочем, скоро он заволакивается облаками и становится нашей Лысой горой с одинокой ведьмой.

На все это внимательно смотрели Дети Выдры, сидя на галерке, приехавшие с морского берега, еще нося на щеках морскую пыль.

3-й парус

Сын Выдры думает об Индии на Волге; он говорит: «Ныне я упираюсь пятками в монгольский мир и рукой осязаю каменные кудри Индии».

Сын Выдры слетает с облаков, спасая от руссов Нушабэ и ее страну.

Ушкуйник, грустно негодуя,
Толпу друзей на помощь звал.
Вотще! лишь ветер, скорбно дуя,
Его на дереве качал.

Из черновиков «Детей Выдры»:
«Контрапункт» предполагавшегося сюжета

Страницы черновой рукописи

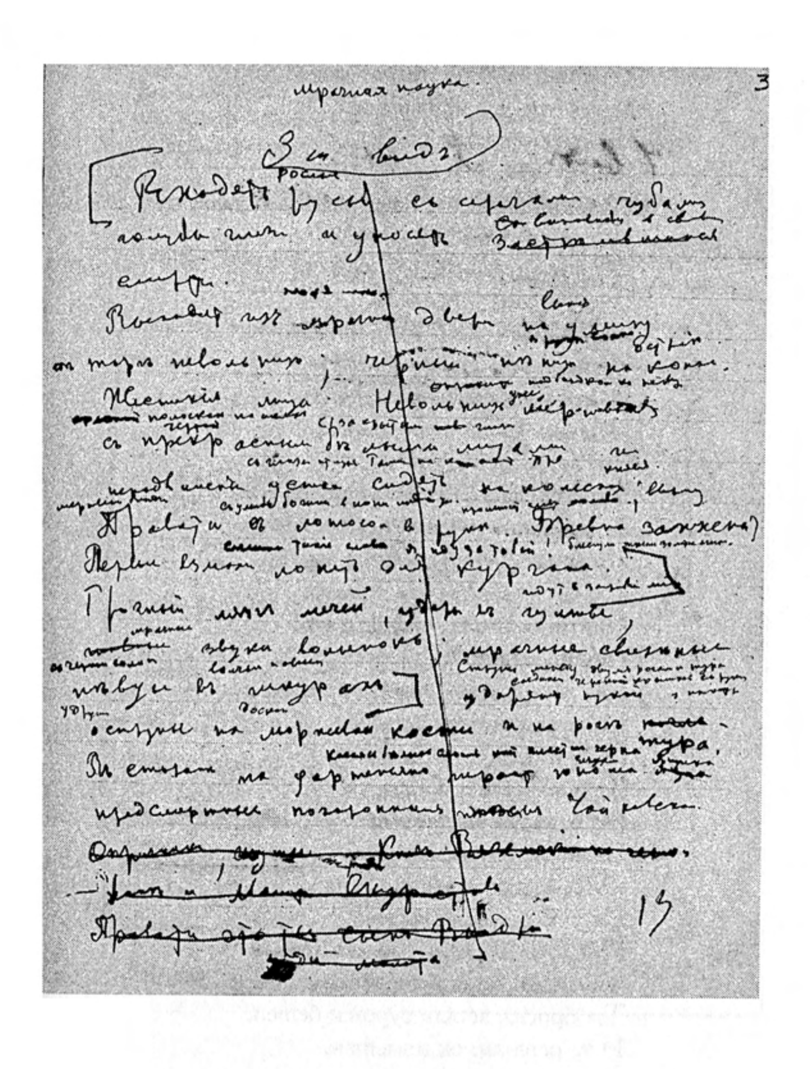
«Детей Выдры» (ИМЛИ)

Ему гребцов знаком был навык
И взмах веслом вдоль длинных лавок,
И вещий холод парусов,
На латах, шлеме — знак рубцов.
И плач закованных купцов,
Трусливых, раненых, лукавых.
Щели глаз свои кровавых
Филин движет и подъемлет,
И косое око внемлет,
Как сучок внутри извилин.
Погасил, шурша, бубенчики,
Сон-трава качает венчики.
Опять, опять хохочет филин,
Но вот негромкий позвонок,
Усталый топот чьих-то ног.
Покрыты в тканей черных груды,
Идут задумчиво верблюды,
Проходят спутники араба:
То Мессакуди и Иблан
Идут в Булгар,
За ним Куяба —
Дорога старых персиян.
«Искандр-намэ» в уме слагая,
Он пел про руссов золотых,
Как всё, от руссов убегая,
Молило милости у них.
Как эта слава неизвестная,
Бурей глаз своих небесная,
Рукой темною на рынок
Бросает скованных богинь,
А в боя смертный поединок,
Под песни бешеных волынок,
Идет с напевом: «Дружба? сгинь!»
Визг парусов вверху телег,
Пророча ужас и набег,
Уводит в храмов темных своды

Жрецов поруганной колоды,
Их колесные суда
Кладбища строят навсегда.
В священной рощи черной тьме
Иблан запел:
«Искандр-намэ!»
Где огнепоклонник ниц упал,
Горбом бел своих одежд,
И олень во тьме ступал,
Рог подъемля сонных вежд, —
Там лежит страна Бердая,
Цветом зорь не увядая.
Песня битв — удар весла,
Буря руссов принесла.
Видя, что красней соломы
Гибнут белые хоромы,
Плакал злобно старый ясс,
О копье облокотясь.
Морских валов однообразие,
Дворцы туземных поморян,
И уж игрушки веселой Абхазии
Кудрями машут среди северян.
Царь Бердай и Нушабэ
Гневно молятся судьбе.
«Надень шлем, надень латы!
Прилети сюда, крылатый
Царь Искандр! Искандр, внемли
Крику плачущей земли.
Ты любимцем был веков!
Брось пирушку облаков!
Ты, прославленный людьми,
Дерзость руссов покарай.
Меч в ладонь свою возьми,
Прилети с щитом в наш край!
Снова будь земная ось,
Мудрецов же сонных брось».

И тот сошел на землю,
Призрак полководца!
Беги, храбрец! затем ли?
С мертвыми бороться?
Уж с Камы два прекрасных венда
Копьем убиты Зоревенда.
Но русс Кентал,
Чьи кудри — спеющий ковыль,
Подковой витязя топтал
Сраженьем взвеянную пыль,
Как прокаженный нелюдим,
Но девой снежною любим.
Тогда Искандр дал знак полкам,
В шлеме серебряном изогнут.
Он ждал, с дружиной войдя в храм,
Когда от битвы руссы дрогнут.
И пал Кентал.
Но долго мчался наяву,
Прижав к коню свою главу,
С своим поникшим кистенем
И сумасшедшим уж конем.
И нес его конь, обнажая резцы,
Сквозь трупы, сквозь сонмы смущенных людей,
И руссы схватили коней под уздцы,
И мчались на отмель, на парус ладей.
В путях своих велики боги,
Арабы мудры и мирны,
И наблюдают без тревоги
Других избранников войны.
А море стало зеленее
И русской кровью солонее.

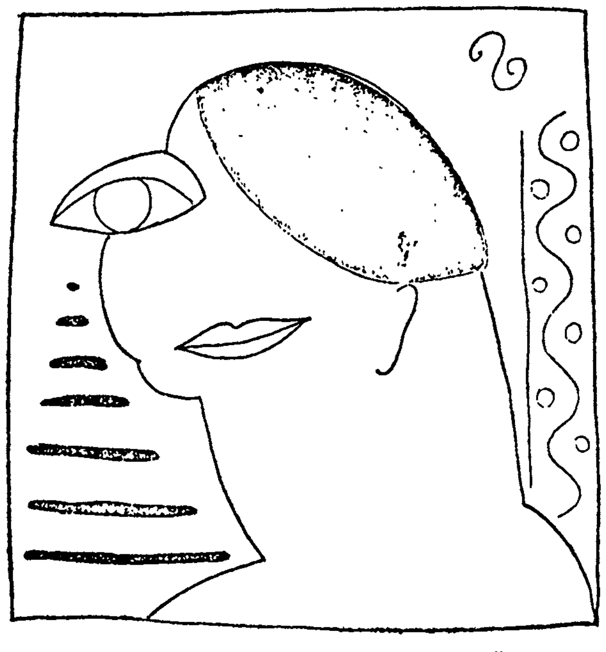
Гремит, журча струей, родник;
Мордвин, арабов проводник,
Сложив оазису моленье,
Сказал: «Здесь стан отдохновенья.



Страница черновой рукописи «Детей Выдры»

Здесь расположим мы свой стан
Вблизи столицы государства;
В Булгаре любят персиян,
Но Кереметь — само коварство».
Но клич, но стон потряс леса;
В нем отблеск близких похорон,
И в нем не верят в небеса.
Костер печально догорает,
Пламёна дышат в беспорядке.
Индиец старый умирает,
Добыча страшной лихорадки.
Глава о руки упиралась
И дыханьем смерти волновалась.
И снова зов сотряс покой.
И он взмахнул своей рукой:
«Меня в гроб тот положите,
Его же, отроки, спасите.
Мой близок, близок смертный сон,
А там невинно гибнет он.
Не дорожу дней горстью малою,
Его же новым веком жалую».
Никто, никто не прекословит,
Ему поспешно гроб готовят.
Как лев, тот выпрыгнул из гроба;
Его душили гнев и злоба.
Он у индийца вырвал меч,
Круг начертав любимцем сеч.
Но безоружные арабы
Знаками успокоили его:
«Мы безоружные и слабы,
Не бойся друга своего.
И, кроме звезд, у нас нет кровли.
Мы люди мира и торговли».
Тот бросил взгляд суров и бешен.
И те решили: он помешан.
Два-три прыжка — и он исчез:
Его сокрыл высокий лес.

Какъ левъ тотъ выпрыгнулъ изъ гроба. Его душили
гнѣвъ и злоба.
Онъ у индійца вырвалъ мечъ, кругъ начертавъ лю-
бимцемъ сѣчь.
Но безоружные арабы знаками успокоили его.
Мы безоружные и слабы не бойся друга своего.
И кромѣ звѣздъ у насъ нѣтъ кровли. Мы люди мира
и торговли.
Тотъ бросилъ взглядъ суровъ и бѣшенъ. И тѣ рѣ-
шили: онъ помѣшанъ.
Два три прыжка и онъ исчезъ: его сокрылъ высо-
кій лѣсъ.



Рисунокъ Владимiръ Бурлюкъ.

Страница первой публикации «Детей Выдры»

<4-й парус>

СМЕРТЬ ПАЛИВОДЫ

Вокруг табора горели костры.

Возы, скрипевшие днем, как того требовала неустрашимость их обладателей, теперь молчали.

Ударяя в ладоши и кивая головой, казаки пели.

Славни молодцы паны запорожцы.
Побачили воны цаплю на болоте.
Отаман каже: «От же, братцы, дивка!»
А есаул каже: «Я з нею кохався».
А кошевой каже: «А я и повинчався».

Так, покручивая усы, пели насмешливую, неведомо кем сложенную песенку, смеющуюся над суровым обычаем Сечи Запорожской, этого русского ответа на западных меченосцев и тевтонских рыцарей.

Молчавшие стояли и смеялись себе в усы; испуганный кулик прилетел на свет пламени и, захлопав крыльями, улетел прочь.

Коростель, эта звонкая утварь всех южных ночей, сидел и кричал в лугу. Волы лежали в степи подобно громадным могильным камням, темнея концом рог. Искалась на них надпись благочестивого араба: так дивно, как поднятые ребром серые плиты, подымались они косым углом среди степи из земли. Одинокий верблюд, которого пригнал лазутчик-крымчак, спесиво смотрел на это собрание воинов, вещей, волов в дикой зеленой стране, эти сдвинутые вместе ружья с богатой отделкой ствола и ложа, эти ратища со значками, эти лихо повернутые головы, эти кереи, вольно ложившиеся на плечах, воинственно и сурово сбегавшие вниз, где еще вчера, быть может, два волка спорили над трупом третьего, или татары варили из конины обед. Зегзицыны чоботы быстро и нежно трепетали под телом большой бабочки.

Назавтра, чуть забелелся рассвет, табор тронулся в путь.

Снова заскрипели возы, как множество неустрашимых, никого не боящихся людей. Вот показались татары; порыскав в по-

ле, они исчезли. Их восточные, в узких шляпах, лица, или хари, как не преминул бы сказать казак, выражали непонятную для европейца заботу. Казаки заряжали пищали, сдували с полки пыль, осматривали кремни, настороженно висевшие над ударным местом, и в шутку стреляли в удальцов.

На быстрых утлых челнах продолжался путь. Сквозь волны, натрудясь белым у одних, смуглым у других телом, казаки гребли, радуясь тихой погоде и смеясь буре, ободряемые сопутствующим ветром.

Был предан мятежу целый край. Ведя за руку плачущих черноволосых женщин или неся на плече дырявые мешки с золотыми и серебряными сосудами, шли победители к морю.

Славную трубку раскурили тогда воители. Казалось, казацкий меч сорвался с чьих-то плеч и плясал гопака по всей стране. На обратном пути довольные, шутя и балагуря, плыли казаки; гребли весело и пели. Пел и Паливода. Не думали они о том, что близка смерть для многих храбрецов. Да и была ли бы возможна эта жизнь, если б они задавали судьбе эти вопросы!

Паливода стоял и думал; оселедец вился по его гладкому затылку; пастбище смертей с рукоятью, как куст незабудок, было засунуто за широкий пояс. Холодней волн озера блестел его угол за поясом. Белая рубаха и испачканные смолой штаны украинского полотна дополняли наряд — суровый и гордый. Загорелая рука была протянута к закату; другие казаки были в повязке осенних маков.

Оперся на свое собрание бирюзы и сапфиров казак и смотрел вдаль, на пылающее от багрянца море.

Между тем, как волк, залег на их пути отряд крымских татар. Была сеча; многие остались лежать, раскинув руки, и всякого крылатого прилетного татарина кормить очами. В ту пору это было любимое лакомство орлов. Случалось, что сытые орлы не трогали груды трупов на поле сечи и клевали только глаза. Лютая суровая сеча. И был в станице бессмертных душ, полетевших к престолу, Паливода. Зрелым оком окинул он, умирая, поле битвы и сказал: «Так ныне причастилась Русь моего тела, иду к горнему престолу».

И оставил свое тело мыть дождям и чесать ветру и полетел в высокие чертоги рассказать про славу запорожскую и как погиб за святую Русь.

И увидел, пока летел, Нечосу и его спутников, и запорожскую «ненько», принимающую величественным движением руки целующих ее руку, с наклоненными стрижеными головами, ходоков земли запорожской. И стадо вельмож кругом.

И смутилось сердце и заплакал, но после запел воинственно и сурово. И величавый летел по небу.

Увидел синий дым и белую хату, и подсолнух, и вишни и крикнул сурово и гордо:

Пугу, братцы, пугу!
Пугу, запорожцы!

И высунулось из светлицы доброе и ласковое лицо и ответило: «Пугу, пугу!»

И снова голосом, в котором дрожала недавняя обида, казак ответил: «Казак с большого луга».

И снова закивал старой головой и позвал казака до дому. Мать накрывала на скатерть и с улыбкой смотрела на воина. Так нашла уют тоскующая душа казака. Он слушал рассказ про обиды и думал, как помочь своему воинству. И, наклонясь из старого окошка, видели, как на земле, гикая и улюлюкая, несся Молодые Кудри на тучу врагов и вдруг, дав назад, поволок по полю дичь. И как, точно свет из разорвавшейся тучи, понеслись с копьями оправившиеся казаки, и все смешалось и бежало перед ними. И за плечами Сечи Запорожской, казалось, вились крылья. Была победа за русскими. И поклонился в пояс, и полетел дальше Паливода, смутный и благодарный.

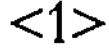
И как песнь жаворонка, которая постепенно переходит в стук мечей и шум сечи и голоса победителей, донеслась до него ликующая казацкая песнь: «Пугу, братцы, пугу!» Воины с длинными крыльями летели к нему навстречу и, со светлыми лицами божественных юношей, умчали завернутую в согнутые крылья человеческую душу к покою и миру.

Так предстал пред светлые очи гордый казак, чей сивый ус вился вокруг как бы каменной щеки, а голубые глаза смотрели холодно и спокойно и на самую смерть.

А победители казаки долго сумно стояли над могилой Паливоды, пока старейший не махнул рукой и не сказал: «Спи, товарищ!» — дав тем самым знак закапывать могилу славного.

5-й парус

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПАРОХОДЕ


<1>

Разговор

Громад во мгле оставив берег,
Направив вольный в море бег
И за собою бросив Терек,
Шел пароход и море сек.
Во мгле ночей что будет с ним?
Сурова и мрачна судьба пароходов,
Много из тех, кто земными любим,
Скрыто внутри его шелковых сводов.
Прильнув к веревочной ограде,
Задумчиво смотрели полудети,
В каком жемчужном водопаде
Летели брызги в синем свете.
И призрак стеклянный глубин,
И чайки на берег намеки:
Они точно крылья судьбин,
От берега мы недалеки.
На палубах шныряют сотни,
Плывешь ты, по морю прохожий,
Окован суровою кожей;
Морские поют оборотни.
Окраскою серою скромен
И строгий в строеньи своем,
Как остров во мраке огромен,
Рассек голубой водоем.
В плаще, одряхлевшем от носки,
Блестя золотыми погонами,

Взошел его вождь на подмостки —
Он правит служебными звонами.
— Теченье мысли не нарушу,—
Кто-то сказал, смеясь во взоре,—
Что будет год, оставив сушу,
Наполним воздух или море.
— Но что же, если мы вспорхнем
Однажды дальше в синеву,—
Со звезд полуночным огнем
Увижу землю наяву.
Ведь власти — речь и материк
На жизнь и смерть хранят союз,
Как будто войн устал старик
Нести на плечах мелкий груз.
Возница мира раньше вез
Молниегривыми конями
Из мира страданий и слез
Более скорбей, одетых тенями.
И к быту первых дикарей
Мечта потомков полетит,
И быт без слов — скорей, скорей! —
Она задумчиво почтит.
— Если мир одной державой
Станет — сей образ люди ненавидят,—
В мече ужели посох ржавый
Потомки воинов увидят?
Когда от битв небес излучин
Вся содрогается земля,
Ученых разум станет скучен,
И я скучаю, им внемля.
Да, те племёна, <что> моложе,
Не соблазнились общим братством,
Они мечом добудут ложе
<..................>
— Не в самых явных очертаниях
Рок предстоит для смертных глаз,

Но иногда в своих скитаниях
Он посещает тихий час.
«Мне отмщение и Аз воздам»,—
Все, может быть и мы услышим.
Мы к гневным молний бороздам
Лишь в бури час умы колышем.
Пожар я помню небоскреба
И глину ласточек гнезда,
Два-три серебряные зоба
Я не забуду никогда.
Огнем и золотом багровым
Пожар красивый рвет и мечет,
А на стене в окне суровом
Беспечно ласточка щебечет.
Летают молнии пламёна
На свод морей, как трость волнуем,
И ветров гневные племёна
Рассвирепели поцелуем.
Еще ужасней наводненье:
Где раньше пела детвора,
Там волны с криками «ура»
Ломают бедное селенье.
Везде мычащие стада
Как будто ревом помогают,
И из купален без стыда
Нагие люди выбегают.
Судов на пристани крушенье,
Плачевный колокола звон
И на равнине в отдаленьи
И крик, и вопль, и бледный стон.
И что ж? где волны диким гнездом змей
С лобзаньем к небу устремлялись,
Там голубиный сон морей
И солнца блеск — его скиталец.
Да, от дворцов и темных хижин
Идет мятеж на власть рассудка.

Добряк в очках сидит обижен,
Глупца услышать ведь не шутка.
— О судьбах речь, кто жил глубоко,
Кто сумрак и огонь зараз,
Тот верит в видящее око,
Чету всевидящую глаз.
Бойтеся русских преследовать,
Мы снова подымем ножи
И с бурями будем беседовать
На рубежах судьбы межи.
И если седьмое колено
Мешает яд и точит нож,
Его права на то: измена
Подкралась с лицами вельмож.
На злодеяния бешеном вале
Должен носиться потомка челнок,
За то, что у предков когда-то отняли
Славу, лучи и венок.
— О юноша, ваш лепет,
То дерзкий, то забавный,
Мне рассказал, что вами не пит
Кубок общий, в мире главный.
Ведь листья зеленые жили особо,
Позднее сплетались в державы стволов,
Туда и мы — любимцы гроба,
Невода мертвых неясный улов.
— Желудок князем возгласить,
Есть в этом, верю, темный смысл.
Пора кончать тех поносить,
Кто нас к утесу дум возвысил.
Ка́к на глав змеиных смысел
Песни чертога быть зодчим,
Ка́к рассказать володение чисел,
Поведать их полдням и но́чам?
О, сумасшествие пророка,
Когда ты мир ночей потряс,

Ты лишь младенцем в объятиях рока
Несся сквозь звездных сияние ряс.
— А изображение главы
Вам дорогого существа:
Сестры́, неве́сты, брата — вы
Лучи другого естества <?>
— Кто изнемог под тяжестью возмездий
И жизнь печальную оглянет,
Тот пред лицом немых созвездий
Своего предка проклянет.
Опасно видеть в вере плату
За перевоз на берег цели,
Иначе вылезет к родному брату
Сам лысый черт из темной щели.
Мы жребия войн будем искать,
Жребия войн земле неизвестного,
И кровью войны станем плескать
В лики свода небесного.
И мы живем верны размерам,
И сами войны суть лады,
Идет число на смену верам
И держит кормчего труды.
И грозная бьется гора
Сверкающей радугой пыли.
Когда мы судили «вчера»,
О роке великом забыли.
— Помнишь безумную ласточек дурь,
Лиц пролетающих около,
Или полет через области бурь
Бело-жестокого сокола?
О, бедствие нам — одиноким и зрячим
Столбам на полях слепоты.
Ответим мы стоном и плачем
На шествие судеб пяты.
Ты прав: не костер, а вязанка готовая дров,
Из кубка живого я не́ пил.

Ты же, чей разум суров,
Ты старого разума пепел.
Мы не рождаемся в жизнь дважды,—
Сказал задумчивый мудрец.—
Так веселись, будь светел каждый,
И здравствуй ты, о звон колец!
Свершай же, свершай свой бег,
О, моря жестокого данник.
Идешь, так хотел человек,
Иди же, иди же, о странник!
И храмы убийства быков
В широких и круглых стенах,
И буря внезапных хлопков,
И бык, упадающий в прах.
И жизни понятен мне снова учебник,
Мрет муравейника правда живая,
А ты, таинственный волшебник,
За дубом стоишь, убивая:
Приятно гибель и раскол
Принесть, как смерти чародейник,
Огромного дуба сокрытый за ствол,
В кипучий трудом муравейник.

А волны черные и бурные
С журчаньем бились о прибой,
Как будто дерзко-балагурные
Беседы с мрачною судьбой.
Наездник напрасно, плывя, помогал.
Конь вороной за отлива волной
Шел, храпя,
И после в испуге долой убегал,
Ремнями возницу идти торопя,
И снова к прибою бежал, оживая,
Как будто в глубинах друзей узнавая,
Как будто бы родина там вдалеке,
Кругом же прибоя черта снеговая
<.......................>

— Вы, книги, пишетесь затем ли,
Чтоб некогда ученый воссоздал,
Смесив в руке святые земли,
Что я когда-то описал?
И он идет: железный остов
Пронзает грудью грудь морскую,
И две трубы неравных ростов
Бросают дымы; я тоскую.
Морские движутся хоромы,
Но, предков мир, не рукоплещь,
Ведь до сих пор не знаем, кто мы:
Святое Я, рука иль вещь?
Мы знаем крепко, что однажды
Земных отторгнемся цепей,
Так кубок пей, хотя нет жажды,
Но все же кубок жизни пей.
Мы стали к будущему зорки,
Времен хотим увидеть даль,
Сменили радугой опорки,
Но жива спутника печаль.
Меж шестерней и кривошипов
Скользит задумчиво война,
И где-то гайка, с оси выпав,
Несет крушенье шатуна.
Вы те же, 300, 6 и 5,
Зубами блещете опять,
Их вместе с вами, 48,
Мы, будетляне, в сердце носим
И их косою травы косим.
Нас просят тщетно: мир верни,
Где нет винта и шестерни.
Но будетлянин, гайки трогая,
Плаща искавший долго впору,
Он знает, он построит многое,
В числе для рук найдя опору.
Ведь к сплаву молний и лавины
Кричали толпы: «Мы невинны!»

О человек, забудь смирение!
Туда, где старой осью хлябая,
Чуть поборая маслом трение
И мертвых точек перебой,—
Одно, одно! — созвездье слабое
В волненьи борется с судьбой,
Туда иди, красавец длани,
Будь старшим братом этой лани,
Ведь меж вечерних и звездных колес
Ты один восстаешь на утес.
И войны пред тем умеряют свой гнев,
Кто скачет, рукою о рок зазвенев.
Земного пути колесо маховое,
И вечер, и речка, и черные хвои,
И оси земной в тучах спрятанный вал —
Кобзу кобзарю подавал,
А солнце — ремень по морям и широтам —
Скользит голубым поворотом.

Сын Выдры кричит «ау» Индии спящей.

2

Игра на пароходе

Дети Выдры играют на пароходе в шахматы.

Площадь — поле шахматной доски; действующие лица: Пешки, Ферязь, Конь и другие.

Видны руки Детей Выдры и огромные спички.

Черные молчат. Белые говорливы.

1-ая пешка. Тра-ра́-ра, тра-ра́-ра, тра-ра́-ра.
Тра, ра, ра, ра́ —
Мы люди войны и удара.
Ура, ура!

2-я пешка. На зовы войны и пожарищ
Шагает за мною товарищ.
И с нами шагает беда!
(Мрачно)
Да-да!

Предводитель. Возьми скорей на мушку
Задумчивую пушку.
Зовет рожок военный,
За мной идет отряд.
Молвою вдохновенной
Те пушки говорят.
У каждой свой заряд.

3-я пешка. Там-там,
К высотам!
Знамя там.

Конь. Скачу я вбок и через,
Туда, где вражья Ферязь.
Я ноги возвысил,
А уши развесил.
Меж вражеских чисел
Кидаюсь я, весел.

Ферязь. В латах я. Пусть
Нами башня занята
Не та.
«Ура» так просится к устам!
Победа все еще не там!
На помощь иду я
К усталым отвагам
Ускоренным шагом,
Воюя и дуя!
В кровавых латах прочь мы выдем
И сколько люда не увидим.

Черные молчаливые. Зирин! Зирин!
Мат!

Шахматы складывают в коробку.

Сын Выдры. Вот и всё.
Мне скучно, и нужно нам игру придумать.
Сколько скуки в скоке скалки!
О, день и динь, и дзень!
О, ночь, нуочь и ничь!
Морской прибой всеобщего единства.

<3>

Морское путешествие

Сын Выдры перочинным ножиком вырезывает на утесе свое имя: *Велимир Хлебников.* Утес вздрагивает и приходит в движение; с него сыпется глина, и дрожат ветки.

Утес. Мне больно. Знаешь, кто я? Я сын Пороса.

Сын Выдры. Здравствуй, поросенок!

Утес. Зачем глумиться?
Но игрушками из глины
Я, растроганный, сошел
И зажег огнем долины,
Зашатав небес престол.
Пусть знает старый властелин,
Что с ними я — детьми долин,
Что угрожать великолепью
Я буду вечно этой цепью,
Что ни во что его не чту,
Лелею прежнюю мечту.
И вновь с суровою божбой
Я славлю схватку и разбой,

Утоляя глад и гнев
Им ниспосланных орлов,
Точно снег окоченев
Над ущельем соколов.
За серной бродит здесь охотник,
Где горы к облаку приближены,
Давно воздвиг их древний плотник,
Дворцы и каменные хижины.
Вишу, как каменный покойник,
У темной пропасти прикованный
За то, что, замыслом разбойник,
Похитил разум обетованный.
Я помню день борьбы и схватки
С толпой подземных великанов:
Мелькали руки и лопатки,
И ребра согнутые станов.
Узнает полночь этот мир,
Сегодня что, как утро, свеж,
И за пустой весельем пир
Костяк взойдет, в одежде мреж.
Смотри, уж Грузия несет корзины
И луч блеснул уж на низины.

Люди.

Бог великий что́ держал,
Скрытый сумрака плащом,
Когда ты во тьме бежал,
Обвит молнии плющом?
Он не́ дал разум нашим дедам
В эти ветхие года
И в плену горы соседом
Обречет быть навсегда.
Но что с ним сделали враги?
Где радость, жизнь и где веселье?
За веком век печально нижет,
Прикован к темному ущелью,
И лишь олень печально лижет,
Как смолы, кровь с его ноги.

И на кудрей его вершины
Льют века свои кувшины.

Сын Выдры. Но чью-то слышу я дуду.
Сейчас иду.

Люди. Клянемся, сон бесчеловечен.
Как кровь и сало, блещет печень!

Сын Выдры. Прощай, собрат. Прости невольную ошибку.
Страдалец! Целую твой священный палец!

Орлы. Пролетаем с пожеланьем
Сердцу вырванному вырасти,
Над изящным стадом ланей
В склонах мглы и утра сырости.

Дочь Выдры. Походить бы я хотела
Очертаниями тела,
Что с великим и убогим
Быть чарующей не ленится
И искусством хромоногим —
Вечно юная изменница.

Освобождает его, перерезая, как черкешенка <Пушкина>, цепь. Дети Выдры идут к водопаду.

Занавес.

<4>
Крушение во льдах

— Но что за шум? Там кто-то стонет!
— Льды! Пароход тонет.

Сын Выдры. Жалко. Очень жалко.
Где мои перчатки? и где моя палка?
Духи́ пролил.
Чуть-чуть белил.

Вбегающий. Уж пароход стоит кормой
И каждой гайкою дрожит.
Как муравьи, весь люд немой
Снует, рыдает и бежит.
Нырять собрался, как нырок.
Какой удар! Какой урок!
И слышны стоны:
«Небеса, мы невинны».
Несется море, как лавины.
Где судьи? Где законы?

6-й парус

ДУША СЫНА ВЫДРЫ

Ганнибал. Здравствуй, Сципион.
И ты здесь? как сюда попал?
Не знаю, прихоть иль закон:
Сюда идет и стар и мал,
Да, все бегут на тень утеса.
Ты знаешь, мрачный слух пронесся,
Что будто Карл и Чарльз — они
Всему виною: их вини.
Два старика бородатых,—
Все слушают бород лохматых,—
Поймав, как жизнь морской волны,
Клешнею нежные умы
И тело веры, точно рыбки,
Клешней своей сдавив ошибки,
Добыче право дав висеть

Страницы черновой рукописи

«Детей Выдры» (ИМЛИ)

(Пускай поет в тисках железных,
В застенке более полезных),
Поймали нас клешнями в сеть.
Весы над книгой — весы счетов
Числа́ страниц и переплетов.
Ей можно череп проломить,
Другим не надо изумить,
Хотя порой в ее концах
Ничто сокрылось, как в ларцах,
Ума не будет и помину —
И я пред книгой шляпу скину.
Давай возьмем же по булыжнику
Грозить услугой темной книжнику?
Да, эту старую войну
С большой охотой я начну.
Я шел войной на римский дол,
Вперед, упрям и бледен, шел,
Стада слонов сквозь снег провел,
Оставив цепи дымных сел,
Летел, как призрак, на престол,
Свободу юга долго пас,
Позднее бед числа не счел,—
Не для отчизны властных глаз,
И много знал в душе я ран,
И брата лик упал в мой стан;
Он был с копья сурово сброшен,
Суровым долгом рано скошен,
А волосы запутались о тын,
Был длиннокудр пустыни сын,—
Нет! Но потому, что римские купцы,
Сходя толпой накрашенной в Аид,
Погибнув от обжорства, лени и чумы
Зовут избытки и заразы,
Телом лоснящимся и масляным
Помощники неслыханным напраслинам.
Смерть розную рождение сулит
Пустыни смолами надушен

К словам, умри, равнопослушен.
А путь сюда велик и прям
И мира нашего властям
Становятся ненужными подпольные заказы,
Посредством юрких ходоков,
На масло и на жир у римских мясников,
На снедь горячую и гадкую,
В ней мы, по ученью мудрецов,—
<Не> верю я в ученье шаткое! —
Печемся здесь в смоле купцов,
По грудь сидя в высоких бочках,
В своих неслыханных сорочках,
Забыв о битвенных утехах
И о латах и доспехах,
Не видя в том ни капли толку,
И тянем водку втихомолку.
Ее приносят сторожа
Тайком, украдкой и дрожа.
Смущать подземное начальство
Они научены сызмальства.
Итак, причина у войны:
Одни весьма, весьма жирны.
Так Карл мрачно учит нас.
Товарищ в славе повествует
Толпе соседей и соседок
Про утро наших грез и сует,
Что первый мой неясный предок,
Сокрытый в сумраке времен,
Был мил и дик, но не умен.
Рукой качаясь на сучках,
С неясной думою в зрачках,
В перчатках белых на меху,
Как векша, жил в листве вверху,
Ел пестрых бабочек и зерна,
Улиток, слизней и грибы,
Он наблюдал глазами черными
Звезд ток, взобравшись на дубы,

Ладонью пользуясь проворной
Для ловли, бега и ходьбы.
И вовсе был простаковат
Наш предок, шубою космат,
С своей рукою волосатой.
А все же им служи и ратуй.
Таких людей я с ног сшибал
Одной угрозой темных взоров.

Сципион. Ты прав, мой храбрый Ганнибал,
Они не стоят разговоров.
Наш мир, поверь, не так уж плох,
Создав тебя, создав меня!
Создать двух-трех веселых блох,—
Совсем не тяжкая вина.

Ганнибал. Итак, пути какой-то стоимости.
О! слава! стой и мости.
Причина: кость или изъян
Есть у людей и у обезьян.
Ты веришь этой чепухе?

Сципион. Ей-богу, нет. Хе-хе!
Мы пляску их, смеясь, увидим,
А там, зевая, к предкам выдем.
Извергло их живое,
И вот, сюда явившись, двое
Приносят копоти огни,
Из новой истины клешни.
О тенях тени говорим!
Как много звезд там вдалеке.
Послушай, осаждая Рим,
Себя ударив по щеке,
Давил ты меньше комаров,
Чем сколько смотрит на нас ныне
<В> ночной доверчивой пустыне

Созвездий, пятен и миров.
На римском щеголе прыщей
Садится меньше и бедней,
Чем блещет звезд во тьме ночей.
И то, чему свистят,
И то, чему все рукоплещут —
Не стоит много (образ взят),
Когда кругом так звезды блещут.
Как два певца, что за проезд
До ближнего села,
Расскажут вам теченье звезд
И как устроена пчела.
Но слышишь — ходит кто-то,
В руке же древко дрота.

Святослав. И снова, меж вас пролетая,
Вскрикну: «Иду я на вы!»
Горе: кайма золотая
Обвила пространство главы.
Чело, презиравшее неги,
И лоб, не знавший слова «страшно»,
Налили вином печенеги
И пили так, славя мной брашно.

Пугачев. Я войско удальцов
Собрал со всех сторон
И нес в страну отцов
Плач смерти, похорон.

Самко. Я жертвой был течений розных,
Мои часы шли раньше звездных.
Заведéн люд, <как> часы.
Чашкой гибели весы
Наклонилися ко мне,
Я упал по звезд вине.

Ян Гус. Да, давно и я горел.
И, старее, чем вселенная,
Мутный взор (добыча хворости),
Подошла ко мне согбенная
Старушка милая, вся в хворосте.
Я думал, у бабушки этой внучат
Много есть славных и милых,
Подумал, что мир для сохи не почат
И много есть в старого силах.
«Простота,— произнес я,— святая»,—
То я подумал, сюда улетая.

Ломоносов. Я с простертою рукой
Пролетел в умов покой.

Разин. Я полчищем вытравил память о смехе
И черное море я сделал червонным,
Ибо мир сделан был не для потехи,
А смех неразлучен со стоном.
Топчите и снова топчите, мои скакуны,
Враждебных голов кавуны.

Волынский. Знайте, что новые будут Бироны
И новых «меня» похороны.

Коперник. Битвы доля бойцу кажется
Лучезарной, вместе лучшей.
Я не спорю. Спорить сердце не отважится,
Враждовал я только с тучею.
Быт рукой судьбы ведом,
Ходит строгим чередом.

Ганнибал. Да, да: ты прав, пожалуй,
Коперник, добрый малый.
Раз и два, один, другой,
Тот и тот, идут толпой,
Нагибая звездный шлем,

Всяк приходит сюда нем.
Облеченный в звезд шишак,
Он, усталый, теневой,
Невесомый, не живой,
Опустил на остров шаг.
Ужель от Карлов наводнение
Ведет сюда все привидения?

Вопль духов. На острове мы. Зовется он Хлебников.
Среди разъяренных учебников
Стоит, как остров, храбрый Хлебников.
Остров высокого звездного духа.
Только на поприще острова сухо —
Он омывается морем ничтожества.

Множества. Наши клятвы и обеты
Клеветой замыла злоба,
В белый холст мы все одеты
Для победы или гроба.
Иль невиданных венков,
Иль неслыханных оков.

Голос из нутра души. Как на остров, как на сушу,
Погибая, моряки,
Так толпой взошли вы в душу
Высшим манием руки.
Беседой взаимной
Умы умы покоят,
Брега гостеприимно
Вам остров мой откроет.
О, духи великие, я вас приветствую.
Мне помогите вы: видите, бедствую?
А вам я, кажется, сродни,
И мы на свете ведь одни.

Совет.

1911–1913

СЕСТРЫ-МОЛНИИ

1-й парус

РАЗГОВОР МОЛНИЙ

1 молния. Я сомневаюсь и тоскую,
С глазами художника,
Как пламя безбожника,
Сижу на зеленом столбе,
Где тени заснули ночные.
Какую снять судьбу людей
На празднике веселом?
Нет, буду я глаголом:
«Аз есмь Бог,
Да не будут тебе
Боги иные,
Кроме мене».
На северной стене,
Где хутор голубка,
Как невод рыбака,
Поймаю глаза верующих
Седых, чужих и юных.
Или надпись: «Всюду меру ищи!»
Потом, как сон, засну на струнах.
Иль ветром крыл чугунных
Углы покрою храма,
Его седую проседь:
Пусть время сбросит!

И мальчик спросит:
«Зачем же ласточек крыло у этих ка́мней, мама?»

<2 молния.> Одежда, прочь!
Ты жмешь в плечах.
Теперь былому небу ночь.
Их род зачах.
Книгою скрою
Черные зори молнии ног.
Ислам моя рубашка,
Но жмет меня подмышкой;
В Коране я дурашка,
Хотя —
Степная молодежь клянется этой книжкой.

<1 молния.> Дитя!
А эта точек, черт и запятых
Таинственная связь,
Таинственный глагол
Из многоточий,
Как будто бы петух,
Положенный на стол,
Затворил покорно очи,
Круга белого боясь,
Круг разрушить меловой
Боится глупой головой,—
Безбожной веры имя.
Нет, пойду тайком сосать
У коровы доброй вымя.
Бойся разума осад.

2 молния. Я холод сумрачной рубашки
Тому, чей разум спятил.

3 молния. Я божество лесной букашки
В стране коры сосновой.

Твой длинный язык, дятел,
Здесь божество суровое.
Но чаще: прохожий, запиши так,
Что мы — катушка ниток.
Нет, виды одежд умножу я
И оденусь как безбожие!

1 молния. Обнажена у ноги я.
Видишь — молния синеет.

2 молния. Ты нагая, мы нагие,
Нами небо пламенеет.

1 молния. Белый воздух бурным кружевом
Не закрыл полей руки.

2 молния. Что ж хорошего? тем хуже вам,
Что портнихи — пауки.

1 молния. Нету веры, есть веревка!
Небо в нас и небо там.

2 молния. Пусть морским узлом уловка
Нас привяжет к высота́м.
На площади меж улиц
Мы неба куском завернулись.
Звездами пеги, рябы и пестры
Молнии-сестры.

1 молния. Я волящий меч!

2 молния. Я мыслящая печь!

3 молния. Не гордясь мышиным пиром —
Серой тысячью страниц,
Мы проносимся над миром

Вереницею зарниц.
Холод строгих плоскостей,
Чисел нежные кривые,
Чтоб мятежней без властей
Самоправились живые.

1 молния. Оденусь тучею малиновой,
Висит над пашнями она.

2 молния. А я утешу сына вой —
Мне власть над слезами дана.

1 молния. Я одену человека,
Его дела, поступки, сны,
Кем он был весною этой,
Кем был в первый день весны?
Я блесну широкой плетью
Пастухам у табуна!
Сквозь сосновое столетье
Прозвучит грозы струна!

<3 молния.> Я резвая, я молния — шалунья.

2 молния. Старик седой, как лунь, я.
Кого я одену, какую судьбу?
Судьей с законами в руке,
Казненным юношей
И с дерзкой песней,
Красивой жницей
С серпом усталым на плече,
Иль молотом, разбившим
Седые глаза у божницы,
Иль много любившим,
Иль смехом волос на мече?
Иль дурнем, что шепчет «бу-бу»?
Где я небесней? где я чудесней?

Сбрит подбородок наголо весь
И котелок на голове.

1 молния. Оденусь пахарем.

2 молния. Оденусь знахарем
С кривою палкою.

3 молния. А я русалкою.

<Вместе.> Сестры, сестры — вот мы нагие,
Снимем людей, бросимся вплавь
Синяя вечная молнии вьюга!
Мы равны, мы похожи друг на друга.

2-й парус

СТРАСТНАЯ ПЛОЩАДЬ

Молодой инок в келье читает стихи

Воин. Еще удар один и ногу,
Руки размахом изловчась,
К столбу
Прибью
Людскому Богу.
Постой, постой, сейчас, сейчас!
Зачем трепещешь ты, как птаха,
Когда ей мальчуган
Пред тем, как голову красивую свернуть,
На темя дышит
И топорщит перья?
Он слышит? нет, не слышит!
Послушай, Бог, не балуй!
Не у знакомых ты — здесь плаха.
Ты плачешь? слушай, ты

Хороший малый,
А слезы это суеверье.
Да. Слезы это предрассудок.
Ну, вроде синих незабудок.
И красных слез я раньше не видал.
Не верю им, угрюмый сын труда я,
Что ты за нас висишь, страдая.
Опять стучат там?
Пусть басни говорят внучатам,
Что ты святой,— не верю я.
За все плачу своею кожей.
По ней гуляли раньше плети.
А говоришь: «Сын Божий»,
<Да> это худшее на свете.
Как дышит грудь! как бьются ребра!
Послушай, у меня семья есть, дети,
Я сам совсем не злой, а добрый.
Люблю смотреть восходы звезд.
Как странно, что и боги
Имеют тело, руки, ноги...
Эй, стража, дайте гвоздь! —
Широкий, черный, с круглой шляпой...
<Хотя б ты>, кровь, сюда не капай.
Зачем ты стонешь: «Боже! Боже!»
Скажу по совести, что не поможет.
Тебе здесь сутки нужно мучиться.
Я старый человек, бывалый,
И это дело мне знакомое:
Его веду я от отца.
(Ведь от отцов род смертный учится.)
А после понесу я мертвеца
И тело оберну соломою.
<Отец мой> был сутул и крив,
Лицо же в оспе... Да.
Зачем <он> жил? Зачем ты жив?
Опять зовешь ты Господа!

Бывало, в роще соловьиной
И птичий свист, и зной, и гомон,
Но над суровою холминой,
Над смерти преданной долиной
Высокий столб стоит не сломан,
И из вечерней темноты
Такой же смотрит — точно ты.
А над ним, точно в зеркале девица,
Ворон, тот, что детям снится,
Смотрит в мертвые ресницы,
И войском и́дут мураши!..
А гвозди хороши!
И и́дут жены горною тропой.
Звенели кубки.
На водопой
Летят голубки.
О жены! Те, которые внимали
Его словам о Боге и добре
И руку тихо целовали,
Всю ночь на утренней заре
Ловили нити разговоров,
Зачем же мощною кольчугой,
Броней из богомольных взоров
Любимца позднего досуга
Не скрыли от гвоздей и молота?
Уже пробудилось село.
Его снеговое чело,
Любимое тихими девами,
Одетое влагою взоров
Земле будет предано,
Червями снедано.

Улица. Эй, эй! Хи-ха-хо!
Эй, эй! Хи-ха-хо!

Голоса. Уши! Уши! Кому нужны уши?
Корзина отрубленных ушей!

Торговки <любовью>. Любви! Любви! Корзина любви!
Кому нужно любви?

Надпись: «Не трудящийся да не ест!»
Сестры-молнии порхают там и здесь.

Люди. Из улицы улья
Пули, как пчелы.
Шатаются стулья.
Бледнеет веселый.
По улицам длинным, как пули полет,
Опять пулемет
Косит, метет
Пулями лиственный веник.
Гнетет
Пастухов денег.

3-й парус

СМЕРТЬ КОНЯ

<I>

«Верую» пели пушки и площади.
Хлещет извозчик коня,
Гроб поперек его дрог.
Образ восстанья
Явлен народу на каменных досках.
На самовар его не расколешь.
Господь мостовой
Глядит с площадей,
Свежею кровью написан,
Смотрит глазами большими Рублева.
Одет в полотенца [развернутых] войск,
В булыжном венце,

В терновнике свежих могил
Образ нового Бога
Подан ладонями суток,
Висит над столицей.
— Мамо! Чи это Страшный суд, мамо?
— Спи, деточка, спи! Баю, бай.
В подвал голубые глаза! Под плети свинцовые счастье!
Выстрелов веник
Кладбищем денег
Улицы мёл,
Дворник жестокий.
Дикий священник
В кудрях свинцовых
Сел на свинцовый ковер, чтоб летать до утра.
Ветер пуль
Дует и воет в ухо пугливых ночных площадей,
Облако гуль
Прянуло кверху в испуге.
Нами ли срубленный тополь
Рухнул, листвою шумя,
Ветками смерти лица закрыв у многих?
Лязга железного крики полночные.
И карканье звезд над мертвецкою крыш
Слышу я в эту ночь.
Множество звезд, множество птиц.
Ветер дул в дол
Голода дел.

<II>

Чу! зашумели вдруг облака шумом и свистом,
Точно клокочет дыханье умершего, хрипло и грубо.
Это летели души умерших
Нынче в эту ночь прочь над столицей.
Стаею жаворонков
Выше и выше

Летели усопшие души
Прочь от земли.
Вырвалось точно дыхание трупа, с хлипом и свистом,
Это летели души усопших,
Бросив столетьям сегодня:
Здравствуйте, милые волки!
Ветер, хоть ты, многоустый, выстони,
Что опять белогривый Спаситель
Бьется всем телом на дышле.
Спаситель в телеге,
В оглобле Спаситель народа коней?
Он в упряжи черной.
На площади, разорванные львиными челюстями восстаний,
Мы некогда вышли
С веткою своей истины, слабые, как дети.
Но все же настанем, но все же настанем!
Тяжко шагает в телеге новый белый конский Спас!
Он конского племени час.
Конские веры, как собаки
Легли у порога,
Радуя Бога,
Душой точно дети.
— Цыц, подождите!
Точно собаки легли,
Получая пинки, из-под плети:
Позже прийдите!
Он в сбруе! Он в сбруе!
Это не по закону?
Справимся в книгах священных. Это же чудо!
Люди! Белых четыре ноги у пророка! Конского бога!
Бьется, как пена, белая грива, бьется концами по камням,
Осколками сыпет белые кудри.
Белое море меньше его разлившейся гривы.
Перешеек ноги и копыта — кожи лоскут, ниже
Мяса немного и кости осколок, согнут, закручен,
Кости краснеют, спрятаны в мясо.

Он бьется, он бьется, пророк площадей.
Он, конской веры светоч великий,
чиркнул глазами большими усталого мученика.
Паутину мечет на воздух
И умирает роскошно
Водопадною пеной.
Борзым он был, а теперь ноги перелом.
Страшный день, когда Спаситель стал конем.
Заботы и неги!
Спаситель в телеге, глазами чаруя,
Спаситель и, кроме людей, в плену у ремней!
Овса в большом сите!
Спасите, спасите!
Чтоб верил добру я!
Чтоб не возил он бочки ночные.
Белая грива, белые косы, ноги и шея.
Скрипка живая жестокой игры.
Волнуются ребра, как море вздыхающее,
Белое брюхо растет, точно море,
И падает стон. Горе и горе!
И насторожены уши
Бога, страдающего
Среди небоскребов.
Более и более,
Опять и опять
Подсолнух из боли
Цветет у копыт.
А разве это плохо,
Когда каждый шаг — плаха?
У бога,
Может, урок получу
Шагать
На гать,
Когда каждый шаг —
Отрезанная голова Разина
В руке палача.
Вы, извозчики белогривых Спасителей, перед Москвой,

Спешите, бегите по набату мостов!
Над теми
Из теми.
Хлещите, стегайте завтра богов!
Грядущего ношу вместо законов.
Спешите, чтобы не спешиться.
Многие! Нет, не курите завода!
Бросьте свободу на полупути.
Видно клеймо и не вкусно.
Костры из ружейных прикладов.
Еще и еще.
Не надо, не надо
Еще горя.
Парни, спешите, кто помнит удаль!
Ухала, охала, ахала.
Ахала, ухала, охала.
Охала, ахала, ухала.
Здесь лебедь и ветер, и море, и комья, и зём — все снежно,
Черны лишь копыта и очи безгробной тоски, за нас, за коней.
У кого из пророков людских было четыре ноги? Числа не те,
А правда все та же. Страдать он явился на землю.
Голуби. Ветер. Рябь голубая.
Чу! Ржание слышно Божией Матери... умное, нежное.
Ночь опускается, темь. Голуби... ветер...
Как голова на усталую руку писателя над письменным столом,
вдруг опустилась звездная ночь.
Белые нарукавнички богу! Стекло на большие глаза! Он умный —
поймет.
Оденьте копыто в перчатки, дайте в глазницу стекло,
В петлицу цветок голубой принесите!
Что делать с четвертой ногой? с копытом? разбитым
о камни пути?
Поставить на стол? где цветы? Между цветов и стеклянных
кувшинов?
Целовать? целовать? мохом поросшее, в трещинах черных копыто!
Эй, любители средних чисел!

Вместе сложите две ноги человека
И четыре копыта бога.
Буду трехногий, будет и конь о трех ногах.
Что делать мне с третьей ногой белогривых и бурных коней?
На что она мне, третья нога, человеку? Зачем три ноги?
Костылям?
Так нужны ли кому трехногие кони?
Живодерне за городом?
Может, татарам?

Дети! Правительство женских глаз! звездной ночи!
Небывалое у людей! Слушайте, слушайте!
Правительство двояковыпуклого стекла. Право чисел!
Только на звездах соседних такие.
Свежий переворот: двояковогнутая чечевица пала!
Власть двояковыпуклых стекол! Смена мировых чечевиц!
Новость! Зазор! Ставят новую правду зодчие наши на новых основах,
Вычисленных новым уравнением,
Чтобы свет, жилой людьми, полный окон и дверей, и стеклянных хат,
Шел согласно кривизне чечевицы старшей.
Новое! Стеклянная управа столетий!
Большие времена луча!
Стеклянная правда!
Дева свободы смотрит на Бога в увеличительное стекло!
Бог под увеличительным стеклом! Сам Господь звезд.
Подзорные трубы устремлены на Я,
Чтобы свести с неба на землю Я человека.
Величавый переворот на земле. Грозная смена кривизны власти.
С страшным громом и треском положительный луч стекол сменил отрицательную кривизну. Люди ринулись по новым путям, точно первый пучок утренней зари.
Жилые лучи городов выбрали новую власть
Зажигательных стекол свободы!
Стекло! круглую, как пуговица, чечевицу.

4-й парус

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

1. Я беженкой от боженьки
Лечу сейчас с Остоженки.

2. Полечу к портным за меркою
Человеческой судьбы,
В диком поле исковеркаю
Все столетние дубы.

<1.> Мы — мыслящие печи,
Дыханье наше — дым,
А сам печник далече
За облаком седым.
Кто там? толстяк, чудак и купчик —
Одену, как тулупчик.
Будет на небе морозно,
Я одену осторожно.

<2.> Краснощекий здоровяк,
Он удобнее кривляк.

3. Я синею летучей мышью
Полечу одна над крышами.

4. Со Спасителя нетленного,
Восковую покинув щеку,
Я потною слезой теку,
Стекаю и живу,
Потом скачу козой,
Дровами современными
Творца грез наяву.

5. Я образ, я уборная,
Одежды я бросаю,
Лечу меж туч босая,
Я девушка проворная!

6. Я продаю права на рай,
Хожу в серебряной парче,
В руке горшок или ковчег.
Захочешь — умирай!

7. Я красных губ промеж.
Но все же водку лей,
Иль дам тебе я бучу!

8. А я одену тучу.
Она суровым зубром
Повисла над землей.

9. А я со скрипкой буду
Печальный старый чех.
Платок связал простуду
На жалком скрипаче.

10. Я оденусь палачом:
Мне жестокость нипочем!

11. Седни в доме сумасшедшем
Врачу я предложила
Улечься в жаркой печи,
Чтоб скушать его жилы.
О, врач родной и милый!

12. А я помчусь мыслителем
Над письменным столом,
Помчусь людей учителем
Сквозь дикий бурелом,

Где сосны лишь да ели
Насмешливо скрипели.

13. Буду биться волной
В глины обрыва.
Девушка, пой:
Что умерло, живо!

14. Я лечу к торгашу
И собою небо черное гашу.

15. А я кусочек хлеба
Несу Любяшке неба.
По слухам, голодает
И потому страдает.

16. Судьбиной медленной
Я промчусь, как гроб оседланный.
Блестящи, живы очи
Царицы полуночи.
Когда же гроб хохочет,
Гнилые скалит зубы,
Я верю: он пророчит,
Что пухнут неба трубы.

17. Я труп сложила в ящик,
Красива, как вода.
В глазах моих блестящих
Есть почерк «нет стыда».

18. Я кушала сома —
Он сладок и жирен.

19. А я схожу с ума,
Мой разум озарен.

20. Купца или рабочего
Сейчас одену я.
В глубинах дома отчего
Одежынька моя.
Всегда на мне лоскутья
<Молнийных перепутий>.

21. <Я напишу на теле
Седого звонаря
Черной молнии стрелы —
Мрак и заря.>

22. Я буду близорукими штанами людей.

23. Я волосом снега седей.

24. Я буду вор ночной,
В рубашке — нож.

25. Я горничной
У царских лож.

26. В зеленые ткани
Одето окно.
В молитве и брани —
Я одно! я одно!

27. Сегодня хорохорится
Во мне какой-то дух,
И двое во мне борются
С глазами от старух.

28. Я буду сапоги.

29. Иди, дитя, беги!

30. Лежу одна в мертвецкой
И жду ножа ученого.
А завтра девой светской
Письмо прочту сужоного.

31. Я полномочный господин
Своего трупа.
В мертвецкой я один.
Глупо.

32. На том, кто мне знаком,
Я черным котелком
Усядусь, заблестев,
От солнца почернев.

33. Я буду умной книгой.

34. Умы зови и двигай!

35. А я катушкой ниток
Свернусь красивой змейкой.
Все ж маленький прибыток
Ночной кудрявой швейке!

36. О дробных степенях пространства
Кто думал по ночам,—
Его как свое убранство
Я подаю очам.

37. Я буду нищим.

38. Я голенищем.

39. Женой писателя.

40. Глаза<ми> Спасителя.

41. Мы едины, мы равны,
Дети правды и волны!

42. Я слово «Бог», и вслед ругательство
Кого-то — «стерва!»,
Что догоняет собакой лающей
Кошку на дереве.
И, кроме того, я мечтательство.
Кто желает?
Верю вам.

43. Я — «Боже! Боже!»,— возглас уст священника.

44. А я настой из веника.

45. Мы — молнии,
Люди — молний лохани.
Разнообразные ткани,
Одежды, молитесь телам,
Вечного моря волнам!

46. В лягушку верю.
Раскройте двери!

47. Я мертвая дева,
Чья пена волны
Свирелью напева
Уносит сквозь сны.

48. Я человеческая молния
На молнии земли,
И равенство наполню я,
Лежащее в пыли.

49. Хочу быть глаголом:
«Аз есмь Бог»

И в доме веселом
Звать топотом ног,
И неводом рыбацким
Ловить глаза верующих,
Тонуть в дыму кабацком,
Где дымно водке меру ищем.

50. Я буду изречением веселого гуляки:
«Да не будут тебе бози иные,
Но окорока свиные».
Пророческий совет
Уже почтенных лет!

51. Красивой дороги, чтоб жить, ищу.
Тревога.
Вытешу, вытешу, вытешу
Тело нового бога.
Небо, будь камнем!
Даль высока мне.

52. Помчусь я солнечным пятном —
Урожаи будут сном.
Я просьбами колоса ржи
Небес укрепляю тяжи.

53. Я просьба земли:
<«Человек, будь больше меня, внемли!»>

54. Я в звездном небе шума ищу
И расту себе деревом думающим.

55. Люди, все вы молнии и все равны,
Ровно как овнов стада.
Да!

56. Я ветки ломала,
Где плавал пловец.
Потом задремала
Со стадом овец.

57. Под водопадом, где коряга,
Меня на удочке тянет ловец.
Что делать мне?
О горе мне, бедняга!
Становится в глазах темней.

58. Ты поцелуй его поскорей
Над государством пескарей,
Миляга!

59. Буду бедствия рогом
Над хлеба стогом.

60. А я одену, как шубейку,
Село и приглашу скорей соседку и швейку.

61. Я книга засохших морей.

62. Я буду ножик.

63. Я — мотыльками <полей>.

64. А я семьей босоножек.

65. А я учебником детей
Сейчас по воздуху летала.

66. Я в руках рыбака — грузом сетей
Провисала.

67. Буду единцем.

68. Я — пехотинцем.

69. Я небу бросаю
Холодное слово: «пес!»
И косы кусаю.
Мой образ бос.

70. <Кого я одену? какую судьбу?
Судью с законами в руке
Иль дурня, что шепчет «бу-бу»?>

71. <Где я небесней? где я чудесней?>
Я песнь влюбленного.

72. Я раздета до́нага —
Одену серебряное чело мертвеца ученого.

73. Я кусочек жира
В мышеловке между книг.

74. «Отречемся от старого мира» —
Я в поле раздавшийся крик.

75. Кто будет размышлять
Своим белым скорбным челом до зари,
Его я буду приучать
Быть пламени — «гори!»

76. За вечерним самоваром,
Ложкой стукая в стакан,
Я оденусь земным шаром,
Уеду в небостан.

77. А я ночной сторож.

78. А я толпой, где сто рож.

79. Я полечу за урожаем
На солнечные пятна.
Мы молодеем и свежаем,
А после на попятный.

80. Игре сынов земли мятеж дай!
Люди, мы носим вас нашей одеждой.

81. Я буду кудрявою нитью чахотки.

82. А я лицом деревенской молодки.

83. Я город насекомых
У нищего певца.

84. Чумной на соломах,
Несчастьем отца.

85. Чумною палочкой.

86. А я русалочкой.

87. Я чаном с ядом.
Лечу к усладам!

Старуха будет по каплям капать
И бить лбом в паперть.

88. А я болезнью, чьи союзники —
Крысы, мухи и суслики.

89. Толпой стрекоз.

90. Бочонком водки.

91. Купавами около лодки.

92. Я судорога чумных
После смерти.

93. Я — хохотушка. А люди — черти!

94. Я босоножка, <играю поступками>.

95. Я женщина с покупками.

96. Я нож кровавый, на вершок
Он в сердце был!

97. Я с голубым цветком горшок,
А имя я забыл.

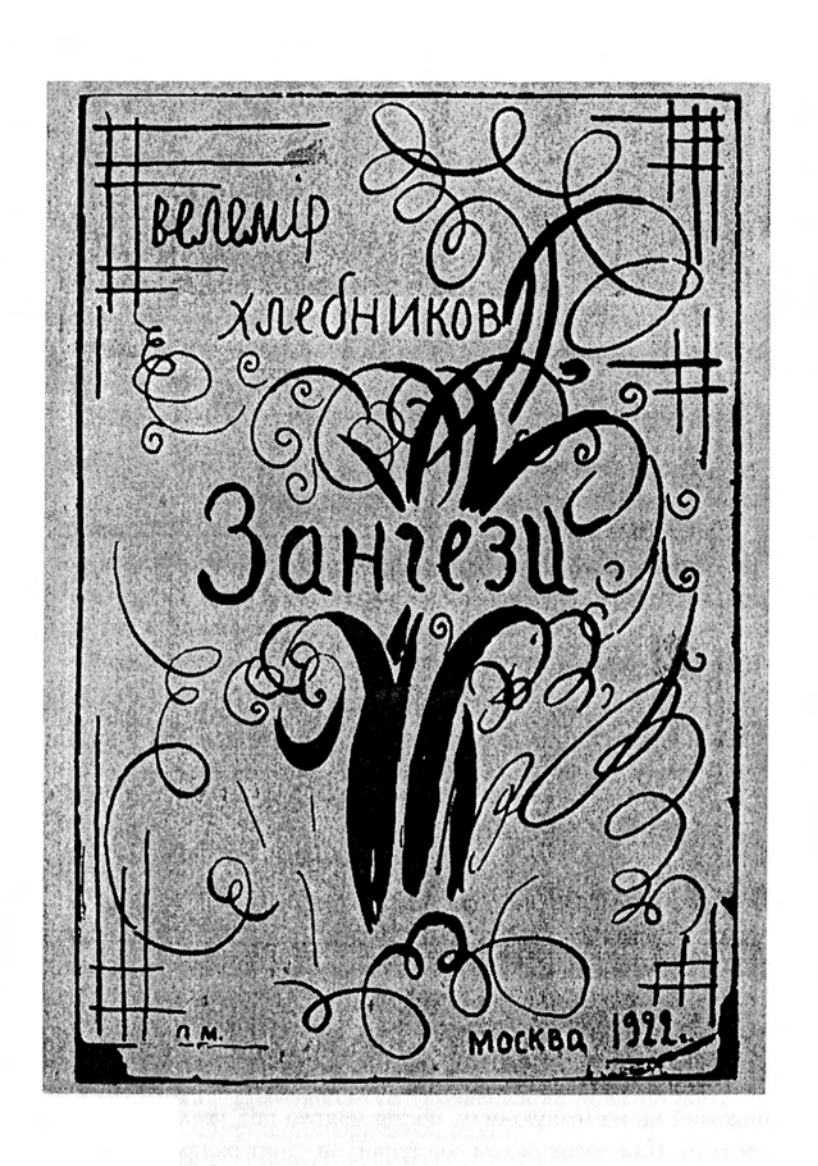
Гроза. Сестра за сестрою летели, во мраке ныряя.

<Хор.> Сестры! Сестры! все мы нагие!
все мы едины! все мы равны!
Бросимся в реки, все мы похожи,
как капли воды!

Великого мы девушки-цацы.
Все смуглоглазые, будем купаться.
Сложим одежды, потом перепутаем,
Все переменим — все мы равны,
И после оденем, русалки волны.
И кто был в воде нем, будет бус без.
Мы — равенство миров, единый знаменатель.
Мы ведь единство людей и вещей.
Мы учим узнавать знакомые лица
в корзинке овощей,
Повсюду единство мы — мира кольцо!
Бога лицо.

<Смех.> Мыслители, нате!
Этот плевок — миров столица,
А я — веселый корень из нет-единицы.

<1918–1921>



П.В.Митурич.
Обложка отдельного издания сверхповести

ЗАНГЕЗИ

ВВЕДЕНИЕ

Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов.

Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: како веруеши? — каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести,— повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело — белого камня, плащ и одежда — голубого, глаза — черного.

Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения.

Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть.

Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка.

КОЛОДА ПЛОСКОСТЕЙ СЛОВА

Горы. Над поляной подымается шероховатый прямой утес, похожий на железную иглу, поставленную под увеличительным стеклом. Как посох рядом со стеной, он стоит рядом с отвесными кручами заросших хвойным лесом каменных пород. С основной породой его соединяет мост-площадка, упавшего ему на голову соломенной шляпой горного обвала. Эта площадка — лю-

бимое место Зангези. Здесь он бывает каждое утро и читает песни.

Отсюда он читает свои проповеди к людям или лесу.

Высокая ель, плещущая буйно синими волнами хвои, стоя рядом, закрывает часть утеса, казалось, дружит с ним и охраняет его покой.

Порою из-под корней выступают черной площадью каменные листы основной породы. Узлами вьются корни, там где высунулись углы каменных книг подземного читателя. Доносится шум соснового бора.

Подушки серебряного оленьего моха — в росе. Это дорога плачущей ночи.

Черные живые камни стоят среди стволов, точно темные тела великанов, вышедших на войну.

Плоскость I

ПТИЦЫ

Пеночка (*с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко*). Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!

Овсянка (*спокойная, на вершине орешника*). Кри-ти-ти-ти-ти-и — цы-цы-цы-сссыы.

Дубровник. Вьер-вьёр виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр виру век-сек-сек!

Вьюрок. Тьёрти едигреди (*заглянув к людям, он прячется в высокой ели.*) Тьёрти едигреди!

Овсянка (*качаясь на ветке*). Цы-цы-цы-сссыы.

Пеночка зеленая (*одиноко скитаясь по зеленому морю, по верхним вечно качаемым ветром волнам вершин бора*). Прынь! пцирс<б>-пцирсб! Пцирсб! цэсэсэ.

Овсянка. Цы-сы-сы-ссы (*качается на тростнике*).

Сойка. Пиу! пиу! пьяк, пьяк, пьяк!

Ласточка. Цивить! Цивить!

Славка черноголовая. Беботэу-вевять!

Кукушка. Ку-ку! ку-ку! (*качается на вершине*).

Молчание.
Такие утренние речи птиц солнцу.
Проходит мальчик-птицелов с клеткой.

Плоскость II

БОГИ

Туман мало-помалу рассеивается. Обнажаются кручи, похожие на суровые лбы людей, которых жизнь была сурова и жестока, становится ясно: здесь гнездуют боги. У призрачных тел веют крылья лебедей, травы гнутся от невидимой поступи, шумят.

Истина: боги близки! — все громче и громче.

Это сонм богов всех народов, их съезд, горный табор.

Т и э н гладит утюгом свои длинные, до земли, волосы, ставшие его одеждой: исправляет складки.

Ш а н г т и смывает с лица копоть городов Запада.

«Мало-мало лучше».

Как зайцы, над ушами висят два снежных пушистых клока. Длинные усы китайца.

Белая Ю н о н а, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи.

У н к у л у н к у л у прислушивается к шуму жука, проточившего ходы через бревно деревянного тела бога.

Э р о т. М*а*ра-рома,
Б*и*ба-б*у*ль!
Укс, кукс, эль!
Редэдиди дидиди!
П*и*ри-пэпи, па-па-п*и*!
Чоги г*у*на, гени-ган!
Аль, Эль, Иль!
*А*ли, Эли, *И*ли!
Эк, ак, ук!

Гамчь, гэмчь, по!
Рпи! Рпи!

Ответ (боги).

На-на-на!
Эчи, учи, очи!
Кези, нези дзигага!
Низаризи озири.
Мэамура зиморо!
Пипс!
Мазачичи-чиморо!
Плянь!

Велес.

Брувуруру ру-ру-ру!
Пице цаце сэ сэ сэ!
Брувуруру ру-ру-ру!
Сици лици ци-ци-ци!
Пенчь, панчь, пенчь!

Эрот.

Эмчь, Амчь, Умчь!
Думчи, дамчи, домчи.
Макарако киочерк!
Цицыилици цицици!
Кукарики кикику.
Ричи чичи ци-ци-ци.
Ольга, Эльга, Альга!
Пиц, пач, почь! Эхамчи!

Юнона.

Пирарара — пирурупу!
Леололо буароо!
Вичеоло сесесэ!
Вичи! Вичи! иби би!
Зизазиза изазо!
Эпсь, Апс, Эпс!
Мури-гури рикоко!
Мио, мао, мум!
Эп!

Ункулункулу. Рапр, грапр, апр! жай!
Каф! Бзуй! Каф!
Жраб, габ, бакв — кук.!
Ртупт! Тупт!

Носятся в воздухе боги.
Опять темнеет мгла, синея над камнями.

Плоскость III

ЛЮДИ
(из колоды пестрых словесных плоскостей)

Люди. О, Господа мать!

1-й прохожий. Так он здесь? Этот лесной дурак?

2-й прохожий. Да!

1-й прохожий. Что он делает?

2-й прохожий. Читает, говорит, дышит, видит, слышит, ходит. По утрам молится.

1-й прохожий. Кому?

2-й прохожий. Не поймешь! Цветам? Букашкам? Лесным жабам?

1-й прохожий. Дурак! Проповедь лесного дурака! А коров не пасет?

2-й прохожий. Пока нет. Видишь, на дороге трава не растет, чистая дорожка! Ходят. Протоптана дорога сюда, к этому утесу!

1-й прохожий. Чудак! Послушаем!

2-й прохожий. Он миловиден. Женствен. Но долго не продержится.

1-й прохожий. Слабо́ ему?

2-й прохожий. Да (*Проходят.*)

3-й прохожий. Он наверху, а внизу эти люди, как плевательница? для плевков его учения?

1-й прохожий. Может быть, как утопленники? плавают, наглотались...

2-й прохожий. Как хочешь. Он — спасительный круг, брошенный с неба.

1-й прохожий. Да! Итак, учение лесного дурака начинается. Учитель! Мы — слушаем.

2-й прохожий. А это что? Обрывок рукописи Зангези. Прильнул к корню сосны, забился в мышиную нору. Красивый почерк!

1-й прохожий. Читай же вслух!

Плоскость IV

2-й прохожий <*Читает.*> <Доски Судьбы! Как письмена черных ночей вырублю вас, Доски Судьбы!

Три числа! Точно я в молодости, точно я в старости, точно я в средних годах, — вместе идемте по пыльной дороге!

$10^5 + 10^4 + 11^5 = 742$ года 34 дня.

Читайте, глаза, закон гибели царств!

Вот уравнение:

$$X = k + n\,(10^5 + 10^4 + 11^5) - (10^2 - (2n - 1)\,11) \text{ дней.}$$

K = точка отсчета во времени, римлян порыв на восток, битва при Акциуме. Египет сдался Риму. Это было 2/IX 31 года до Р.Хр.

При $n = 1$, значение икса в уравнении гибели народов будет следующее: X = 21/VII 711, или день гибели гордой Испании, завоевание ее арабами.

Пала гордая Испания!

При $n = 2$, X = 29/V 1453.

И пробил час взятия Царьграда дикими турками! Город царей тонул в крови, и, дикие в прелести, выли турок волынки. Труп Рима второго Осман попирал. В храме Софии голубоокой — зеленый плащ пророка. На пузатых конях, с белой простыней на голове едут победители.

Пенье трех крыльев судьбы: милых одним, грозных другим! Единица ушла из пяти в десятку, из крыла в колесо, и движения числа в трех снимках (10^5, 10^4, 11^5) запечатлены уравнением.

Между гибелью Персии I/X 331 года до Р.Хр. под копьем Александра Великого и гибелью Рима от мощных ударов Алариха 24/VIII 410 года прошло:

$$741 \text{ год, или } 10^5 + 10^4 + 11^5 - \frac{3^6+1}{2} - 2^3 \cdot 3^2 \text{ дней.}$$

Доски Судьбы! читайте, читайте, прохожие! Как на тенеписи, числа-борцы пройдут перед вами, снятые в разных сечениях времени, в разных плоскостях времени. И все их тела разных возрастов, сложенные вместе, дают глыбу времени между падениями царств, наводивших ужас».

1-й прохожий. Темно и непонятно. Но все-таки виден коготь льва! Чувствуется. Обрывок бумаги, где запечатлены народов судьбы для высшего видения!

Плоскость слов V

<В толпе.> Чангара Зангези пришел! Говорливый! Говори, мы слушаем.

Мы — пол, шагай по нашим душам, смелый ходун!

Мы — верующие, мы ждем. Наши очи, наши души — пол твоим шагам, неведомый.

Иволга. Фио эу.

Плоскость VI

Зангези.

Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью узника,
На строгих стеклах рока.
Так скучны и серы

Обои из человеческой жизни!
Окон прозрачное «нет»!
Я уж стер свое синее зарево, точек узоры,
Мою голубую бурю крыла — первую
свежесть.
Пыльца снята, крылья увяли и стали
прозрачны и жестки.
Бьюсь я устало в окно человека.
Вечные числа стучатся оттуда
Призывом на родину, число зовут к числам
вернуться.

2-й прохожий. Бабочкой захотелось быть, вот чего хитрец захотел!

3-й прохожий. Миляга! какая он бабочка... баба он!

Верующие. Спой нам самовитые песни! Расскажи нам о *Эль*! Прочти на заумной речи. Расскажи про наше страшное время словами Азбуки! Чтобы мы не увидели войну людей, а услышали стук длинных копий Азбуки, шашек Азбуки. Сечу противников: *Эр* и *Эль*, *Ка* и <Гэ>!

Ужасны их грозно пернатые шлемы, ужасны их копья! Страшен очерк их лиц, смуглого дико и нежно пространства. Когда шкуру стран съедает моль гражданской войны, столицы засыхают, как сухари — влага людей испарилась.

Мы знаем: *Эль* — остановка широкой площадью поперечно падающей точки, *Эр* — точка, прорезавшая, просекшая поперечную площадь. *Эр* — реет, рвет, рассекает преграды, делает русла и рвы.

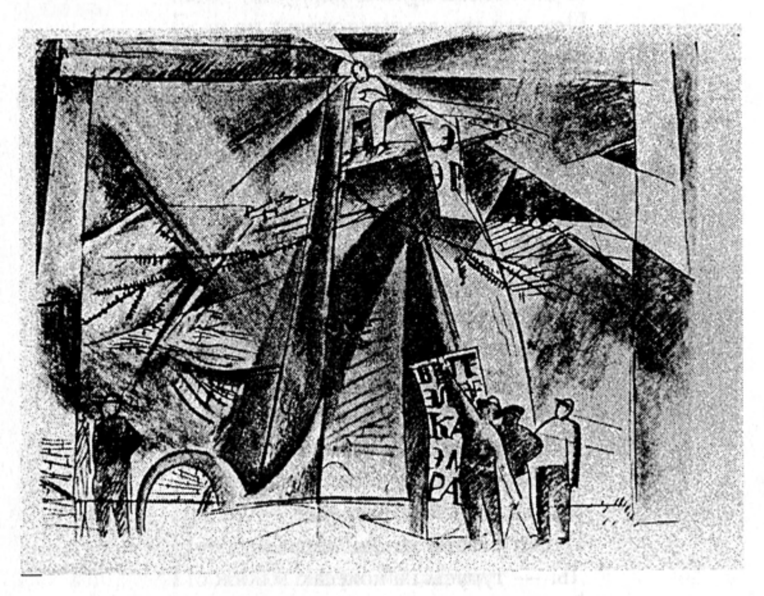
Пространство звучит через Азбуку.

Говори!

Плоскость VII

Зангези. Вы говорите, что умерли Рюрики и Романовы,
Пали Каледины, Крымовы, Корниловы и Колчаки...

Объявление о постановке «Зангези». 1923



В.Е.Татлин.
Эскиз сценической конструкции для «Зангези».
1923

Нет! С рабами боролась оборона панова,
Был 20 раз взят и разрушен Киев,
Стерт в порошок.
Богатый плакал, смеялся кто беден,
Когда пулю в себя бросил Каледин.
И Учредительного Собрания треснул шаг.
И потемнели пустые дворцы.
Нет, это вырвалось «рцы»,
Как дыханье умерших,
Воплем клокочущим дико прочь из остывающих уст.
Это *Ка* наступало!
На облаке власти — *Эля* зубцы.
Эль! где твоя вековая опала?
Эль — вековой отшельник подполья,
Гражданин мира мышей,
К тебе сутки, недели, месяцы, годы
Бурною бросились бурей на богомолье.
Дни наступали *Эля* — погоды!
Эль — это солнышко ласки и лени! любви!
В *улье людей* ты дважды звучишь!
Тебе поклонились народы
После великой войны.
Эр, Ра, Ро! Тра-ра-ра!
Грохот охоты, хохот войны.
Ты — турусы на колесах.
В кованных гвоздях Скандинавии,
Парусом шумел по Руси,
Железным ободом телеги
На юг уносил
Крепкого снега на сердце ночлеги,
В мышьи тела вонзенные когти мороза.
Кляча — ветер России нес тебя.
И сёла просили: приехали гости бы!
Турусы на колесах!
Разрушая услады, ты не помнил преграды.
А вдали стоял посох *Гэ*, сломанный надвое.

<Начхать!>
Эр в руках *Эля!*
Если орел, сурово расправив крылья косые,
тоскует о Леле,
Вылетит *Эр*, как горох из стручка, из слова Россия.
Если народ обернулся в ланей,
Если на нем рана на ране,
Если он ходит, точно олени,
Мокрою черною мордою тычет в ворота судьбы, —
Это он просит, чтоб лели лелеяли,
Лели и чистые *Эли*, тело усталое
Ладом овеяли.
И его голова
— Словарь только слов *Эля*.
Хорем рыскавший в чужбине хочет холи!
Эр, во весь опор
Несись, не падая о пол!
Объемы пути вычитай из преград.
Ты нищих лопот
Обращаешь в народный ропот,
Лапти из лыка
Заменишь ропотом рыка!
Эр, ты — пар, ты гонишь поезда
Цепочкой цуга крови чечевиц
По жилам северной Сибири
Или дворцы ведешь волнами.
Расцвет дорог живет тобою, как подсолнух.
Но *Эль* настало — *Эр* упало.
Народ плывет на лодке лени
И порох боевой он заменяет плахой,
А бурю — булкой.
И плащаницами — пращу... и голодом старинный
город,
И гордых голыми.
А *Эр* луга заменит руганью,
Латы — ратью,

Оружие подымет вновь из лужи,
Не лазить будет, а разить!
На место больного — поставит борца!
Застроит храмом хлам и в городах изгонит голод,
И вором волю стащит.
Ты дважды зазвучал в пророке
И глаждан обратило в граждан.
Пронзая темь времен,
Как *Ка* звучало в Колчаке.
Ка стегало плетью
Оков, закона, колов и покоя, и камней:
Пророков ими побивают,—
В нем казни: на кол.
Когда ты, *Эр*, выл
В уши севера болотца:
Широкие уши болота:
«Бороться, брат, бороться!» —
— Охота у хаты за страшной грозою гнаться
с белой борзою,
Чтоб вновь шла пехота, до последного хохота
Двух черепов последних людей у блюда войны,—
В это время тяжкою поступью
Самоубийцы шло по степи *Ка*,
Шагая к *Элям* неверными, как будто пьяного,
шагами
И крася облака судьбы собой,
Давая берег новый руслу человеческих смертей.
Последним ходом в проигрыше — дуло у виска —
Идет, бледнея *Ка*.
Эр, *ра*, *ро*!
Рог! Рог!
Бог Руси, бог руха.
Перун,— твой бог, в огромном росте
Не знает он преград, рвет, роет, режет, рубит.
Вздор, что Каледин убит и Колчак, что выстрел
звучал.

Это *Ка* замолчало, *Ка* отступило, рухнуло наземь.
Это *Эль* строит морю мора мол,
А смерти — смелые мели.

1-й прохожий. Он ученый малый.

2-й прохожий. Но песнь его без дара. Сырье, настоящее сырье его проповедь. Сырая колода. Посушить мыслителя...

Плоскость VIII

Зангези.

Эр, *Ка*, *Эль* и *Гэ* —
Воины Азбуки —
Были действующими лицами этих лет,
Богатырями дней.
Воля людей окружала их силу,
Как падает с весел вода мокрая.
Лодку, лыжи, лет и лед, лапу
Ищет, кто падает, куда? —
В снег, воду, в пропасть, в провал.
Утопленник сел в лодку и стал грести.
Лодка широка, не провалится.
И лени захотелось всем.
И тщетно *Ка* несло оковы, во время драки
Гэ и *Эр*,
Гэ пало, срубленное *Эр*,
И *Эр* в ногах у *Эля!*

Пусть мглу времен развеют вещие звуки мирового языка. Он — точно свет. Слушайте!

Песни звездного языка

«Где рой зеленых *Ха* для двух
И *Эль* одежд во время бега,
Го облаков над играми людей,

Вэ толп кругом незримого огня
И *Ла* труда, и *Пэ* игры и пенья,
Че юноши — рубашка голубая,
Зо голубой рубашки — зарево и сверк.
Вэ кудрей мимо лиц,
Вэ веток вдоль ствола сосен,
Вэ звезд ночного мира над осью,
Че девушек — червонные рубахи,
Го девушек — венки лесных цветов.
И *Со* лучей веселья,
Вэ люда по кольцу,
Эс радостей весенних,
Мо горя, скорби и печали.
И *Пи* веселых голосов,
И *Пэ* раскатов смеха,
Вэ веток от дыханья ветра.
Недолги *Ка* покоя.
Девы! Парни! больше *Пэ*! Больше *Пи*!
Всем будет *Ка* — могила!
Эс смеха, *Да* веревкою волос,
А рощи — *Ха* весенних дел,
Дубровы — *Ха* богов желанья,
А брови — *Ха* весенних взоров.
И косы — *Ха* полночных лиц.
И *Мо* волос на кудри длинные,
И *Ла* труда во время бега,
И *Вэ веселья*, *Пэ* речей,
Па рукавов сорочки белой,
Вэ черных змей косы,
Зи глаз.
Ро золотое кудрей у парней.
Пи смеха! *Пи* подков и бега искры!
Мо прежнего унынья.
Го камня в высоте,
Вэ волн речных, *Вэ* ветра и деревьев,
Созвездье — *Го* ночного мира,

Та тени вечеровой — дева,
И За-за радостей — глаза.
Вэ пламени незримого — толпа,
И пенья *Пэ,*
И пенья *Ро* сквозь тишину,
И криков *Пи».*

Таков звездный язык.

Толпа. Это неплохо, Мыслитель! Это будет получше!
Зангези. Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами. Первый набросок! Этот язык объединит некогда <всех>, может быть, скоро!
1-й прохожий. Он божественно врет. Он врет, как соловей ночью. Смотрите, сверху летят летучки. Прочтем одну.

«*Вэ* значит вращение одной точки около другой (круговое движение).

Эль — остановка падения, или вообще движения, плоскостью, поперечной падающей точке (лодка, летать).

Эр — точка, просекающая насквозь поперечную площадь.

Пэ — беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек, точечного множества, рост объема (пламя, пар).

Эм — распыление объема на бесконечно малые части.

Эс — выход точек из одной неподвижной точки (сияние).

Ка — встреча и отсюда остановка многих движущихся точек в одной неподвижной. Отсюда конечное значение *Ка* — покой, закованность.

Ха — преграда плоскости между одной точкой и другой движущейся к ней (хижина, хата).

Че — полый объем, пустота которого заполнена чужим телом. Отсюда кривая, огибающая преграду.

Зэ — отражение луча от зеркала. Угол падения равен углу отражения (зрение).

Гэ — движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. Отсюда вышина».

1-й слушатель. С своими летучками он делается свирепым, этот Зангези! Что скажешь по этому поводу?

2-й слушатель. Он меня проткнул, как рыбешку, острогой своей мысли.

Зангези. Слышите ли вы меня? Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? Речи — здания из глыб пространства.

Частицы речи — части движения. Сло́ва — нет, есть движения в пространстве и его части — точек, плошадей.

Вы вырвались из цепей ваших предков. Молот моего голоса расковал их — бесноватыми вы бились в цепях.

Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее — вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру.

Плоскость мысли IX

<Толпа.> Тише! Тише. Он говорит!

Зангези. Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот! Пойте все вместе за мной!

1

Гоум.
Оум.
Уум.
Паум.
Соум меня
        И тех, кого не знаю.
Моум.
Боум.

Лаум.
Чеум.
      Бом!
      Бим!
      Бам!

2

Проум.
Праум.
Приум.
Ниум.
Вэум.
Роум.
Заум.
Выум.
Воум.
Боум.
Быум.
      — Бом!

Помогайте, звонари, я устал.

3

Доум.
Даум.
Миум.
Раум.
Хоум.
Хаум.

Бейте в благовест ума!
Вот колокол и веревка.

Суум.
Изум.
Неум.
Наум.
Двуум.
Треум.
Деум.
— Бом!

4

Зоум.
Коум.
Соум.
Поум.
Глаум.
Раум.
Ноум.
Нуум.
Выум.
— Бом!
Бом! Бом! Бом!

Это большой набат в колокол ума.

Божественные звуки, слетающиеся сверху на призыв человека!

Выум — это изобр<етающий ум>. Конечно, нелюба старого ведет к выуму.

Ноум — враждебный ум, ведущий к другим выводам, ум, говорящий первому «но».

Гоум — высокий, как эти безделушки неба, звезды, невидные днем. У падших государей он берет выпавший посох *Го*.

Лаум — широкий, разлитый по наиболее широкой площади, не знающий берегов себе, как половодье реки. *Лаум* с вершины сходит в толпы ко всем. Он расскажет полям, что видно с горы.

Коум — спокойный, сковывающий, дающий устои, книги, правила и законы.

Чеум — подымающий чашу к неведомому будущему. Его зори — *чезори*. Его луч — *челуч*. Его пламя — *чеплямя*. Его воля — *чеволя*. Его горе — *чегоре*. Его неги — *ченеги*.

Моум — гибельный, крушащий, разрушающий. Он предсказан в пределах веры.

Вэум — ум ученичества и верного подданства, набожного духа.

Оум — отвлеченный, озирающий все кругом себя, с высоты одной мысли.

Изум — выпрыг из пределов бытового ума.

Даум — утверждающий.

Ноум — спорящий.

Суум — половинный ум.

Соум — разум-сотрудник.

Нуум — приказывающий.

Хоум — тайный, спрятанный разум.

Быум — желающий разум, сделанный не тем, что есть, а тем, чего хочется.

Ниум — отрицающий.

Проум — предвидение.

Праум — разум далекой старины, ум — предок.

Боум — следующий голосу опыта.

Воум — гвоздь мысли, вогнанный в доску глупости.

Выум — слетевший обруч глупости.

Раум — не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум. Речи его — *раречи*.

Зоум — отраженный ум.

Прекрасен благовест ума.

Прекрасны его чистые звуки.

Но вот *Эм* шагает в область сильного слова «*Могу*».

Слушайте, слушайте моговест мощи!

Плоскость X

Зангези. Иди, могатырь!
Шагай, могатырь! можарь, можар!
Могун, я могею!
Моглец, я могу! могей, я могею!
Могей, мое Я. Мело! Умело! Могей, могач!
Моганствуйте, очи! Мело! Умело!
Шествуйте, моги!
Шагай, могач! Могей, могач! Могуй, могач!
Могунный, можественный лик! полный могебнов.
Могровые очи, могатые мысли, могебные брови!
Лицо могды. Рука могды! Могна!
— Руки, руки!
Могарные, можеские, могунные,
Могесные, мощные! могивые!
Могесничай, лик!
Многомогейные, могистые моги,
Это вы рассыпались, волосы, моганами,
Могеичи — моговичи, можественным могом, могенятами.
Среди можат — могушиц, могеичей можных
Вьется один могушонок,
Можбой можеству могес могатеев могатых,
В толпе можат и моговичей.

Вода в клюве! Крылья шумят во́рона!
Тороплюсь, не опоздать бы!

Лицо, могатырь! Могай, моган!
Могей, могун!
Могачь, могай!
Иду можарищем, можарю можарство можелью!
Могач, могай! Могей, могуй!
Иди, могатырь!
Мог моготы! Можар можавы!

Могесник, мощник!
Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, <нога>!
Моган, могун и могатырь!
Иди!
Могай, моган! могей могун!
Глаза могвы, уста могды!
Могатство могачей!

Это *Эм* ворвалось в владения *Бэ*, чтоб не бояться его, выполняя долг победы. Это войска пехотны *Эм*, размололи глыбу объема невозможного, камень-дикарь невозможного на мукэ, на муравьиные ноши, из дерева сделали мох и мураву, из орла муху, из слона мышь и стадо мурашей, и целое стало мукой бесконечно малых частей. Это пришло *Эм*, молот великого, молью шубы столетий все истребив.

Так мы будим спящих богов речи.

Дерзко трясем за бороду — проснитесь старцы! Я могогур и благовест *Эм!* Можар! можаров! К *Эм*, этой северной звезде человечества, этому стожару всех стогов веры,— наши пути. К ней плывет струг столетий. К ней плывет бус человечества, гордо надув паруса государств.

Так мы пришли из владений ума в замок «Могу».

Тысяча голосов (*глухо*). Могу.
(*еще раз*). Могу!
(*еще раз*). Могу!!
Мы можем!!!

Горы, дальние горы. Могу!!!

Зангези. Слышите, горы расписались в вашей клятве. Слышите этот гордый росчерк гор «*Могу*» на выданном вами денежном знаке? Повторенное зоем ущелья — тысячами голосов? Слышите, боги летят, вспугнутые нашим вскриком?

Многие. Боги летят, боги летят!

Плоскость XI

Боги шумят крылами, летя ниже облака.

Боги. Гагаг*а*га гэгэгэ!
Гракахата гророро.
Лили эги, ляп, ляп, бэмь.
Либиб*и*би лираро.
Син*о*ано цицириц.
Хию хм*а*па, хир зэнь, ченчь
Ж*у*ри к*и*ка син сонэга.
Хахот*и*ри эссэсэ.
*Ю*нчи, энчи, ук!
*Ю*нчи, энчи пипок*а*,
Клям! клям! эпс!

Многие. Боги улетели, испуганные мощью наших голосов.
К худу или добру?

Плоскость XII

Зангези. А, шагает Азбука! Страшный час! Бревна *Эм* стали выше облака. Тяжко шагает *Ка*. Снова через труп облака тянутся копья *Гэ* и *Эр*, и когда они оба падут мертвыми, начнется страшная тяжба *Эль* и *Ка* — их отрицательных двойников.

Эр, наклоняясь в зеркало нет-единицы,— видит *Ка; Гэ* увидит в нем *Эль*. Выше муравейника людей, свайная постройка битвы загромоздила небо столбами и плахами, тяжелой свайной войной углов из бревен.

Но ветер развеял все.

Боги улетели, испуганные мощью наших голосов.

А вы видали, как *Эль* и *Ка* стучат мечами? И их бревен свайный кулак *Ка* протянут к суровым свайным латам *Эль*.

А Колчак, Каледин, Корнилов — только паутина, узоры плесени на этом кулаке! Какие борцы схватились и борются за тучами? Свалка *Гэ* и *Эр*, *Эль* и *Ка!* Одни хрипят, три трупа, *Эль* одно. Тише.

Плоскость XIII

Зангези. Они голубой тихославль,
Они голубой окопад.
Они в никогда улетавль,
Их крылья шумят невпопад.
Летуры летят в собеса
Толпою ночей исчезаев.
Потоком крылатой этоты,
Потопом небесной нетоты.
Летели незурные стоны,
Свое позабывшие имя,
Лелеять его нехотяи.
Умчались в пустыни зовели,
В всегдаве небес иногдава,
Нетава, земного нетава!
Летоты, летоты инес!
Вечернего воздуха дайны,
Этавель задумчивой тайны,
По синему небу бегуричи,
Нетуричей стая, незуричей,
Потопом летят в инеса,
Летуры летят в собеса!
Летавель могучей виданой,
Этотой безвестной и странной,
Крылом белоснежные махари,
Полета усталого знахари,
Сияны веянами дахари.
Река голубого летога,
Усталые крылья мечтога,
Широкие песни ничтога.
В созвездиях босы,
Там умерло «ты».
У них небесурные косы,
У них небесурные рты!
В потоке востока всегдава,

Они улетят в никогдавель.
Очами земного нетеж,
Закона земного нетуры,
Они в голубое летеж,
Они в голубое летуры.
Окатаны вещею грустью,
Летят к доразумному устью,
Летурные крылья, грезурные рты!
Незурные крылья, нетурные рты!
У них небесурные лица,
Они голубого столица.
По синему небу бегуричи!
Огнестром лелестра небес.
Их дико грезурные очи,
Их дико незурные рты!

Ученики. Зангези! Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь «камаринскую»! Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое. Толпа хочет веселого. Что поделаешь — время послеобеденное.

Плоскость XIV

Зангези. Слушайте!

Верхарня серых гор.
Бегава вод в долину,
И бьюга водопада об утесы
Седыми бивнями волны,
И сивни облаков,
Нетоты туч
Над хивнями травы.
И бихорь седого потока,
Великой седыни воды.

Я божестварь на божествинах! Иду по берегу.
А там стою, как стог.
И черный мамонт полумрака, чернильницей пролитый
В молоке ущелья,
Поднявший бивень белых вод,
Грозит травы божествежу, и топчут сваи лебеду,
Чтобы стонала: «Боже, Боже!»
Грозит и в пропасть упадает.
Пел петер дикой степи,
Лелепр синеет ночей,
Весны хорошава ночная, верхарня травы.
Где ветра ходно, на небе огнепр.
Сюда, мластелины! Младыки, сюда!
Здесь умер волестр, о, ветер сладыки.
И гибельный гнестр,
И хивень божеств.
А я, божестварь, одинок.

В толпе. Безумью барщина
И тарабарщина,
На каком языке, господин Зангези?

Зангези. Дальше!

А вы, сапогоокие девы,
Шагающие смазными сапогами ночей
По небу моей песни,
Бросьте и сейте деньги ваших глаз
По большим дорогам!
Вырвите жало гадюк
Из ваших шипящих кос!
Смотрите щелками ненависти.
Глупостварь, я пою и безумствую!
Я скачу и пляшу на утесе.
Когда пою, мне звезды хлопают в ладоши.

Стóю. Стою́! Стойте!
Вперед, шары земные!
Так я, великий, заклинаю множественным числом,
Умножарь земного шара: ковыляй толпами земель.
Земля, кружись комариным роем. Я один,
скрестив руки.
Гробизны певцом.
Я небыть.
Я такович.

Плоскость XV

Зангези. Но вот песни звукописи, где звук то голубой, то синий, то черный, то красный:

Вэо-*вея* — зелень дерева,
Нижеоты — темный ствол,
Мам-м*а*ми — это небо,
П*у*чь и ч*а*пи — черный грач.
М*а*м и эмо — это облако.

Запах вещей числовой.
День в саду.
А вот ваш праздник труда:

Лели-лили — снег черемух,
Заслоняющих винтовку.
Ч*и*еч*а*ча — шашки блеск.
Биээнзай — аль знамен.
Зиээгзой — почерк клятвы.
Бобо-б*и*ба — аль околыша.
Мипиопи — блеск очей серых войск.
Ч*у*чу б*и*за — блеск божбы.
Миве*а*а — небеса.
Мипиопи — блеск очей,
Вэ*а*ва — зелень толп!
Мимом*ая* — синь гусаров,

Зизо зея — почерк солнц,
Солнцеоких шашек рожь.
Лели-лили — снег черемух,
Сосес*ао* — зданий горы...

Слушающие. Будет! Будет! Довольно! Соленым огурцом в Зангези! Поджечь его! Ты <можешь> что-нибудь мужественное?

Смотри, даже заяц выбежал слушать тебя, чешет лапой ухо косой. Зангези! Брось заячье зайцам. Мы ведь мужчины!

Смотри, сколько здесь собралось!

Зангези! Мы заснули. Красиво, но не греет! Плохие дрова срубил ты для отопки наших печей. Холодно.

Плоскость XVI

ПАДУЧАЯ

<В толпе.> Что с ним? Держи его!
<Больной.> Азь-два... Ноги вдевать в стремена!
Нож-ки! Азь-два.
Ишь, гад! Стой... Готов... урр...урр.
Белая рожа! Стой, не уйдешь! Не уйдешь!
Стой, курва, тише, тише!
Зарежу — как барана. Стой, гад!
Стой, гад! Ать!
Хырр... хырр...
Урр...
Урр... Господа мать!
Не уйдешь...
Врешь... Стой!
Стой...
Урр... урр...
Хыр... хрра...
Ать! Ать! Ать!

Врешь, курва.
Сволочь!
А! Господа мать!
Не спас головы
Для красной свободы...
Первый осетинский конный полк,
Шашки выдер-гать
— Вон!
За мной!
Направо руби,
Налево коли!
Стой... урр... урр...
Не уйдешь!
Слушай, браток:
Нож есть?
Зарежу — купец...
Врешь, не удержишь!
А! В плену? — врете!
Ать! А-ть!

Зангези. С ним припадок.
Страшная война посетила его душу.
И перерезала наши часы, точно горло.
Этот припадочный нам напомнил,
Что [война не утонула в блюдечке мысли,
Как неосторожная муха].
Война еще существует.

Плоскость XVII

Трое <*Уходя.*> Ну, прощай, Зангези!

<Старшой.> Дорога сборищу тесна.
Везде береза и сосна.
О, боги, боги, где вы?
Дайте прикурить.

Я прежних спичек не найду.
Давай закурим на ходу.
Идем.
— Мы где увидимся?
В могиле братской?
Я самогону притащу,
Аракой Бога угощу
И созовем туда марух.
<Ух!>
Курится?
— Петух!
На том свете я принимаю от трех до шести.
Иди смелей, боятся дети,
А мы уж юности — прости!
По-нашенски напьемся, по-простецки,
по-дурацки.
Потом святого влоск напоим,
«Одесса-мама» запоем.
И пусть пляшут а-ца-ца
Возле мертвого донца.
Даешь, Зангези?

Зангези. Спички судьбы.

Трое. Есть.

Плоскость XVIII

Зангези. Нет, не бывает у бури кавычек!
Требовал смерти у Рюриковичей
Пылкий, горячий Рылеев.
— В каждом течет короле яд!
И повис, неподвижно шагая,
Смерть для Рылеева цепей милее.
Далее мчится буря нагая.
Дело свободы, все же ты начато!
Пусть тех могилы тихи.

Через два в тринадцатой —
Сорок восьмого года
Толп, красных толп пастухи.
Ветер свободы,
День мировой непогоды!
И если восстали поляки,
Не боясь у судьбы освистанья,
Щеку и рот пусть у судьбы раздирает свисток,
Пусть точно дуло, точно выстрел суровый,
Точно дуло ружья, смотрит угрюмый Восток
На польского праздник восстанья.
Через три в пятой, или двести сорок три,
Червонцами брошенных дней
Вдруг загорелся, как смерть в одиночке,
Выстрел в грудь Берга, мертвой
Мятежников точки,
Польши смирителя, Польши наместника,
Звона цепей упорного вестника.
Это звена цепей блеснули:
Через три в пятой — день мести
И выстрела дыма дыбы.
Гарфильд был избран, посадник Америки,
Лед недоверия пробит.
Через три в пятой — звери какие —
Гарфильд убит.
И если Востока орда
Улицы Рима ограбила,
И бросила белый град черным оковам,
Открыла для стаи вороньей обед,—
Через два раза в одиннадцатой три
Выросла снова гора черепов
Битвы в полях Куликова.
Это Москва переписывала набело
Чернилами первых побед
Первого Рима судьбы черновик.
Востока народов умолк пулемет,

Битвой великою кончилась
Обойма народов Востока.
Мельник времен
Из костей Куликова
Плотину построил, холм черепов.
Окрик несется по степи: «Стой!»
Это Москва — часовой.
Волны народов одна за другой
Катились на запад:
Готы и гунны, с ними татары.
Через дважды в одиннадцатой три
Выросла в шлеме сугробов Москва,
Сказала Востоку: «Ни шагу!»
Там, где земля от татар высыхала,
Долго блистал их залив,
Ермак с головою нахала,
Суровую бровь углом заломив,
Ветру поверив широкую бороду,
Плыл по прекрасным рекам Сибири
К Кучума далекому городу.
Самое нежное в мире
Не остановит его.
Победителя жребий
В зеркале вод отражался,
Звезды блистали Искера.—
И полумир переходит к Москве.
Глядели на русских медвежие хари,
Играли в камнях медвежата,
Толпилися лось и лосята.
Манят и дразнят меха соболей
Толстых бояр из столицы,
Шли воеводы на поиск землицы,
Плыли по морю, по северным льдам.
Вслед за отходом татарских тревог
Это Русь пошла на восток.
Через два раза в десятой степени три

После взятья Искера,
После суровых очей Ермака,
Отраженных в сибирской реке,
Наступает день битвы Мукдена,
Где много земле отдали удали.
Это всегда так: после трех в степени энной
Наступил отрицательный сдвиг.
Стесселем стал Ермак
Через три в десятой степени дней
И столько же.
Чем Куликово было татарам,
Тем грозный Мукден был для русских.
В очках ученого пророка
Его видал за письменным столом
Владимир Соловьев.
Ежели Стессель любил поросят —
Был он Ермак через три в десятой.
И если Болгария
Разорвала своего господина цепи
И свободною встала после стольких годов,
Решеньем судилища всемирного —
Долина цветов,—
Это потому, что прошло
Три в одиннадцатой
Со дня битвы при Тырнове.
Киев татарами взят,
В храмах верблюды храпят,
Русская взята столица.
Прошло три в десятой,
И в горах Ангоры
Сошлися Тимур с Баязетом.
И пусть в клетке сидит Баязет,
Но монголам положен отпор.
Через степени три —
Смена военной зари.
Древнему чету и нечету

Там покоряется меч и тут.
Есть башня из троек и двоек,
Ходит по ней старец времен,
Где военных знамен
Воздух клевали лоскутья
И кони упорно молчат,
Лишь звучным копытом стучат.
Мертвый? Живой! — все в одной свалке!
Это железные времени палки,
Оси событий из чучела мира торчат,—
Пу́гала войн проткнувшие прутья,
Точно железные в чучеле прутья.
Проволока мира — число.
Что это? Истины челны?
Иль пустобрех?
Востока и Запада волны
Сменяются степенью трех.
Греки боролися с персами, все в золотых
шишаках,
С утесов бросали их в море.
Марафон.— И разбитый Восток
Хлынул назад, за собою сжигая суда.
Гнались за ними и пересекли степи они.
Через четырежды
Три в одиннадцатой степени,
Царьград, секиры жди!
Храм запылает окурком,
Все будет отдано туркам,
Князь твой погибнет в огне
На белом прекрасном коне.
В море бросай свою прибыль,
Торговец, турки идут, с ними же гибель.
17-й год. Цари отреклись.
Кобылица свободы!
Дикий скач напролом.
Площадь с сломанным орлом.

Отблеск ножа в ее
Темных глазах,
Не самодержавию
Ее удержать.
Скачет, развеяв копытами пыль,
Гордая скачет пророчица.
Бьется по камням, волочится
Старая мертвая быль.
Скачет, куда и к кому?
Никогда не догоните!
Пыли и то трудно угнаться-то.
Горят в глазах огонь и темь.
Это потому
И затем,
Что прошло два в двенадцатой
Степени дней
Со дня алой Пресни.
Здесь два было времени богом.
И паденье царей с уздечкой в руке,
И охота за ними «улю-лю» вдалеке
Выла в даль увлекательным рогом.
Пушечной речью
Потрясено Замоскворечье,
Мина снарядам кудрями чугунными
Кланялся низко
Нижегородец Минин.
Справлялись Мина именины,
А рядом
Самых красивых в Москве Богородиц
В глубинах часовен
Хохот глушил гор Воробьевых.
Это Пушкин, как волосы длинные,
Эн отрубил
И победителю песен их бросил.
Мин победил.
Он сам прочел Онегина железа и свинца

В глухое ухо толп.
Он сам взойдет на памятник.
Через три в пятой дней
Сделался снег ал.
И не узнавали Мина глаза никого,
Народ забе́гал,
Мина убила рука Коноплянниковой.
Через три в пятой (двести сорок три дня)
Точно, что всего обидней,
Приходит возмездие.
Было проделано чудо жестокости,
Въелось железо человечеству до́ кости,
Пушки отдыхали лишь по воскресеньям,
Ружья воткнуть казалось спасеньем.
Приказ грозе и тишине,
Германский меч был в вышине.
И когда мир приехал у какого-то договора на горбах,
Через три в пятой
Был убит эсером Мирбах.

Если в пальцах запрятался нож,
А зрачки открывала настежью месть,
Это время завыло: «Даешь!» —
А судьба отвечала послушная: «Есть».

Плоскость XIX

К Зангези подводят коня. Он садится.

Зангези.
Иверни выверни,
Умный игрень!
Кучери тучери,
Мучери ночери,
Точери тучери,

Вечери очери,
Четками чуткими
Пали зари.
Иверни выверни,
Умный игрень!
Это на око
Ночная гроза,
Это наука
Легла на глаза!
В дол свободы
Без погонь!
Ходы, ходы!
Добрый конь.

Он едет в город.

З а н г е з и. Я, волосатый реками!
Смотрите, Дунай течет
У меня по плечам!
И, вихорь своевольный,
Порогами синеет Днепр.
Это Волга блеснула
Синими водами,
А этот волос длинный,
Беру его пальцами,—
Амур, где японка
Молится небу
Во время бури.
Хороший плотник часов,
Я разобрал часы человечества,
Стрелку верно поставил,
Лист чисел приделал,
Вновь перечел все времена,
Гайку внедрил долотом,
Ход стрелки судьбы железного неба
Стеклом заслонил:

Тикают тихо, как раньше.
К руке ремешком прикрепил
Часы человечества.
Песни зубцов и колес
Железным поют языком.
Гордый, еду, починкой мозгов.

Глыбы ума, понятий клади,
И весь умерших дум обоз,
Как боги лба и звери сзади,
Полей божественных навоз,
Кладите, как колосья, в веселые стога,
И дайте им походку и радость, и бега.
Вот эти кажутся челом мыслителя,
Священной песни книгой те.
Рабочие, завода думы жители!
Работайте, носите, двигайте!
Давайте им простор, военной силы бег,
И ярость, и движенье,
Пошлите на ночлег
И беды, и сраженье,
И кудри молодца
Бегут пусть от отца.
Поставьте в поезда, ночные пароходы,
Где зелень темных звезд,
Чтобы через кадык небес вести
Людей небесные пути.
И чтоб вся мощь и свежесть рек
Влекла их на простор, охотничий ночлег.
Чтоб неподвижной глыбой снов
Лежал бы на девичьем сене
Порядок мерных слов,
Усталый и весенний.

Вперед, шары земные!

Если кто сетку из чисел
Набросил на мир,
Разве он ум наш возвысил?
Нет, стал наш ум еще более сир!
Раньше улитки и слизни —
Нынче орлиные жизни.
Более радуг в цвета!
Та — та!
Будет земля занята
Сетью крылатых дорог.
Та — та!
Ежели скажут: ты Бог,—
Гневно ответь: клевета,
Мне он лишь только до ног!
Плéчам равна ли пята?
Та — та!
Лета лета!
Люди — растаявший лед.
Дальше и дальше полет.
В великих погонях
Бешеных скачек
На наших ладонях
Земного шара мячик.

В волнах песчаных
<Качались — мóря синéй прически>
Сосен занозы.
Почерком сосен
Была написана книга песка,
Книга морского певца.
Песчаные волны, где сосны стоят,—
— Свист чьих-то губ,
Дышащих около.
Шумит, грызя молчание,
Как брошенную кость,
Дневное море.

Зверь моря синемехий и синебурый,
Бьется в берег шкурой.
Подушка — камень,
Терновник — полог,
Прибои моря — простыня,
А звезд ряды — ночное одеяло
Отшельнику себя,
Морских особняков жильцу,
Простому ветру.
Мной недовольное ты!
Я, недовольный тобой!
Льешь на пространстве версты
Пену корзины рябой.
Сваи и сваи, и сваи!
На свайных
Постройках лежит
Угроза, созревшая в тайнах
Колосьями сумрачных жит!
Трудно по волнам песчаным тащиться!
Кто это моря цветов продавщица?
На берег выдь, сядь рядом со мной!
Я ведь такой же простой и земной!

Я, человечество, мне научу
Ближние солнца
Честь отдавать:
«Ась! два!» —
Рявкая солнцам сурово!
Я воин; время — винтарь.
Мои обмотки:
Рим пылающий, обугленный, дымный —
Головешка из храмов,
Стянутый уравнениями туго
Весь поперек,—
Одна моя обмотка.
И Царьград, где погибает

Воин в огне,—
Другая, тоже хорошая.
Я ведь умею шагать
Взад и вперед
По столетьям.
Онучи туги.
Ну, дорогу други!

Слышу я просьбу великих столиц:
Боги великие звука,
Пластину волнуя земли,
Собрали пыль человечества,
Пыль рода людей,
Покорную каждым устам,
В большие столицы,
В озера стоячей волны,
Курганы из тысячных толп.
Мы дышим ветром на вас,
Свищем и дышим.
Сугробы народов метем,
Волнуем, волны наводим и рябь,
И мерную зыбь на глади столетий.
Войны даем вам
И гибель царств.
Мы, дикие звуки,
Мы, дикие кони.
Приручите нас:
Мы понесем вас
В другие миры,
Верные дикому
Всаднику
Звука.

Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав.
Конницу звука взнуздай!

<Плоскость XX>

ГОРЕ И СМЕХ

Зангези уходит прочь.

Горы пусты.

На площадке козлиными прыжками появляется Смех, ведя за руку Горе.

Он без шляпы, толстый, с одной серьгой в ухе, в белой рубашке. Одна половина его черных штанов синяя, другая золотая. У него мясистые веселые глаза.

Горе одет во все белое, лишь черная с низкими широкими полями шляпа.

Горе. Я горе. Любую доску́ я
Пойму, как царевну печаль!
И так проживу я, тоскуя,
— О, ветер, мне косы мочаль!
Я ко́гтями впилася в тело,
Руками сдавила виски.
А ласточка ласково пела
О странах, где нету тоски.
И, точно в долину, в меня
Собралась печаль мировая,
И я прославляю, кляня,
Кто хлеба лишен каравая.
Зачем же вы, очи умерших,
Крылами плескали нужды?
Я рыбою бьюся в их вершах,
Русалка нездешней воды!

Смех. В горах разума пустяк,
Скачет легко, точно серна.
Я веселый могучий толстяк,
И в этом мое «Верую».
Чугунной скачкою моржа
Я прохожу мои пути.

Железной радугой ножа
Мой смех умеет расцвести.
Рукою мощной подбоченясь,
Трясу подковами полы,—
Трясу единственной серьгой.
Дровами хохота поленниц
Топлю мой разум голубой.
Ударом в хохот указую;
За занавеской скрылся кто-то;
И обувь разума разую,
И укажу на пальцы пота.
Ты водосточною трубой
Сосешь дожди ночных небес,
А я безумец и другой,
Я — жирными глазами бес.
Курись пожарами кумирен,
Гори молельнями печали!
Затылок мой, от смеха жирен,
Твои же руки обнимали,
Твои же губы целовали.
И, точно крыши твердой скат,
Я в непогоде каждой сух.
А ты — как та, которой кат
Клещами вынимает дух.
На колесе привязана святою,
Застенок выломал суставы,
Ты, точно строчка запятою,
Вдруг отгородилась от забавы.
А я тяну улыбки нитки,
Где я и ты,
Тебе, на паутине пытки,
Мои даю цветы.
И мы — как две ошибки
В лугах ночной улыбки.
Я смех, я громоотвод
От мирового гнева.
Ты водоем для звездных вод,

Ты мировой печали дева.
Всегда судьбой меня смешишь:
Чем более грустна ты,
Тем ярче в небе шиш —
Им судьбы тароваты.
Твоя душа густой ковер,
Где ходят ноги звезд.
А я вчера на небе спер
Словарь недорогих острот.
Колени мирового горя
Руками обнимая, плачешь,
А я с ним подерусь, поспорю
И ловко одурачу.
У каждого своя цель
И даже у паяца.
Но многие боятся
Твоих нездешних глаз.
И ежели золу ем,
Она невкусная, пойми!
Ты все же тихим поцелуем
Мне по́ручи несешь любви.
И вечно ты ко мне влекома,
И я лечу в твою страну.
И, как пшеничная солома,
Ты клонишь нежную вину.
Я жирным хохотом трясуся
И над собой и над судьбой,
Когда порой бываешь «дуся»,
Моей послушною рабой.

Старик. Потомков новые рубли,
Для глаза божьего сквозны,
Кладу в ночные кошельки
Гробами звякнувшей казны.
Два холма во времени
Дальше, чем глаза от темени,
Я ученическим гробам

Скажу не так, скажу не там.
Хранитель точности, божбам
Веду торговые счета.
Любимцы нег, друзья беды,
Преступники и кто горды,
Мазурики и кто пророки —
В одном потоке чехарды —
Игра числа и чисел сроки.
Вот ножницы со мной,
Зловеще лязгая, стригу
Дыханье мертвой беленой
И смеха дикое гу-гу.
Я роздал людям пай на гроб,
Их увенчал венками зависти.
И тот, в поту чей мертвый лоб,
Не смог с меня глаза вести.
Носитесь же вместе, Горе и Смех,
Носитесь, как шустрые мыши.
Надену свой череп и белый доспех
И нежитью выгляну с крыши.
И кости безумного треска
Звенят у меня на руке.
Ах, если бы вновь занавеска
Открылась бы вновь вдалеке.
И глаз опрокинутых Китежи
Пусть горе закроет ресницей,
Бегите же, дети, бегите же! —
Что в жизни бывает, не снится.

Смех. Я смех, я громоотвод,
Где гром ругается огнем.
Ты, Горе, для потока вод
Старинный водоем.
И к пристани гроза
Летит надменною путиной.
Я истины глаза
У горя видывал из тины.

Я слова бурного разбойник,
Мои слова — кистень на Волге!
Твоей печали рукомойник
Мне на руки льет струи долги.

Горе. Сумрак — умная печаль!
Сотня душ во мне теснится,
Я нездешняя, вам жаль,
Невод слез — мои ресницы.
Пляшу Кшесинскою пред гробом
И в замке дум сижу Потоцкой
Перед молчанием Гирея.
А в детстве я любила клецки,
Веселых снегирей.
Они глазам прохожих милы,
Они малиновой весною зоба,
Как темно-красные цветы,
На зимнем выросли кусту.
Но все пустынно, и не ты
Сорвешь цветы с своей могилы,
Развеешь жизни пустоту.
Мне только чудится оскал
Гнилых зубов внизу личины,
Где червь тоскующий искал
Обед из мертвечины.
Как синей бабочки крыло
На камне,
Слезою черной обвело
Глаза мне.

Смех. Что же, мы соединим
Наши воли, наши речи!
Смех никем не извиним,
Улетающий далече!
Час усталый, час ленивый!
Ты кресало, я огниво!
Древний смех несу на рынок.

Ты, веселая толпа,
Ты увидишь поединок
Лезвия о черепа.
Прочь одежды! прочь рубахи!
По дороге черепов поползете, черепахи!
Скинь рубашку с полуплеч,
И в руке железный волос
Будет мне грозить, как меч,
Как кургана древний голос.
Точно волны чернозема,
Пусть рассыпется коса.
Гнется, в грудь мою ведома,
Меди тонкой полоса.
И простор твоих рубах,
Не стесняемый прибоем,
Пусть устанет о рабах
Причитать печальным воем.
Дерзкой волею противника
Я твой меч из ножен выбью.
Звон о звон, как крик крапивника,
Чешую проколет рыбью.
Час и череп, чет и нечет!
Это молнии железные
Вдруг согнулись и перечат —
— Узок узкий путь над бездною!
На снегах твоей сорочки
Алым вырастут шиповники.
Это я поставил точки
Своей жизни, мы виновники!
Начинай же, начинай!
И в зачет и невзначай!
Точно легкий месяц Ай!
Выбирай удачи пай!
Пусть одеты кулаки
Рукоятью в шишаки,
Темной проволочной сеткой,
От укуса точно пчел,

Отбивают выпад меткий —
Их числа никто не счел.
И, удары за ударом,
Искры сыпятся пожаром,
Искры сыпятся костром.
Время катится недаром,
Ах, какой полом!

Смех падает мертвый, зажимая рукоятью красную пену на боку.

<Плоскость XXI>

ВЕСЕЛОЕ МЕСТО

Двое читают газету.

Первый.

Как? Зангези умер!
Мало того, зарезался бритвой.
Какая грустная новость.
Какая печальная весть!
Оставил краткую записку:
«Бритва, нá мое горло!»
Широкая железная осока
Перерезала воды его жизни, его уже нет...
Поводом было уничтожение
Рукописей злостными
Негодяями с большим подбородком
И шлепающей и чавкающей парой губ.

Зангези (*входя*).

Зангези жив.
Это была неумная шутка.

Продолжение следует.

1920–1922

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

I

<СИМФОНИЯ «ЛЮБЬ»>

Любавица любоень любокий олюбень любязю в любне любила приолюливать.

Любимок, любнеющих люблялъно, любков триполюбливающих любила разлюбесно. Любеса любит, любуче любит, любуче любит, любоко.

Любиязь-любец любно олюбил, любнядью-любимядью олюблен. Любёль любоких любд, любивый любавицу, олюбил любезя. Любевом прилюбил. Люба полюбил.

Любины любутны любезю. Любочий и любочество, любака любимок, любляка любовень, Любины юнирь, Юныни любоч и люболь, любач юнот, любло юнивое, олюбил юнет, юнязем любоем юнущих юнлянок, юнли любиц.

И тихосоннязи были. Любяга!

Олюбимились.

II

* * *

Я опять шел по желтым дорожкам истоптанного снега Разумовской пущи. Снежные перины из перьев морозного лебедя тянулись по бокам, одна за другой, вставали лиственя и, как души предков, темные и таинственные, беседовали с темнотой, и ласковой хвоей задевали глаза пешеходов. «Бабушка или дедушка свешивается с этой узловатой прозрачно-хвойной ветки?» — думал я.

Что-то родное и знакомое в них, в их шепоте дерева людям.

Сухой треск, грохочущий рокот, быстрое дыхание ежа, комком несущегося по небу, шум и треск паровоза, разводящего свои пары, запачкали пятном шумов мысли о предках, и я опять увидел на небе четыре ровные пластины, управляемые человеческою пылинкою, и строгий закон плоскостей теневым богом скользнул за верхушками лиственей.

Это он, крылатый человек, слепым полетом, шумя и рокоча, пронесся над рощей; и в его треске, наполнившем околицу, явно чувствовалась близость военной трубы и голосов войны.

Красные круги были на нижних плоскостях и походили на красные глазки сумрачных бабочек-бражников, и все пластины, темные на небе, были просты, как военный приказ.

Сейчас он сядет на землю и помчится на узких лыжах, и облако снега, догоняя, бросится ему вслед и будет его преследовать, как узкогорлые борзые.

Грохот уменьшился и, отброшенная красным западом, тень скользнула среди деревьев.

Я сел на 13 и озирал соседей, случайных теней земного шара, моих спутников. Мы молчали, но глаза наши глухо резались черкесскими шашками; так долго и упорно мы резались.

Кто-то говорил: «Притворяться младенцем сейчас нельзя. Нет. Мертвые, вы спрятались в норы своих могил. Идите к нам и вмешайтесь в битву. И если живой белый камень, обвитый инеем своего дыхания, спокойно и грустно смотрит на вас и улыбка мыслителя, жилица вдохновенного камня среди берез и черных елей, живет на его устах,— оскорбите его сон. Нарушьте его тишину. Заставьте его выйти на улицу. Живые устали. Пусть в одной сече смешаются живые и мертвые. Оденьте на его снежное чело венок грязи».

Раскачиваемый на поворотах, изучающий и изучаемый соседями, в облаках визга, я несся в город по большой и белой дороге.

В эти дни я был пустой обоймой и хотел все имена, все славы и все подвиги земного шара, как новые заряды, как будущие выстрелы, вложить в пустую обойму моей души, моих сегодняшних дней.

А вы, а вы позорно спрятались в свои гробы, как комары зимой в щели зданий. Стыдитесь. И мертвые не летели на мой зов, как послушные голуби. Я видел плывущими по водам смерти старые одежды человечества и торопливо прял и ткал новые одежды. Я знал, что после купанья в водах смерти люд станет другим. Я был портной. Я шел по улицам. Струны столетий соединяли куски города разного возраста. Проволока веков трепетала звуками — от золотых луковиц храма, где, казалось, ехали седые бояре и бродила мнимая толпа в серебристых зипунах и блестели мнимые секиры и копья,— до стрельчато-стеклянных зданий рынков и прямых и белых стен с серыми кувшинами и навсегда умершими богами в круглых пещерах — дел недавнего времени. Мнимые смуглые лица боролись с вещественными серозелеными и там — из толпы выскакивал, побеждая, мнимый людина, здесь — одолевал вещественный. Как копья, ломались и бились друг с другом волны поколений, и их дела, биения, разностные шумы и добавочные, тянулись от низких белых ворот до большой стеклянной пустоты окна, где стекло звало в гости глаза и захлопывало двери перед возможным туловищем. Там и здесь вращались приводные ремни прежних дум и зубчатые колеса прежних душ.

Беженцы давали тревогу городу. Иногда извозчики останавливали своих милооких кляч, и беженец, шедший по улице, подбегал к нему и тряс руку беженке со всем жаром неожиданной встречи, после разлуки там, где людские дела освещало лицо войны.

Я поздоровался с малиновым цветущим окороком; через двадцать лет он будет уважаемым лицом этого города.

Струны столетий разностными шумами окутывали город, и точно ожерелье, наполненное строгою сельдью людей, бегали в сумраке золотые бочонки. И сумрак, краскам рок, звал своих подданных.

И вот я видел его — юношу земного шара: он торопливо выходил из воды и одел малиновый плащ, пересеченный черной полосой цвета запекшейся крови. Кругом были слишком зеленые травы, и бежал беженец, тетивой войны отброшенный далеко на чужбину.

1916

* * *

Закон множеств царил в этой бочке сельдей больших городов. Туго набитая человеческая селедка принимала очертания своих соседей. Сосед давил соседа в этом могучем бочонке, полном небоскребов, и на боку одной сельди, быстро носившейся с бумагами по городу, выдавливалась худая с острой хищной челюстью голова ее соседа.

Я узнавал своих знакомых, выдавленных подмышками быстро пробежавшего молодого человека: там они ухитрились отпечатать свои лица. И вообразите, на одной пятке оказалось отпечатанным лицо одной прехорошенькой девушки. Не удивительно, что я любил идти сзади и следить за мелькающей пяткой и смеющейся головкой девушки на ней. Итак, закон бочонка работал над населением города, туго набитого духовными селедками с зелеными вытянутыми лицами и впалыми глазами. Странное дело: туловища этих людей торопились, спешили по улицам, бегали по делам, в то время как рядом громадно и неподвижно, с мертво раскрытым ртом, лежали их души страшной тяжестью, оправдывая слова одного мудреца: «Не надо светописца, не надо художника там, где теснота: роковым образом вы оставите ваше лицо в его зрачках, на голенище его сапог, на рукаве локтя. Это зовется законом сельди больших городов».

Но вообразите прекрасный лоб мыслителя, узнающего свое лицо на пятке пробегающего мальчишки! Он остановится в недоумении на углу улицы и долго будет махать палкой!

На большие здания, с золотыми прямоугольными ночными очами, надвигался первобытный лес другой неживой правды. Дикий, прекрасный лес новых видений надвигался на человече-

ство, лес сновидений, недоступный старому железу. Уравнения нравов, уравнения смерти сверкающим почерком висели в воздухе среди больших улиц.

Скитаться среди огромных стволов. Хвататься за невидимые суки воздушных деревьев, вставших среди города. Одиноким зверем в множестве листьев скользить среди стволов второго мира, дремучей чащей обступившего первый.

Люди стали хитры и осторожны и, бессильные победить судьбу всего мира, стали относиться к ней как к мертвой природе.

Грибок жрецов, ведущих куда-то милостью чисел, по закону рождения, быстро опутывал человечество, и слова их проповеди звучали набатом дальнего пылающего храма. Шест сетки был у меня.

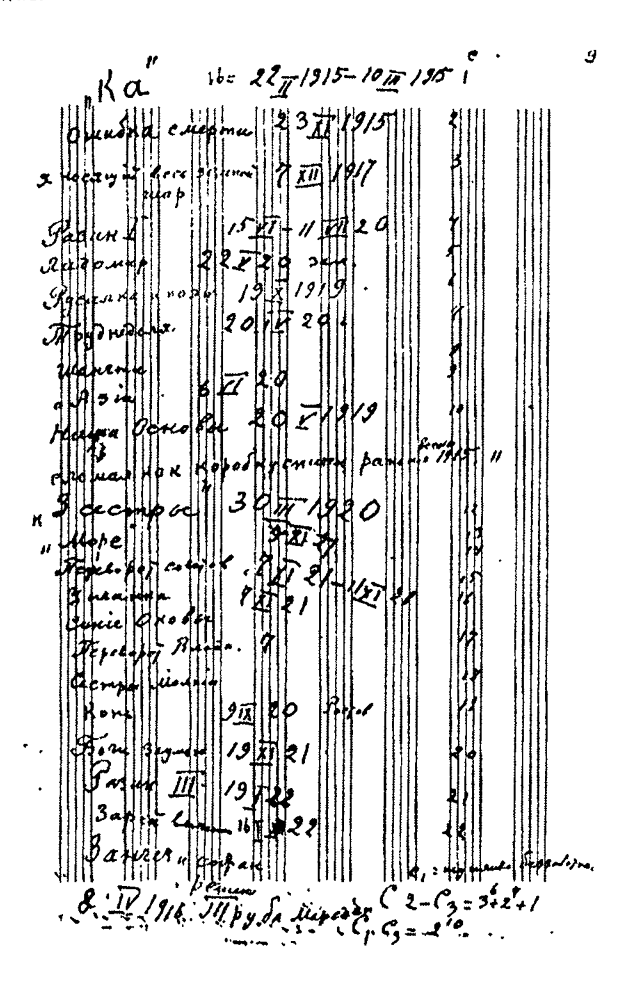
Хорошо! — подумал я,— теперь я одинокий игрок, а остальные — зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы — лицедеями. Эти бесконечные толпы города я подчиню своей воле. Волнующий разум материка, как победитель, выезжающий из тупиков наречий, победа глаза над слухом, вихрь мировой живописи и чистого звука, уже связавший в один узел глаза и уши материка, и дружба зелено-черных китайских лубков и миловидных китаянок с тонкими бровями, всегда похожих на громадных мотыльков, с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты, и ногти, любовно холимые славянкой, все говорило: час близок! Недаром пришли эти божества — мотыльки Востока с кроткими птичьими глазами на свидание с небесными лицами Италии. Вернее — это черные мотыльки уселись на белые цветы лица.

Золотые луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились, как перешибленный палкой или вдруг согнувшийся и схватившийся за живот человек, сломанный в нескольких местах, перееханный колесом. Это сквозь живопись прошла буря; позднее она пройдет сквозь жизнь, и много поломится колоколен. Я простился с художником и ушел.

Лысый мерин через синее прясло глядит — хорошо, а?

Так на море во время учебной стрельбы сначала блестит огонь, потом доносятся раскаты выстрела и наконец, долго спустя, подымается столб воды — весть того, что ядро долетело.

1916, 1921



Из материалов к «Доскам Судьбы». 1922

ЛЕВ

Когда дельта поднимает голову из золотисто-красных песков, <звук волн которых мы, люди, подслушивали, жалея, что> не имеем ушей и слуха для этих шумов, тогда и змея спокойно глотает жаворонка, севшего ей на лоб.

Он только что прилетел через облака и грозы из Северной Сибири, он видел моржа и отдыхал на высунувшемся из речного яра темно-глиняном клыке мамонта с мелкой резьбой столетий, покрывавших бивень морщинами.

<...>

Когда жаворонок подымался, его ноги поймали зубы песчаной змеи. Тогда из старого каменного льва, бросавшего вперед короткие лапы, улегшегося здесь в пустыне, чтобы считать столетия умом исчезнувшего народа, доносилось тонкое пение подземных жрецов.

Сколько потом легло у ног каменного льва.

Это было на рассвете. В тонкую щель туловища проникала заря. Падал малиновый меч. И тогда мы, схороненные в сфинксе жрецы, выходили в вершину черепа и пели хвалу Ра, и отодвигали на нитке времени новую четку дня.

[Да, мы прочли эти надписи египтян, но когда же мы прочтем слова, как числа?]

Подруги храмовных юношей сидели, неловко поджав ноги и смотря на них пристально.

И, веря нам и стараясь прочесть мысль, большие голубые глаза смотрели пристально и в упор. Они молчали, и только говорили их [большие голубые] глаза.

Иногда у них в руках вспыхивали травы, и они вдыхали в себя дым и молча смотрели на нас прекрасно-строго, но веря нам.

Руки их привыкли к властным движениям.

Отроки сплетали из слов, как из цветов, корзину для своих дум о солнце и с болью смотрели на своих подруг. Но вдруг <кто-то> покрыл глазами всю поверхность моего земного тела.

Я осязал до боли тайные силы этих больших голубых глаз, но Ка положил мне руку на плечо и сказал: «Возьми часы и измерь во времени свои вздохи и эту слабость другой жизни. Помни об осужденных умереть на заре и держи нить».

— Ах, сплети еще одно уравнение поцелуев из этих вздыхающих глаз! Еще новый венок чисел.

Я протянул к нему умоляющие руки.— Ка снова крикнул: — Нет.

Одной рукой он держал меня за плечо — почти пригнув меня к полу, другой показал на окровавленного Ка Тезея. Тот вошел шумной походкой, заколебав освященное пламя — изнеженный и мощный воин с дикой головой бога крови в руке. Перья падали с его медного шлема, медная чешуя сдерживала стан, одевала стопы. Смуглые ноги были босы. Так мы встретили в каменном туловище утро.

Ослепленный его приходом,— я колебался, смотря в глаза священного пламени и голубому пламени девы.

Но, вдруг ее большие блюда глаз закрылись.

Ветер пробежал. Стало темно. Я поднял руку, в ней лежала нить, уходящая за двери. Мы взошли по семи ступенькам к колодцу башни и оттуда смотрели на звездное небо, и увидели степь и ее красные и белые пески.

Мы, звездные юноши, молились. Снова мы пели песни.

<...>

Я до боли стиснул нить и вспоминал...... где и когда?

— Идем,— сурово заметил Ка.

Он привел меня к другому морю. Это не то море, у которого я родился, целый материк суши лежал между нами. Я подошел, и водопад чисел падал сквозь меня от моря родного к этому.

Я разделся и, когда волны, вдруг угрожая и пенясь, с шумом и гамом пошли на меня, я вспомнил одну улицу Казани, узкую, белую от солнца, палящего ноги вдали черной коннице, несущейся на нас.

Он остался на месте. И вдруг остановилась на месте и закипевшая телом большого морского чудовища, с злыми глазами толпа коней, почти наступившая мне на ноги. Я остался цел, меня не тронул никто, хотя я не тронулся с места.

Но на другой день я получил удар нагайкой за то же...

Ка стал моим учителем.

Под его руководством я постепенно стал начальником земного шара.

Я получил письмо: «Начальнику земного шара»,— больше ни слова.

Впрочем, на этих днях выйдет деловая переписка с правителями других земных шаров.

Ученик на сосне:

Великий друг, пройдись по этому белому песку, чтобы остались следы и я мог бы благоговейно поцеловать их.

О, хвойные сосны и горный лужок,
О, горы, чей в морщинах лоб,
И пена, и кипящий стружок,
И пены умирающей каменный гроб,
И над струей несется стриж,
Огне-угарна острога́,
За пеной мчатся <у>струга
И дальше на море <турусы>,
Пучина синяя мятежна и зла.
Уйдите, тени, мне скучно с вами,
Хочу я быть один.
Я крикну морю: «меня одень
Двумя моими измореадами.
Природа, жди вечерних див».
И сдует нелюдей мой одуванчик дум,
Берегового моря шум.

Я у порыва волны, морезь,
Вас буду ждать, о девы,
Но не нарушит мой обет
Военного приказа,
И не потушит пламя век,
О жены, пенного рассказа.
Но кто-то плывет вдали на челноке
И плещется строго весло.
Камень? книга? в бледной руке —
На облачной, черной доске
Означено мелом число.

Спешит гонец: Где начальник земного шара?
<Велимир>. Вестунья — я, что надо?
Гонец: Посольство с восточной звезды. Земля первовидцев прислала свои извиненья, что до сих пор не вела знакомства с людьми, но что до тех пор, пока люди не имели общей главы, не было б достойно вступать с вами в сношения.
Велимир (*спутнику*). Прими их, постой, вот на берегу светлячок. Возьми его и дай мой подарок, как свидетельство света, и спроси: есть ли у них такие? А потом на лодке мы поплывем смотреть светящееся море, нас двое, звезд, а в волнах рыбаки мы — оно осветит нас вдвоем.

<1916>

<МАЛИНОВАЯ ШАШКА>

И вот он приехал. Он вошел в сад, хмуря брови, и дал два выстрела: один в небо, другой в землю, а третий... третьего не было.

Он был предводителем повстанческого отряда: целый уезд считал его своим вождем. Серебряное оружие вручено ему было от отряда. Красный жупан был на нем. Он шутил, смеялся, рубил дрова, грелся у печки и, перелистывая одной рукой, торопливо читал «Войну и мир» Толстого, как человек во время короткой остановки торопливо пьет стакан чая.

Весело боролся с мальчиками и тихо, беззвучно хохотал, когда они его взяли в плен и несли за руки и за ноги.

Это было известно раз навсегда, что он был назван кузнечиком и ни на что другое не был способен. Если вы не верите, посмотрите, как он ест и пьет сейчас молоко. Теперь верите? Чем он виноват, что он такой уродился: длинноногий, худой, с головкой кузнечика, прожорливо и весело прижатый к стакану молока?

Он возвращался из отпуска и сейчас едет к отряду в Карпаты. Он заехал сюда, чтобы показать себя, каким он был перед смертью: не всякий знает, что он дает 10 очков и смерти.

Он шутил, надевал на голову сморщенный недовольный череп, прятал голову под жупан и расхаживал длинными журавлиными шагами по крыльцу вечером, когда только масло в чернильнице освещало людей. И было страшно и по-новому.

И только ночью, когда все улеглись, начался жадный суеверный шепот. «Скажите, как вы думаете, что будет дальше?», — глухо спросил он с деланной важностью.

<1919>

ВЕТКА ВЕРБЫ

День вербы, ручки писателя

Я пишу сейчас засохшей веткой вербы, на которой комочки серебряного пуха уселись пушистыми зайчиками, вышедшими посмотреть на весну, окружив ее черный сухой прут со всех сторон.

Прошлая статья писалась суровой иглой лесного дикобраза, уже потерянной.

После нее была ручка из колючек железноводского терновника — что это значило?

Эта статья пишется вербой другим взором в бесконечное, в «без имени», другим способом видеть ее.

Я не знаю, какое созвучие дают все вместе эти три ручки писателя.

За это время пронеслась река событий.

Про родину дикобраза я узнал страшные вести.

Я узнал, что Кучук-хан, разбитый наголову своим противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную смерть, и там, вместе с остатками войск, замерз во время снеговой бури на вершинах Ирана.

Воины пошли в горы и у замороженного трупа отрубили жречески прекрасную голову и, воткнув на копье, понесли в долины и получили от шаха обещанные 10000 туманов награды.

Когда судьбы выходят из береговых размеров, как часто заключительный знак ставят силы природы!

Он, спаливший дворец, чтобы поджечь своего противника во сне, хотевший для него смерти в огне, огненной казни, сам поги-

бает от крайнего отсутствия огня, от дыхания снежной бури. Снежная точка закончила эту жизнь. В его голове стояла изба его родины — из хороших туманов и хороших воинов. Не успев это сделать при жизни, он сделал это после смерти, когда хорошие воины за его голову получили хорошие деньги. Когда я бывал в этой стране в 21 году, я слышал слова: «Пришли русские и принесли с собою мороз и снег».

А Кучук-хан опирался на Индию и юг.

Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это «вера четырех измерений» — изваяние из сыра работы Митурича.

30 апреля 1922

Деветъ

Вопрос в пространство

Где „Перун и Изанаги"

„Есир", Каменная баба,

„Семь крылатых"

„13 в воздухе"

„Распятiе"

и другие 1914–1918 г.

Страница рукописной тетради (см. примеч. СС. 2: 585).
1922

III

<РАСПЯТИЕ>

Над грёзой громадною глаз
Он весь, как костер.
К востоку и западу он руки простер,
Смуглый и желтый, как краска заката.
Его полотнище — пятно облаков,
А глаза — синий просвет в синеву.
Раз, еще раз!
Та ладонь, которой
Ласкал он голову младенца,
Силою молота
Грубо проколота.
Воин был хладен и ловок.
Спаситель так бледен.
Казалось, сквозит,
Как облако около месяца,
Его выпрямленное тело.
А воин взял руку другую
И молотом снова разит.
— Начальник нам приказал
Тебя распять,—
Шептал угрюмо.
И снова иссиня-черная
С золотой соломы поднялась голова.
Опять? Стучат там.
Пусть басни говорят внучатам,
Что ты святой
И что висишь, за нас страдая,

И что ты Сын Божий.
Угрюмый сын труда я.
За все расплачиваюсь своей кожей
И с ней порой знакомы плети,
А это худшее на свете.
Ну вот, висишь, пророк, Сын Божий.
Как дышит грудь! Как бьются ребра!
А сам ведь я не злой, я добрый
И есть семья вдали и дети.
Эй, стража! Дайте гвоздь!
Еще удар один, и ногу,
Руки размахом изловчась,
Прибью к столбу людскому Богу.
Постой, родной! Сейчас! Сейчас!
Не у невесты ты, здесь плаха.
Зачем же Бог дрожит, как птаха,
Когда ей мальчуган,
Пред тем как голову красивую свернуть,
На темя дышит
И топорщит перья.
Ты слышишь? Бог не слышит!
Ты плачешь? Слушай, ты
Хороший малый.
Послушай, Бог, не балуй.
Послушай, слезы это суеверье,
А красных слез я раньше не видал.
Опять трепещет грудь,
Как крылья у пойманной птицы
В ладонях человека, пленницы темницы,
И вспыхнуло лицо глазами лучезарной муки,
И светятся, большие, из темноты.
Сошел с ноги, упал на руки.
Сорвется? Нет.
Закон судьи верней тенет.
И из него при мне рыбешка
Ни одна еще не ускользала.

И гвозди хороши.
И столб дубовый гроз удар,
Наверное, не раз изведал,
И прочно встал, как камень крепок,
На камне у сосны, у щепок.
Ты шепчешь: «Боже, Боже».
Да разве двое вас? И ты, и он?
О, громкий вопль! О, знойный стон!
Чего ты ждешь от темноты,
Когда такой он, как и ты?
Скажу по совести, что не поможет.
Тебе здесь сутки нужно мучиться.
[Я старый человек, бывалый,
И это дело мне знакомое.
Его веду я от отца.
Ведь от отцов род смертный учится.
Тебя сниму я, мертвеца.
Зачем ты жил? Зачем ты жив?
Он был сутул и крив,
Лицо же в оспе.... Да.
Ты снова стонешь: Господи!
Кого зовешь ты,— призрака пустоты,
Товарища в судьбе?]
Бывало, в роще соловьиной
И свист, и стон, и неги
Любовных тел неясный трепет,
И праздный бред, и тихий лепет,
И птичей <песни> гром и гомон.
Но над суровою холминой,
Над смерти отданной долиной
Закон суда стоит не сломан,
И из вечерней темноты
Такой же смотрит, точно ты,
В венке колючего шиповника.
Ты только лучше их.
А завтра спеленаю я

Ту землю хладную, что была тобой,
Закрою веки и отдам
Твоим родным, твоим друзьям
Тело казненного пророка.
Он умер, не опасен, хороните.
А над ним,
Точно в зеркало девица,
Ворон белой колесницы
Смотрит в мертвые ресницы,
Где красивой влагой синей
Чуть задернуты глаза.
К копью присло́нится, как к кубку,
И выпьет губку,
И заснет
Он с тихоструйной бородой
И прекрасной наготой
Чуть девического тела.
Бедра скрыты полотнищем.
Он, суливший царство нищим,
Он, бежавший тайны брака,
Но хранивший радость жен,
В звездном море, в вихрях мрака
Тайной смерти окружен.
Ученицы целовали,
Как цветы, его ладонь,
Грубо к дереву прибитую
Руку бледную его.
И красный воск течет по ранам.
<И вот> бесчувственным чурбаном
Тебя опустят в землю,
О, Учитель!
Чу, утро. Стонут журавли
За озером и за холмом, встречая
Земли Сияющий Глагол.
Внемли, внемли.
Здесь царь висит, и где его престол?

Средь двух воров,
Надземен и суров,
Застыл и умер, может,
Как лебедь крыльями,
Кровавыми взмахнул руками
Навстречу солнцу и заре.
Зачем тоска мне сердце гложет?
Зачем? Зачем? Я виноват,
Что есть семья? Закон суров.
Всё замерло. И умерли соседи.
Вкушает стража утренние снеди.
В руках их хлеб и чечевица.
И на холмах идут девицы
За водой.
О, ночь страданий,
Как ты
Иль дровосеки
Березы тело прекрасное рубят
В роще священной неги и дремы?
Или же трижды стукнуло сердце того,
Кто через меру смертную любит?
Или мечом говорят человеки,
И в тишине и глубоком досуге
Вспыхнули медью кольчуги?
Или дороги проезжей кузнец,
Ногу сгибая коня,
Чинит подкову
Ударами молота,
И алою пылью огня
Снова сурово
Вспыхнуло черное
Ночное глубокое золото
Этой рощи священной и старой
И этих холмов?
Или в окошко стукнул любимой знойный,
Как все этой ночью, глубоко покойной,

Озаренный дыханьем любовник,
Встав на колени?
[Или за рощей на чистой поляне
Дерутся за самку рогами олени?
Не знаю. Неведом виновник.
И снова глава прислонилась к главе.
Кто он, боец или кузнец?
Кто дал решенье? Кто поймет,
Что в ночь, когда воздух ласков и зноен,
Он, царства небесного воин,
<В ночь соловьев, когда люди зачали младенца,>
Красит круг ног полотенца
Шипами терновника,
Сплетавшего мрачный венец.
Он, Господа витязь единый.]

<1918>

* * *

I.

Минин — нижегородец
Низкие делал поклоны
Мина снарядам,
Из небосклона
Летевшим на приступ в порядке.
А рядом — в часовнях
Трясла лихорадка
Москвы Богородиц
С большими глазами,
Тряс их озноб.
Выстрел — виновник
Пронесся и замер.
Старое здание ранено в лоб!
Стало темней!
Их сердце тряслося о ребра камней,
Прятались барыни,
Брошены в жар они.
Снаряды и ядра в бубны здания стукали.
То содрогалося осью.
Выстрелов серых колосья,
Красного зарева куколи.
Пушки, что спрятаны в Пушкине,
Снимали покрывало Эн,
Точно купаться вышли на улицу,
Грубые, голые,

У всех на виду.
Готово? Сейчас наведу!
А он читал железные отрывки
Онегина из песен и свинца
В изданьи Воробьевых гор.
И кудри наклонял
Над площадью менял.

II.

Если убитым падал медленно Мин,
Он, кто надел красные перчатки,
И Россия вздохнула, от Москвы до Камчатки,
И сделался снег ал,
Свисток забегал,
И не узнавали Мина глаза никого.
Он лежал, в груди чужой заряд тая,
Слушайте, вы!
Это произошло оттого,
Что прошло
Ровно три в пятой
Дней
От дня усмиренья Москвы.
Тогда сапогом орудийного гула
Раздавлены были побеги свободы,
И усмиряло заводы
Дуло.
Если в пальцах запрятался нож,
И глаза отворила настежью месть —
Это три в пятой степени завыло — даешь?
И убитый ответил убившему: есть!
Случилось, и речь товарища выстрела
Походку событий убыстрила.
Лежит. Уж не узнают
Мина глаза никого
Из старых знакомых.
Решившая летом

Быть убитой, убив,
Но быть верной обетам,
Дала Коноплянникова
Выстрел без промаха.
Через три в пятой
После Пресни громимой —
Выстрел! теперь мертвое тело свободы
Праздником смерти вымой!

III.

Въелось железо выстрелов до́ кости,
Был установлен праздник жестокости,
Стачка железа казалась спасеньем,
Оно отдыхало лишь по воскресеньям,
Месяц служил странный, как жесть,
Обедню для новых железных божеств.
Пушки ревели, и сквозь их вой
Мы услыхали «шестичасовой!»
Ночь собирала тела, как наборщики,
Шашки конец покраснел — он был вор щеки,
Трупами набраны страницы полей,
В книгах других — письмо костылей.
Оставаться в живых уходила привычка,
Вспыхивало небо, как громадная спичка.
О смерти мысль была трезва,
И лишь вопила смерть: Азь-два! Азь-два!
Холмы и поля молилися богу,
Он же обрушивался ревом: в ногу!
За снарядом снаряд
В море огней не уставали нырять.
И когда приехал мир
У какого-то жалкого договора на горбах,
Через три в степени пятой
Был убит эсером Мирба́х,
Посол победившей страны.

IV.

Гарфильд был избран —
Посадник Америки,
Лед недоверия пробит.
Гарфильд вершины славы достиг.
Через три в пятой — это звери какие-то —
Гарфильд убит.

V.

Болгарин! радостей песнями выси мой!
Если долина цветов — Болгария
Ушла независимой,
Встала свободною,
С скамьи для подсудимых,
Суда всемирного,
В 78-ом году,
И начала пляски и игры дуд,
Это потому — что прошло
Три в одиннадцатой степени дней
Со дня битвы при Тырнове —
Этого первого дня турецкого плена.
Когда не стало много любимых
Ее сыновей.
Столько дней тлело плена полено!
К воле вернулась, чаре ея,
И прежнего рабства более нет.
Жестокого ига скинута цепь.
Стала свободной Болгария.

VI.

Царьград, морей владыка!
Через три в одиннадцатой,
Взятое четырежды,

После великой победы греков над персами
(Столетьями славился бой) —
Смертной секиры жди!
Турок придет, многих порубит,
Три в энной степени мучит и губит.
Будут глухи небеса к мольбе о защите!
Три в энной степени!
Два в энной степени!
В каждом мозгу запишите!

VII.

Если Ермак, как сбесившийся тур
Красный кусок полотна, яростно
Поднял Сибирь на рога,
Перышком к облаку кинул
Множество рек и народы,
Рыжебородый.
А Стессель сдал Порт-Артур,
И властно сказал Восток: осади!
Перед русской рекою встала стена.
Если для Стесселя были важнее
Знамен Порт-Артура его поросята,
Это потому, что после Ермака
Прошло дважды три в десятой
Между взятьем Искера и
Боем в Мукдене —
Этою точкой строчки столетий
Пути на Восток.

VIII.

И если Востока свежая сила
Древний город разрушила,
Рима храмы ограбила,
Бросила город оковам,

Собака кочевий досыта кушала
Вечного города граждан
Мясо, жир, кожу и жилы,
Порвав у шатра господина цепь,
То через дважды «три в одиннадцатой»
Поток преградила плотина щитов
(Ведь на столетья и на века
Лилась Востока народов река,
Хлынув однажды)
В поле Куликовом.
И черновик Рима первого
Москва переписывала набело
Чернилами первых побед.
Кончалась обойма народов Востока,
Бой Куликовский — выстрел в висок.
Вырос Рим третий.

IX.

И если восстали поляки
В год 63-й,
Не боясь у судьбы освистанья,
(Щеку и рот пусть раздирает свисток),
Пусть, точно черное дуло,
Смотрит русский восток,
Через три в степени пятой
Вдруг загремел, как смерть в одиночке,
Выстрел в грудь Берга,
Усмирителя восстания,
— В конце подавления точка.

X.

48-ой год. Полон Берлин
Восставшим народом,
Главные улицы полные зелени,

Через три в пятой
Блюм был расстрелян.
Выстрелов клубится,
Точно перо, дым.
Это три в пятой направило дуло.

XI.

И если труба протрубила — воскресни!
С вышки времен,
В трескучие дни речей Милюкова,
И хрупкими стали оковы,
Скакала свобода,
Копытом проломив грудь самодержавию,
На ней, как алая попона,
Лежал кровавый день Гапона,
Скачет все дальше.
Горел, как маяк,
Отблеск ножа в ея
Набатных глазах.
Скачет, раскинув столетнюю пыль,
Уздечкою порванной по полу волочится
Прежняя быль.
Дикая, новой веры пророчица,
Дико скакала.
Пыли и то трудно угнаться той,
Ветру сестра, это случилось затем,
Что прошло два в двенадцатой
Со дня Красной Пресни,
Восставшей в девятьсот пятом
И усмиренной Мином.

XII.

Столетий грядущую ширь не читай,
Свободу узнавшая Сельская Русь,

Те, души вещие чьи.
Через два в четырнадцатой
Снова зажжется заря.
Сбросивший право помещичье,
Сбросит законы царя.

XIII.

Нет, не бывает у бури кавычек! Сломалось перо:
Самая плаха в должности точки плоха!
Хоть погибает Рылеев,
В выборе цепи и плахи — плаха милее!
Через два в тринадцатой
После свободы, восстанием начатой,
Восстанием Рюриковичей в 25 году.
Время настало 48-го года —
Дело князей взяли рабочие.
Плаха! Хочешь стать точкой свободе?
Слабо́!
И не бывает свобода рабой.

XIV.

Мец и Седан с часу на час падут.
Часы Мак-Магона!
Весь мир начеку.
Через два в четырнадцатой
Снова германский грохочет кулак
По Вердену и Марне.
Честный кулак сильнее закона.
Тирпица бродит по морю
Скошенный глаз.

<1921>

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕКСТОВ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

АРХИВЫ

ГММ — Отдел рукописей Государственного музея В.В.Маяковского. Москва

ИМЛИ — Отдел рукописей Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН. Москва.

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом). РАН. Санкт-Петербург.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.

РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Санкт-Петербург.

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Творения, 1914 — Хлебников В.В. Творения 1906–1908 гг. М. <Херсон>: Изд. «Первого журнала русских футуристов». 1914 <Конец 1913>.

Ряв! 1914 — Хлебников В. Ряв! Перчатки 1908–1914 гг. СПб.: Изд. «ЕУЫ». 1914 <декабрь 1913>.

НХ — Неизданный Хлебников. Вып. I–XXX. Под редакцией А.Е.Крученых. М.: Изд. «Группы друзей Хлебникова». 1928–1935 (стеклография и машинопись).

СП — Собрание произведений Велимира Хлебникова. Под общей редакцией Ю.Тынянова и Н.Степанова. Ред. текста Н.Степанова. Л.: Издательство писателей в Ленинграде. Т. I. Поэмы. 1928; Т. II. Творения 1906–1916. 1930; Т. III. Стихотворения 1917–1922. 1931; Т. IV. Проза и драматические произведения. 1930; Т. V. Стихи, проза, записная книжка, письма, дневник. 1933.

ИС, 1936 — Хлебников В. Избранные стихотворения. Редакция, биографический очерк и примечания Н.Степанова. М.: Советский писатель. 1936.

НП, 1940 — Хлебников В. Неизданные произведения. Поэмы и стихи (редакция и комментарии Н.Харджиева). Проза (редакция и комментарии Т.Грица). М.: Художественная литература. 1940.

Стихотворения и поэмы, 1985 — Хлебников В. Стихотворения и поэмы. Составление Р.Дуганова и С.Лесневского. Вступительная ста-

тья В.Соколова. Подготовка текста и примечания Р.Дуганова. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. из-во. 1985.

Творения, 1986 — Хлебников В. Творения. Общая редакция и вступительная статья М.Я.Полякова. Составление, подготовка текста и комментарии В.П.Григорьева и А.Е.Парниса. М.: Советский писатель. 1986.

Утес, 1988 — Хлебников В. Утес из будущего. Проза, статьи. Составление, подготовка текста, вступительная статья и примечания Р.В.Дуганова. Элиста: Калмыцкое книжное из-во. 1988.

СС — Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах. Под общей редакцией Р.В.Дуганова. М.: ИМЛИ РАН. Т. 1. Литературная автобиография. Стихотворения 1904–1916. 2000; Т. 2. Стихотворения 1917–1922. 2001; Т. 3. Поэмы 1905–1922. 2002; Т. 4. Драматические поэмы. Драмы. Сцены. 1904–1922. 2003.

SS, III, 1972 — V.Xlebnikov. Sobranie sochinenij (ed. by Vladimir Markov). Munich: Wilhelm Fink Verlag. 1972.

СБОРНИКИ

Садок судей, 1910 — Садок судей. СПб.: Изд. «Журавль». 1910 <апрель>.

Пощечина, 1913 — Пощечина общественному вкусу. М.: Изд. Г.Л.Кузьмина и С.А.Долинского. 1913 <декабрь 1912>.

Садок судей II, 1913 — Садок судей. СПб.: Изд. «Журавль». 1913 <февраль>.

Дохлая луна, 1913 — Дохлая луна. М. <Каховка>: Изд. «Гилея». 1913 <август>.

Трое, 1913 — Трое. СПб.: Изд. «Журавль». 1913 <сентябрь>.

Молоко кобылиц, 1914 — Молоко кобылиц. М. <Херсон>: Изд. «Гилея». 1914 <декабрь 1913>.

Рыкающий Парнас, 1914 — Рыкающий Парнас. СПб.: Изд. К.Л.Пуни и М.В.Матюшина. 1914 <январь>.

ПЖРФ, 1914 — Первый журнал русских футуристов, № 1–2. М.: Изд. «Гилея». 1914 <март>.

Московские мастера, 1916 — Московские мастера. М.: Изд. С.М.Вермеля. 1916 <март>.

ИППК, 1988 — Исследования памятников письменной культуры в собраниях и архивах Отдела рукописей и редких книг ГПБ. Л., 1988.

Волга — журнал «Волга». Саратов. 1987–1988.

Вестник ОВХ — Вестник Общества Велимира Хлебникова. Вып. 1–3. М.: Изд. «Гилея». 1996, 1999, 2002.

ПРИМЕЧАНИЯ

Жанровая композиция данного тома обоснована в редакционной статье «О принципах подготовки издания» (СС, 1:434–435).

Стихотворения в прозе (раздел I), в отличие от рассказов, повестей, очерков (раздел II), почти лишены канвы событийности, акцентируя приемы бессюжетного лирического высказывания.

Понятие «сверхповесть» (раздел III) появилось только в тексте последней большой вещи Хлебникова «Зангези», но сам принцип такой сложной жанровой формы проходит через всю его творческую биографию.

I

«Со спутанной головой...» (С. 7) — Впервые: НП, 1940 («по автографу с датой: 4.VIII.905» — НП: 453).

Возможно, стимулом текста явилось впечатление от картины М.Врубеля «Демон» (1890). См. примеч. СС, 1:466 и СС, 3:462.

Заушение — от глагола «заушить»: бить рукой, оплеушить (Даль); здесь: казнь.

«Была тьма...» (С. 8) — Впервые: НП, 1940.

Коллизия «тьма — свет» близка романтическому сюжету М.Горького о Данко (в рассказе «Старуха Изергиль», 1895).

Песнь мраков (С. 9) — Впервые: НП, 1940.

Ср. стихотворение «На ветке...» (СС, 1:14).

Юноша Я-Мир (С. 10) — Впервые: ПЖРФ, 1914.

Старый Рим — образ связан с идеей Москвы — третьего Рима (второй — Византия) и строится на перевертне: Рим — мир. Ср. в заметках того же времени: «Мы ученики греков. Мы несем неназванную тайну от погибшей Византии» (РГАЛИ). См. примеч. СС, 2:576.

Простая повесть (С. 11) — Впервые: ПЖРФ, 1914.

Этот и предыдущий тексты были напечатаны с одной подписью: «Коллективный псевдоним ААА». Отмечено в работе Д.Лихачева и А.Панченко «Смеховой мир древней Руси» (Л., 1975. С. 125), с указанием, что «протянутым междометием "а" старообрядцы.обращались к Богу, цитируя библейскую книгу пророка Иеремии: "И я сказал: а-а-а, Господи! Я, как дитя, не умею говорить"». Ср. в повести «Ка»: «...дико ржал и кричал на а-а-а» (С. 127).

Сон-трава — растение обладает магической силой предсказания (Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1880. С. 431); см. примеч. СС, 1:487.

«А и векыни обитают в веках...» (С. 13) — Впервые: НХ, VII, 1928 (без первого абзаца); полностью: Утес, 1988 (по рукописи РГАЛИ).

«Морных годин ожерелье...» (С. 14) — Впервые: НП, 1940.

Мотив «Радостной Мори», по-видимому, связан с символистским образом «навьих чар» Ф.Сологуба (1907), творчеством которого молодой Хлебников был недолгое время увлечен (*навий, нав* — см. СС, 1:462).

Ср. образные мотивы более поздних стихотворений Хлебникова:

Морных годин ожерелье — «Быть ожерельем из русских смертей» (СС, 1:213).Ср. *Морана, богиня смерти* в статье «Учитель и ученик», 1912.

Не ты ли на перстне мизинца имеешь яд? — «А в перстне капля яда, яда» (СС, 1:331).

«Бельмо-белючая-белючая...» (С. 15) — Печатается впервые по рукописи (РГАЛИ).

Любава (С. 16) — Печатается впервые по рукописи (РГАЛИ).

Резничего — ср. сходные словообразования в стихотворении «Я ведал: ненарекаемость Бозничего...» (СС, 1:22).

<Симфония «Любь»> (С. 17) — Печатается впервые по рукописи в одной из рабочих тетрадей Хлебникова конца 1900—1910-х гг. (РГАЛИ).

Публикация под названием «Любхо» (Дохлая луна, 1913), по-видимому, имела иной рукописный источник (см. илл. на С. 20, а также СП, IV, 1930). См. примеч. к стихотворению «Я любоч, любимый любаной...» (СС, 1:461), которое, согласно рукописи (см. на С. 18), может быть озаглавлено «Любь».

Публикуемый текст (вариант на С. 355) и примеч. подготовил М.С.Киктев.

Замысел Хлебникова раскрывается в указанной тетради в перечне заглавий: «Симфония “Бы”», «Симфония “Ярь”», «Симфония

"Любь"». Редкий у Хлебникова случай последовательного применения иностранного слова здесь, помимо собственно музыкального значения и литературных ассоциаций, связанных с «Симфониями» Андрея Белого, отсылает к идее словаря-указателя (симфонии или конкорданса), дающего свод лексики священного писания или другого авторитетного текста. В свою очередь это раскрывает актуальный для Хлебникова мировоззренческий смысл его словотворчества. <Симфония «Любь»> — самая большая и наиболее продуктивная из нескольких задуманных разработок односложных корневых основ (*дел, сам, дум, сказ, вед, слав, род, бог, свят* и др.; см. также «Заклятие смехом» — СС, 1:209 и 479).

Среди окружающих текст набросков: «*Я люблю, я люблю / Славянское слово «люблю»*», а также разрозненные словоновшества от основы «любь» и разной степени оформленности стихотворные фрагменты, например:

Я любостей новых, нежданных, невиданных не алчу,
Див люботы не жду, любимец, обласканный любовью
Богини Люботы, испытанный в любитве,
В любении воин поседелый.
Олюбленная мной,
Олюбил я тебя в глазах юного.
Любимый лоб, улыбка — любостей вестница щедрая
Дева любинная.
Любин. Любыня.
И в зареве любева вижу сладости прошлого,
        Старый любун.

Любинная Зима

Любинной зови голос,
Мне сладкий слышен глас.
Дева любинных глубин,
Не устающая ворожить оттуда,
Любинных глубей даль,
Заманчивая, даль сладкогласая,
Ословляющая себя, тебя и нас.

И в пьяностях дымчатых далей прозреваю
        иные, новые и сладкие любеса.

Веяли зовущими крыльями любеса ждущие.
Любовых слов раскрылися сады. Стаи нежные,
любинные дум уста.
Любинных дум зовущая лебедь белая,
любинные уста.
Любинных дум зовущая свирель.
Любинные глуби покрылися льдом.

[*Дева любинных глубин* — см. одну из окружающих комментируемый фрагмент записей Хлебникова: «Мир бога не волит. И богом для мира я быть не могу. Но богом в себе я могу. И богом себинных глубин». Ср. у З.Н.Гиппиус: «Но люблю я себя как Бога» — «Посвящение», 1894, а также: «Вижу я очи твои, Безмерная <...> О, не уходи, моя Единая и Верная» — «Перебои», 1905 (цит. по кн.: «Стихотворения». СПб., 1999)].

Варианту, публикуемому на С. 355, предшествовали два наброска:

Бежествуя в далях божественных неба,
О Любязь, ты, мелькающий за вселенной,
Ты, мелькающий за травой,
Благослови мою смиренную
Убогую Мирель.

Любия нездешних сил
В синеву нас уносил.
В небоходе нашей думы
Забывали про пету мы.

[*Пета* (через ять) — от глагола «петать»: мучить, не давать покоя (Даль). Ср. название сб. футуристов «Пѣта» (1916) с участием Хлебникова].

Стихотворению «Любь» предшествуют в тетради толкования Хлебниковым некоторых его словоновшеств:

Любище — место любви. Любень — кого любят. Олюбь — все, что можно любить. Любязь — носитель любви невылюбающихся. Любик — милый, любой любящий. Люблый — любивший. Любеж — как обязанность, как действие. Любило — сердце, орудие любви. Любота // сирота // острота. Любой // бой // разбой — явление любви. Любо-русалие — смехо-русалие. Любель — отдельное выражение любви.

...боголюбовная ясть люб — кроме значений словарных («еда», «яства», «насыщение»), *ясть* соединяет местоимение первого лица, открывающее текст, с суффиксом — *ость*, означающим, по Хлебникову (в этой же тетради), «дух, ось мира», «суть», «ость явлений». Однако в «Искушении грешника» — *яст*, а не *ясть*: «...и летает Ястлюд», «Ястмир люлдноногий» (С. 38).

Людо — форма звательного падежа от *люд* (человек, человече). Ср. *чадо* (одна из окружающих текст записей: «чадо — эпитет = желанное, чаять»).

Из 305 слов публикуемого текста лишь три не от корня *люб*: Я, ясть, людо. О словообразованиях с «*юн*» в вариативном тексте на С. 355 см. примеч. СС, 4: 345.

«Отсутствиеокая мать...» (С. 21) — Впервые: Дохлая луна, 1913 — с предшествующим рифмованным восьмистишием и общим названием «Так как»:

Так как мощь мила негуществ
Этой радостной душе,
Так как ходит зов могуществ
По молчаний пороше,
Так как ходит некий вечер
По взирающему рту,
Так как чертит с богом вече
По целинам лиц черту.

Республикация «Так как» — в СП, II, 1930.

По-видимому, эта композиция была организована редакцией сборника. См. у Маяковского в некрологе «В.В.Хлебников»: «Мы выбирали из вороха бросаемых им черновиков кажущееся нам наиболее ценными и сдавали в печать. Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове, вызывая веселое недоумение Хлебникова» (ПСС, 1959. Т. 12. С. 23).

«И, всенея, ховун вылетел в трубу...» (С. 22) — Впервые, Садок судей II, 1913 (под названием «Ховун», данным издателем сборника М.В.Матюшиным); републикация — в СП, IV, 1930. Печатается по рукописи (РГАЛИ), с конъектурой в последней строке, восходящей к статье «Курган Святогора». Рукой Хлебникова на полях помечено: «Opus № 1».

Ховун — см. примеч. к пьесе «Снежимочка» (СС, 4:372).

Раст (растовый) — пора обильного созревания (Даль).

Песнь Ми́рязя (С. 25) — Впервые: Пощечина, 1913 (начало); Молоко кобылиц, 1914 (окончание со слов «Синатое небо...»); СП, IV, 1930 (полностью).

Белун (Белбог) — см. примеч. к поэме «Внучка Малуши» (СС, 4: 346).

...я был Городецким — см. примеч. СС, 2:540. Дарственная надпись С.М.Городецкому на сб. «Садок судей II»: «Первому, воскликнувшему "Мы ведь можем, можем, можем!" — одно лето носивший за пазухой "Ярь", любящий и благодарный Хлебников 10.IV.13».

Когович? серб. — какого рода? Ср. в рассказе «Закаленное сердце» — «никогович» (С. 103).

Сой серб. — см. СС, 1:470.

Дядя Боря — возможно, двоюродный брат автора, Б.Л.Хлебников (1877—1937); ввиду разницы в возрасте, младший всегда называл старшего «дядей».

Искушение грешника (С. 35) — Впервые: журнал «Весна». СПб., 1908, № 9; републикация — в СП, IV, 1930. В октябре 1908 г. Хлебников сообщал сестре: «Вчера имел счастье видеть свое произведение "Искушение грешника" в печати в "Весне". Моя путина в полях словобы будет торна, если будет охота идти» (РГАЛИ).

Обстоятельства литературного дебюта Хлебникова описаны в книгах В.Каменского: «Его — моя биография великого футуриста» (1918) и «Путь энтузиаста» (1931). См. примеч. СС, 3:423.

Тема этого стихотворения в прозе связана с философской драмой Г.Флобера «Искушение святого Антония» (1874), а образная система, составные неологизмы — с разработкой того же сюжета в изобразительном искусстве (И.Босх, П.Брейгель, Ж.Калло, О.Редон). По-видимому, Хлебников читал драму Флобера в пер. Бориса Зайцева (XVI книга товарищества «Знание». СПб., 1907; ср. финальные сцены VII раздела драмы). Прямое упоминание этого произведения Флобера в прозаическом очерке 1918 г. «Никто не будет отрицать того...» — С. 177.

Вран др.-русск. — ворон.

Кичка (кика) — см. примеч. СС, 3:495 и СС, 4:366.

Вместо камышей шумели времыши — ср. стихотворение «Времыши — камыши» (СС, 1:75).

«Б е л о р у к а я,   т и х о р у к а я,   м г л я н о р у к а я   д а л ь . . . » (С. 39) — Впервые: НП, 1940.

В конце рукописи, по сообщению публикатора, приписано: «Художественный прием давать понятию, заключенному в одном корне, очертания слова другого корня. Чем первому дается образ, лик второго».

Крымов Николай Петрович (1884—1958) — пейзажист, его работы в 1907—1908 гг. экспонировались на выставках «Голубая роза» и «Союз русских художников».

Приемы пуэнтилистов — это следующим образом комментируется публикатором: «Очевидно, Хлебников находил аналогию между пуэнтилистическими методами разложения живописной поверхности на отдельные мазки чистого цвета, не нарушающего однако иллюзии предметности, и своим словотворческим методом, в котором сочетание беспредметных неологизмов создает в то же время иллюзию смыслового движения» (НП:453).

Наиболее известны методом пуантилизма французские постимпрессионисты Ж.Сера и П.Синьяк.

З в е р и н е ц (С. 41) — Впервые: Садок судей, 1910. Печатается по исправленной и дополненной редакции 1911 г. в НП, 1940.

Из письма В.И.Иванову (10 июня 1909 г.), содержащего первоначальную редакцию «Зверинца»: «Я был в Зоологическом саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с исламом <...> пришел к формуле, что виды — дети вер и что веры — младенческие виды. Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик). Вот моя несколько величественная точка зрения» (НП:356).

В письме брату (конец октября 1909 г.) Хлебников сообщал: «Мое стихотворение в прозе будет печататься в “Аполлоне”... Я пришлю тебе оттиск» (РГАЛИ).

Как вспоминала А.А.Ахматова, Хлебников «читал “Сад” на башне у Вяч. Иванова в самом конце 1909 или начале 1910 г.» (сб. «Книги. Архивы. Автографы». М., 1973. С. 68).

В «Зверинце», используя многообразные мифологические, философские и литературные ассоциации, Хлебников возрождал средневековый жанр бестиариев — аллегорических изображений и описаний животного мира (ср. традиции бестиариев у европейских поэтов XX века: Рильке, Аполлинера, Элюара и др.).

В «Зверинце» и в близкой по времени написания пьесе «Чертик», где «задет город» («Свояси»), можно видеть перекличку с рассказом Л.Андреева «Проклятие зверя» (1907), герой которого пытается найти душевное равновесие в Зоологическом саду, ибо «правду знает зверь». В круг этой темы включается и стихотворение Ф.Сологуба «Мы — плененные звери» (1906).

К.Чуковский (см. примеч. СС, 3:457) в книге «Уот Уитман» (1914) утверждал, что в «Зверинце» Хлебников «откровенно пародировал» американского барда. Позднее критик был более осторожен в толковании этой литературной параллели: «Поэма Хлебникова "Зверинец" <...> кажется типическим произведением автора "Листьев травы" и напоминает главным образом тот отрывок из "Песни о себе", который начинается словами "Пространство и время" <...> Не только структура стиха, но и многие мысли "Зверинца" заимствованы у автора "Листьев травы". Например, мысль о том, что "взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг", многократно повторялась в стихотворениях Уитмена. Но живописная образность "Зверинца" — чисто хлебниковская, выходящая за пределы поэтики Уитмена» («Мой Уитмен». М., 1966. С. 251–252).

Хлебников, высоко ценивший поэзию У.Уитмена (см. примеч. СС, 2:549), категорически возражал против идеи заимствования «Зверинца»: отрывок, указанный К.Чуковским, к 1909 г. не был переведен на русский язык, а по-английски Хлебников не читал.

Предположение о структурной и образно-символической связи «Зверинца» с описанием у А.И.Герцена интеллектуальной атмосферы московских гостиных 1840-х гг. («Былое и думы», ч. 4, гл. XXX) см. в статье: Арензон Е.Р. «Задача измерения судеб...» // Мир Велимира Хлебникова. М., 2000. С. 525–526.

Анафорическое строение «Зверинца» (с наречием «где») повторил В.Каменский в лирическом прологе к роману «Землянка» (1911).

Сад — Петербургский зоологический сад.

Баской обл. — нарядный, щегольский.

Синий красивейшина — павлин.

Павдинский камень — часть Уральской гряды (см. примеч. СС, 3:435).

Австралийская птица — птица-лира.

Нетопырь — крупная летучая мышь.

Где нетопыри висят опрокинуто, подобно сердцу современного русского — ср. в статье Андрея Белого «Ибсен и Достоевский»: «У Достоевского не было крыльев орлиных, а быть может — нетопы-

рииные» («Весы». 1905. № 12). В «Идиоте» (ч. 1:Х) Настасья Филипповна вглядывается «в опрокинутое лицо Рогожина».

Низкая птица — возможно, золотой фазан.

Рыбокрыл — пингвин.

Полдневный пушечный выстрел — см. примеч. к поэме «Журавль» (СС, 3:423).

Косматовласый «Иванов» — намек на В.И.Иванова в образе льва, см. «Ка-2» (С. 156).

Спрятавшийся монгол — аллюзия на идею В.С.Соловьева об опасности «панмонголизма», см. примеч. на С. 453.

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ (см. СС, 2:292, примеч. СС, 1:501; СС, 2:571 и др.). Возможно, замысел «Зверинца» опосредован рассуждением — иронией Ницше об «улучшении» животных в зоопарках как процессе превращения здорового зверя в больного. См. главу «Исправители человечества» в кн. Ницше «Сумерки идолов». СПб., 1907.

Где в золотистую чуприну птиц — вероятно, венценосный журавль.

Вписанное в часослов «Слово о полку Игореве» — выдающийся памятник древнерусской литературы был обнаружен в конце XVIII в. в рукописном сборнике под названием «Хронограф»; сборник погиб во время московского пожара 1812 г.

«Суровая прелесть гор...» (С. 47) — Впервые: СП, IV, 1930. Хлебников был в Дагестане летом 1903 г., по окончании гимназии, и в августе-сентябре 1909 г.

См. стихотворение 1909 г. «Могилы вольности Каргебиль и Гуниб...» (СС, 1:202).

«Это было старое озеро...» (С. 49) — Впервые: Russian Literature. 1975. № 9 (публикация Н.И.Харджиева). Печатается по рукописи (РГАЛИ).

Образ озера как зеркала-памяти см. в автобиографическом очерке «Нужно ли начинать рассказ с детства?..» (С. 203).

Моделью анафорического построения текста («Я...») следует считать монолог Геракла в драме Г.Флобера «Искушение святого Антония» (раздел V).

Я переплыл залив Судака — см. примеч. СС, 1:467 и СС, 3:422.

«России нет...» — автоцитата из сатирической поэмы «Передо мной варился вар...» (СС, 3:27).

Висит, как нетопырь — ср. в «Зверинце»; примеч. на С. 394.

О, рассмейтесь <...> — см. «Заклятие смехом» (СС, 1:209), та же автоцитата в <«Три Веры»> (С. 150).

Долой Габсбургов!.. — из напечатанного анонимно «Воззвания учащихся славян» (газ. «Вечер». СПб., 16 октября 1908 г.). Габсбурги — правящая династия Австро-Венгерской империи; Гогенцоллерны — правящая династия Германской империи.

Медный кистень... свирель — в сентябре 1911 г. в письме к родным Александр Хлебников сообщает об увлечении Виктора «кистенем» и «пастушеской дудкой, которую купил за гривенник под Ардатовом» (публикация писем из архива М.П.Митурича-Хлебникова: Волга. 1987. № 9. С. 148).

Снят с черепом в руке — об этом Виктор Хлебников сообщил сестре летом 1909 г. (РГАЛИ); см. на С. 48.

Петровск — порт на Каспии (сейчас столица Дагестана Махачкала).

Перенес воду из Каспия в моря Карские — ср. в автобиографической заметке 1914 г.: «Перейдя перешеек, соединяющий водоемы Волги и Лены, заставил несколько пригоршней воды проплыть вместо Каспийского моря в Ледовитое» (НП:352).

Гребенские горы — холмы и урочища в бассейне Терека (пограничье Дагестана и Чечни). Известны также гребенские казаки.

«И тогда я славил государствокосых...» (С. 50) — Впервые: СП, IV, 1930.

Обращено к Н.В.Николаевой (см. СС, 1:517).

Чао. 13 танка (С. 51) — Впервые: СП, IV, 1930. Печатается с несколькими смысловыми конъектурами и перестановкой слов в названии.

Чао — переогласовка имени героини оперы Д.Пуччини «Мадам Батерфлай» («Госпожа Бабочка») по драме Д.Беласко «Гейша»; на русской сцене (с 1908 г.): «Чио-Чио-сан».

Танка — классическая форма минимализма в японском стихосложении, здесь — условное жанровое обозначение текста (регулярность числа 13 у Хлебникова отмечена в примеч. СС, 3:456). Об интересе Хлебникова к японской поэзии см. в письме к А.Крученых 1912 г. (СП, V:298). См. примеч. к повести «Ка» на С. 412.

В письме В.Каменскому от сентября 1915 г. (НП:379) упоминаются: С.М.Вермель — издатель сб. «Весеннее контрагентство муз»

(1915), автор помещенных в нем стилизаций под традиционную танку, а также «гейша» (Н.В.Николаева, с которой связаны у Хлебникова мотивы и образы восточных культур).

Японские мотивы текста трансформированы в поэме «Переворот в Владивостоке» (см. примеч. СС, 3:490).

Гайавата — герой поэмы Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855), созданной на основе сказаний северо-американских индейцев; образ-символ, прошедший через все творчество Хлебникова (см. примеч. СС, 3:469).

Ма́ну — в индийской мифологии прародитель людей, создатель кодекса индуизма («Законы Ману»). Возможный источник Хлебникова — сочинение Ф.Ницше «Сумерки идолов». СПб., 1907: «Как убог Новый завет по сравнению с Ману».

Фу-си (Пао-си) — в китайской мифологии первопредок людей, культурный герой, которому приписывается создание иероглифической письменности.

Зой — объяснение Хлебникова: СС, 4:35.

Зиры — см. примеч. СС, 2:550; вся реплика, взятая в кавычки, является примером словообразовательной аллитерации.

Вася Каменский — см. СС, 3: 423.

«*Песниятии*» <...> — в романе В.Каменского «Стенька Разин» (1915) есть целый ряд подобных неологизмов: «песниянные волны», «песниянный час», «песниянка».

«Неговольцы неч<и>тава...» (С. 55) — Впервые: СП, IV, 1930. Печатается с рядом предположительных смысловых конъектур и корректировкой пунктуации и сегментации текста.

Пример развития словотворческих приемов Хлебникова на новом этапе его работы в 1921–1922 гг. Ср. стихотворные тексты СС, 2:258 (563), 356, 483–488.

«Это был великий числяр...» (С. 58) — Впервые: Утес, 1988 (по рукописи РГАЛИ).

Этот текст (как и следующий) связан с автобиографическим образом героя сверхповести «Зангези». Одновременно Хлебников работал над компоновкой своего завершающего философско-числового труда о природе времени — «Доски Судьбы».

Достаточно созерцать первые три числа — ср. в плоскости IV «Зангези» (С. 311): «Три числа! Точно я в молодости, точно я в старости, точно я в средних годах, — вместе идем по пыльной дороге!».

Закон скупых чернил — «возведение в степень есть действие наиболее скупого расходования чернил» («Доски Судьбы»).

Их рождения соединены законом — рождение «людей с судьбой одинаковой кривизны послушны закону делимости на 365 лет» («Доски Судьбы»); см. примеч. СС, 4:395.

«Я умер и засмеялся...» (С. 59) — Впервые: Утес, 1988 (по рукописи РГАЛИ).

Я вишу, как нетопырь — ср. в «Зверинце», примеч. на С. 394.

Кричал «ау» из-под блюдечка — мотив спиритического сеанса общения душ умерших с живыми.

II

«Нас не била плеть...» (С. 60) — Впервые: Утес, 1988 (по фрагменту рукописи РНБ).

В отрывке речь идет о протестной демонстрации в связи со смертью в заключении больного студента социал-демократа С.Л.Симонова. 5 ноября 1903 г., в день 99-летия Казанского университета, когда студенты пели «Вечную память», казачий отряд разогнал «бунтовщиков» нагайками.

Подробные сведения о причине и ходе студенческой демонстрации по архивным материалам собрал краевед В.В.Аристов: «В.В.Хлебников в Казани (1898—1908)». Казань, 2001.

Мы сидим в Пересыльной тюрьме — в числе других студентов, замеченных на демонстрации, Хлебников на следующий день был взят под стражу и провел в тюрьме месяц. См. об этом воспоминания Е.Н.Хлебниковой в записи Н.Л.Степанова: ИС, 1936. С. 10.

«Была уже ночь...» (С. 61) — Впервые: Утес, 1988 (по рукописи РНБ).

Перед текстом авторская пометка: «После собрания у Кузнецова». Кузнецов П.В. был в числе студентов, задержанных полицией.

«Отчего мне сделалось тогда вдруг так скучно...» (С. 64) — Впервые: Утес, 1988 (по рукописи РНБ).

Стилевой манерой рассказывания этот отрывок примыкает к замыслу большого жизнеописательного текста (см. ниже).

Еня Воейков (С. 66) — Впервые: ИППК, 1988 (публикация Н.А.Зубковой); то же в кн.: Давид Бурлюк. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Приложение: Из рукописей В.В.Хлебникова в Национальной библиотеке. СПб., 1994.

Печатается по рукописи РНБ: черновой автограф на разрозненных листах без авторской пагинации. Текст и примечания подготовила С.В.Старкина.

Более подробное описание фрагментов рукописи, прокомментированных в их предположительной сюжетной последовательности, см. в публикации: «Еня Воейков» (предисловие и примечания С.В.Старкиной) // Вестник ОВХ. 1, 1996.

На листе с заглавием — целый ряд вариативных подзаголовков: «Principia», «В борьбе с видом», «В борьбе индивидуума с видом», «Насильственно связанные ряды образов из многообразия жизни Евгения Воейкова». Запись на обороте этого листа: «Может, лучше написать это в виде отдельных документов?».

На одном из листов рукописи изображение двух монументов. На первом написано: «Институт имени Мечникова. Закон обобщения биологии» (что имеет, вероятно, отношение к идее «ортобиоза» как основы этики, которую пропагандировал академик И.И.Мечников, 1845–1916). На втором: «Высокое русское установление изучения растений, 1897». См. на С. 78.

Стилистически и по своей основной проблематике это широко задуманное, но не законченное произведение Хлебникова относится к его ранним литературным опытам despite дословотворческого периода, но имеет немаловажное значение для понимания всей эволюции поэта-философа.

Principia лат. — начала; традиционный элемент в названиях западноевропейских ученых трактатов, например: Principia philosophia (Р.Декарт) или Philosophiae naturalis principia mathematica (И.Ньютон).

Евгений — имя литературно традиционное (Онегин у А.Пушкина, Базаров у И.Тургенева, Хандриков у А.Белого), предполагающее возможность различных сопоставлений и противопоставлений.

В борьбе с видом — ср. в автоэпитафии «Пусть на могильной плите прочтут...» (1904): «...он боролся с видом и сорвал с себя его тягу. Он не видел различия между человеческим видом и животными видами и стоял за распространение на благородные животные виды заповеди и ее действия "люби ближнего как самого себя"» (НП:

318). Вероятно, это исходный момент длительной полемики Хлебникова с естественно-научной концепцией «Происхождения видов» Ч.Дарвина в ее эволюционно-иерархическом аспекте (см. примеч. к сверхповести «Дети Выдры» на С. 443). См. также о *видах* и *верах* в «Зверинце» на С. 44 и 393). Вместе с тем для Хлебникова важна и «борьба с несознаваемым видом в быту — монашеская идея аскетизма. Платонический прорыв, борьба с видом... мнение о скопчестве» (Вестник ОВХ, 1996. С. 8), что имеет несомненное отношение к истолкованию В.С.Соловьевым эроса как «рождения в красоте» — статья 1898 г. «Жизненная драма Платона» (раздел XXVI).

Попов-цвет — цветок дикого цикория («попова скуфья»).

Воейкову вдруг открылось, что не только у него есть свой внутренний мир <...> но что этот мир есть и у этого... муравья — ср. в воспоминаниях о детстве С.Я.Надсона (1862—1887): «А в траве все жило своей особенной, чудно-новой жизнью. Я старался поставить себя на место большого красного муравья, взбиравшегося по стебельку стройного колокольчика, и с его точки зрения взглянуть на этот новый мир» (фрагменты воспоминаний включены в «Биографический очерк», которым открывались все стереотипные издания сочинений популярного на рубеже XIX—XX вв. поэта; см. «Стихотворения С.Я.Надсона. XIX издание». СПб., 1902. С. IX). Далее в тексте упоминание Надсона как «поэта-мыслителя» (С. 77). Ср. в повести «Есир» размышления Истомы — С. 191.

Платон — см. СС, 3:454.

Лейбниц (1646—1716) — немецкий математик и философ; см. СС, 1:7.

Шопенгауэр (1788—1860) — немецкий философ.

Декарт (1596—1650) — французский математик и философ.

Ньютон, просто рассматривая числа, открыл бином <...> — вариант: «Decus generis humani Ньютон как открыл свой бином? Он открыл его из простого рассматривания чисел, уловив своим более чувствительным умом закономерность там, где ее не видели другие» (Вестник ОВХ. 1, 1996. С. 20).

Латинская цитата — «украшение рода человеческого» — заключает эпитафию на могиле английского математика и философа Исаака Ньютона (см. СС, 2:500) в Вестминстерском аббатстве.

Фалес (VI в. до н.э.) — древнегреческий ученый, установил длину года в 365 дней.

Бруно Джордано (1548—1600) — итальянский мыслитель, умерший на костре инквизиции за свои научные убеждения.

Спиноза — см. СС, 3:454. Воейков читает сочинение философа «Этика в геометрическом изложении», заключительная часть которой называется «О человеческой свободе». Спиноза доказывает, что возможна такая деятельность человеческого духа, в результате которой, не нарушая природной необходимости, человек становится свободным.

Когда Спиноза писал свое: «Кто любит Бога, тот не может стремиться к тому, чтобы и Бог его любил» — ср. в романе Д.С.Мережковского «Петр и Алексей» (1905) рассуждения одного из персонажей (Тихона Запольского), который знакомится с европейской наукой и читает Декарта, Коперника, Ньютона, Лейбница: «Но всех страшнее, потому что всех яснее был Спиноза. Он договаривал то, что другие не смели сказать <...> Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека» (цит. по ПСС. СПб.; М., 1911. Т. V. С. 253–256).

Cui Deus, natura <...> — «Кому Бог — природа, кому — познанный порядок вещей»; это латинское изречение помещено на фронтисписе первого русского издания книги Спинозы «Этика, изложенная геометрическим методом» (пер. проф. Модестова. СПб., 1886) под портретом автора.

Королларии — следствия, выводы. «Этика» Спинозы изложена «математически», то есть в форме аксиом, теорем, доказательств и следствий.

«В природе вещей нет ничего случайного» — «Этика», ч. 1, положение XXIX.

«Вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом» — «Этика», ч. 1, положение XXXIII.

«...И тогда захотелось уйти...» (С. 79) — Впервые: НП, 1940.

В отрывке подспудно продолжается тема «видов»: человек не есть высшее осуществление идеи животного (тезис зоолога-антидарвиниста Н.Я.Данилевского, который, в сопряжении с законами природного мира, построил свою теорию непересекающихся культурно-исторических типов: монография«Россия и Европа», СПб., 1871).

... подобные бледным купавам, плавают одинокие человеческие головы — возможный изобразительный источник: рисунок О.Редона («Весы». 1904. № 4, в статье М.Волошина о французском художнике).

Осман — метонимическое именование турецко-исламской цивилизации.

Училица (С. 80) — Впервые: Творения, 1914; републикация в СП, IV, 1930.

Пример сюжетной прозы, о которой Хлебников сообщал В.Каменскому в нач. 1909 г.: «Мечтаю о большом романе... Свобода от времени, от пространства, сосуществование волимого и волящего. Жизнь нашего времени, связанная в одно с порой Владимира Красное Солнышко» (НП:354).

Бестужевские учины — Высшие женские курсы в Петербурге (с 1876 г.), называвшиеся по имени их основателя историка К.Н.Бестужева-Рюмина. См. драматическую поэму «Внучка Малуши» (встреча древнерусской княжны с «училицами» в Петербурге) и пьесу «Чертик» (девушки — «училицы», справляющие в столице «черные службы Наву»).

Ховун — см. на С. 391.

Молость — ненастье, слякоть (Даль).

Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927) — основатель Психоневрологического института (1908).

Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ и психолог, изучавший проблемы интуиции.

См. перечисление профессорских имен в финале «Внучки Малуши» (СС, 4:24).

Велик-день (С. 84) — Впервые: НХ, XXI, 1931; републикация в СП, V, 1933.

Рассказ написан под впечатлением пребывания на Украине (в киевском пригороде Святошино и в Полтавской губернии). Весной 1911 г. Хлебников предполагал включить «Велик-день» в авторский сборник «Черный холм» (или «Дідова Хата» — название поселка на юге Украины, где велись раскопки скифских древностей).

Наряду с предметной ориентацией на «малороссийскую» прозу Гоголя рассказ имеет символическую связь с повестью А.Белого «Серебряный голубь» (1909). См. письмо А.Белому 1912 г. (НП:363).

Велик-день — так называют на Украине праздник Воскресения Христа (Пасху).

Хустка укр. — платок.

Гарнесенька укр. — хорошенькая.

Хиба укр. — разве; см. примеч. СС, 2: 554.

Керея — см. СС, 4:347.

«*Богородица*» — украшение воротника-капюшона в виде сердца (накрыть голову «богородицей»).

«Отчего этой одежды не носят русские?» — ср. в пьесе «Снежимочка» (СС, 4:175—176).

Намисто — см. СС, 2:518.

А, цэ таке? иск. укр. — что это? («що цэ такэ?»).

Гайдамак — см. СС, 1:491.

Эсдеки и эсдечки — социал-демократы.

Каутский — см. СС, 4:348.

«Белой земли люди идут...» (С. 87) — Впервые: НП, 1940.

Принадлежность этого отрывка какому-то общему композиционно-содержательному замыслу не установлена. Очевидна его стилистическая ориентация на библейски-апокалиптические пророчества.

Ра́товище — древко копья или рогатины (Даль).

Капище — см. примеч. СС, 4:354.

«Лубны — своеобразный глухой город...» (С. 89) — Впервые: НП, 1940.

Публикатор указал, что этот и следующий текст написаны одинаковыми чернилами на листах почтовой бумаги одного формата.

В конце 1909 — начале 1910 гг. Хлебниковы жили в г. Лубны Полтавской губернии (после выхода в отставку с государственной службы В.А.Хлебникова).

«Коля был красивый мальчик...» (С. 91) — Впервые: НП, 1940.

Коля — Николай Рябчевский, см. примеч. к стихотворению «Утраты, утраты, утраты...» (СС, 2:542). Рябчевские — родственники Хлебникова по материнской линии — жили в Одессе.

Око́. Орочонская повесть (С. 93) — Впервые: журн. «30 дней». М., 1936. № 2 (публикатор Т.С.Гриц); републикация в НП, 1940.

Материал и сюжет связаны с мифологией дальневосточных тунгузских племен,— по Хлебникову: «самыми древними преданиями о прошлом людей» (статья «О расширении пределов русской словесности», 1913; см. также «Свояси» — СС, 1:7). Ср. стихотворение «Пламёна...» (СС, 1:250 и 489), поэму «Песнь мне» (СС, 3:38—39), сверхповесть «Дети Выдры» (С. 242).

Следует иметь в виду, что этнографы различали орочей (охотников

и рыболовов в устье Амура) и орочон (оленеводов, живущих севернее среднего течения Амура). См. Шренк Л.К. Об инородцах Амурского края. СПб., 1883.

Флоренский П.А. (см. на С. 419) в 1934 г., находясь в ссылке, в Забайкалье, работал над поэтическим произведением об орочонах: «Оро́. Лирическая поэма». М., 1998 (здесь «оро» — олень).

Око́ — в языке орочей имеет два значения: женская грудь и рыба горбуша.

«Чернея макушкой стриженой...» (С. 96) — Впервые: НП, 1940. Печатается с несколькими смысловыми конъектурами.

По-видимому, этот текст представляет контаминацию разных тем и сюжетов, характерных для поэтики символизма (в том числе мотивов пьесы французского драматурга Э.Ростана «Принцесса Греза»).

Бабурка — см. примеч. СС, 1:484.

Насад — см. СС, 1:498.

«Страна Будетли, страна Будетли...» (С. 100) — Впервые: Волга. 1988. № 8 (публикация Р.В.Дуганова по рукописи ИРЛИ).

Первая концентрация словообразований *будетлянской* темы, имеющей первостепенное значение для всей мифопоэтической утопии Хлебникова; смысловая коннотация будетлянства — победа над временем и, следовательно, преодоление смерти. В более ранних рукописях: *будь, будизна, будич, будязь, будутный* и др. Словоформа *будетлянин* фиксируется в литературном бытовании с лета 1913 г. (манифест театра «Будетлянин» — см. СС, 4:370). Совместная брошюра А.Крученых и В.Хлебникова «Слово как таковое» (октябрь 1913) заканчивалась стихотворением «Памятник» со следующей срединной строфой: «*про всех забудет человечество / придя в будетлянские страны / лишь мне за мое молодечество / поставят памятник странный*». Среди персонажей пьесы А.Крученых «Победа над солнцем» (сценическая постановка в декабре 1913 г.) — *Будетлянские силачи*.

Первый опубликованный Хлебниковым текст с неологизмами *будетлянин* и *будетляне* — «Дети Выдры» (5-й парус, см. на С. 265).

См. лексикографический очерк В.П.Григорьева «Будетляне и творяне» // Будетлянин. М., 2000. С. 353.

В шутливо-ироничном триолете Ф.Сологуба, датированном 7 октября 1913 г., есть пример языковой адаптации хлебниковского неоло-

гизма: «Будетлянка другу расписала щеку, /Два луча лиловых и карминный лист / И сияет счастьем кубофутурист. / Будетлянка другу расписала щеку» (цит. по кн.: Федор Сологуб. Стихотворения. СПб., 2000. С. 386).

Род «избушки» с прозрачными стенами — ср. подзаголовок повести «Ка» — «Железостеклянный дворец»; в обоих случаях присутствует коннотация «машины времени» (см. примеч. к пьесе «Мирсконца» — СС, 4:384).

Халзан — беркут, орел.

Желна — большой черный дятел.

Бабура — небольшая рыбка.

Пастушка — птица «болотная курочка».

Закаленное сердце (С. 102) — Впервые: газ. «Славянин». СПб., 1913. № 12. 24 марта (под псевдонимом «В-кій»).

Псевдоним раскрыт в статье: Парнис А.Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова // Зарубежные славяне и русская культура. Л., 1978. См. также в Творениях, 1986.

Источник бытового и речевого материала рассказа — труд П.А.Ровинского «Черногория в прошлом и настоящем». СПб., 1888–1909 (в 4 книгах).

Стой, влаше, ми те запопим — в бытовом значении: предупреждение завравшегося человека; по объяснению Ровинского: «взято от турок, которые так обращались к попадавшим им безоружным христианам и схватывали за "перчик" (длинный чуб), чтобы отрубить голову, и приравнивали это к обряду посвящения в священники».

Все бывает, кроме беременного человека — по-сербски човек (чоек): мужчина. (Возможный источник известного эпатирующего образа в стихотворении Д.Бурлюка: «Мне нравится беременный мужчина» — альманах «Стрелец». Пг., 1915.)

Это будет, когда верба даст грозды — ср. русскую пословицу «Дождешься, как от вербы яблок». Грозд — см. СС, 4:353.

Страхич — боязливый, осторожный человек.

Детич — мальчик, подросток.

Юнак — см. СС, 4:354.

Его опоясали — по Ровинскому, знак вступления в отрочество.

Никогович — безродный человек; см. примеч. к «Песне Мирязя» на С. 392.

Дебелый — матерый, здоровый; здесь — благородной крови.

За негу твою я дам кровь из-под горла — поэтически переос-

мысленное сербское выражение: «Дао бих за нега крви испод грла» (Дал бы за него кровь из горла).

Тяжко мясу без мяса — то есть одинокому человеку; см. в повести «Есир» — С. 190.

Струка — накидка.

Пушка — ружье.

Охотник Уса-Гали (С. 105) — Впервые: Трое, 1913; републикация в СП, IV, 1930. Печатается по рукописи (РГАЛИ).

Вместе с рассказом «Николай» должен был войти в цикл «Три охотника». Третий текст, по-видимому, не был написан, но можно предположить, что героем должен был стать «охотник за лосями павдинец Попов» (см. поэму «Змей поезда» — СС, 3:42).

Уса тюрк. — ловкий, искусный мастер.

По-киргизски — вся северо-восточная часть Прикаспия часто называлась киргизской степью.

Бирюк — волк-одиночка.

Ремез — птица из семейства синиц, вьет гнездо в виде шарика с боковым входом.

Витютень — голубь.

Здравствуй, долженствующие умереть... — приветствие римскому императору идущих на смертельный бой гладиаторов.

Николай (С. 108) — Впервые: Трое, 1913; републикация в СП, IV, 1930. Печатается по рукописи (РГАЛИ).

Герой рассказа — реальное лицо, знакомый отца Хлебникова; сохранилась его фотография, описанная в тексте. См. на С. 113.

Черни — береговые плавни, камыши.

Бударка — долбленая лодка.

Мушка (возможно, *мушкарь* астрах.) — длинная деревянная колотушка.

Мельников Петр Иванович (1818—1883) — настоящая фамилия писателя Андрея Печерского, который служил чиновником особых поручений по делам раскола; с большим сочувствием изобразил жизнь старообрядцев в романах «В лесах» и «На горах». См. СС, 2:508.

Перун — см. стихотворение «Перуну» (СС, 1:215 и 481).

Ватага — здесь: пристанище рыбаков.

Ж и т е л и   г о р (С. 114) — Впервые: НП, 1940.

Публикатор указал наличие разных слоев правки рукописи. Печатается с несколькими смысловыми конъектурами.

Первоначальное название — «Девы русские». Вещь, очевидно, связана с любовным увлечением Хлебникова художницей Ксенией Богуславской-Пуни (см. примеч. к стихотворению «Гевки, гевки, ветра нету...» — СС, 1:498).

Кучум — см. примеч. СС, 4:354.

Остраница — см. в стихотворении «Будем грозны, как Остраница...» (СС, 1:255 и 490).

Грюнвальд — см. в стихотворении «От Косова я...» (СС, 1:98 и 463).

Червонорусска — то есть жительница Червонной Руси (Галиция и Прикарпатье).

Лысая гора — местопребывание нечистой силы, см. примеч. к сцене «Шабаш» (СС, 4:392). Ср. в повести Гоголя «Страшная месть» движение колдуна с самой высокой горы Карпат к Киеву.

Управда — см. сцену «Управда! Ты русский!..» (СС, 4:264 и 391).

Гачи обл. — штаны, портки.

Легинь — см. примеч. СС, 1:498.

Солодка укр. — сладкая (о любимой женщине); в дневниковой записи Хлебникова: «Моя Солодка разгневана» (о К.Богуславской-Пуни) — СП, V:327.

Лата обл. — жердь.

Гож нож — см. «Ночь в Галиции» (СС, 4:273).

В ы х о д   и з   к у р г а н а   у м е р ш е г о   с ы н а (С. 119) — Впервые: Ряв! 1914; републикация в СП, IV, 1930.

Отрывок в стиле театральной ремарки входил, вероятно, в первоначальную редакцию сверхповести «Дети Выдры» (ср. 1-й парус).

«*Новое время*» — петербургская правая газета монархического направления, издававшаяся А.С.Сувориным; сотрудничали В.П.Буренин, М.О.Меньшиков, В.В.Розанов (см. примеч. СС, 4:352 и С. 440).

«*Речь*» — петербургская либеральная газета конституционных демократов (кадетов); издавал В.Д.Набоков при ближайшем участии П.Н.Милюкова (см. примеч. СС, 4:361); в числе печатавшихся литераторов: Ю.И.Айхенвальд, С.М.Городецкий, П.С.Коган, Н.О.Лернер, Д.В.Философов (см. примеч. СС, 4:378). См. примеч. СС, 3:494.

Сон (С. 120) — Впервые: НХ, X, 1928; републикация в СП, IV, 1930. Печатается по рукописи (ИМЛИ).

Внизу приписка-обращение к издателю альманаха «Стрелец» А.Э.Беленсону в ответ на его просьбу (от 11 февраля 1915 г.) прислать произведение в прозе для следующего выпуска: «Многоуважаемый Алексей Эммануилович! Вот весь рассказ: другого не мог прислать, другой не переписал; жду с нетерпением письма. Остаюсь готовый к услугам. Ваш В.Хлебников». Рассказ, возможно, послан не был. В «Стрельце II» напечатано только продолжение поэмы «Сельская очарованность».

Выставка $\sqrt{-2}$ — числовой образ авангардного искусства, см. примеч. к «Свояси» (СС, 1:451).

Аганкара (аханкара) — в философии индуизма самосознание, индивидуальный разум как часть вселенского разума-буддхи.

Турчанка — возможно, имеется в виду картина М.Ларионова «Пастораль», входившая в серию «Из несостоявшегося путешествия в Турцию» (1911–1912).

Греции присущ избыток моря, Италии — избыток земли — возможно, описка и вместо *Италии* следует читать *Турции* (согласно контексту и географическим реалиям).

Готтентоты — древнейшие обитатели Южной Африки. Замечание об африканской «красивости» напоминает о принципиальной установке авангардного искусства на примитивизм.

Галлиполи (Гелиболу) — турецкий город на европейском берегу Дарданелльского пролива.

«*Квин Элизабет*», «*Бувэ*» — корабли, погибшие во время Дарданелльской операции англо-французских войск весной 1915 г.

Тенедос — остров в Эгейском море у входа в Дарданелльский пролив.

Ка (С. 122) — Впервые: Московские мастера, 1916; републикация в СП, IV, 1930.

В корректуре (РНБ) повесть имеет подзаголовок «Железостеклянный дворец» (см. примеч. на С. 405).

Черновой набросок «Абиссиния. Обезьяний царь...» (РГАЛИ), соответствующий 8 главе повести, относится, вероятно, к 1911 г. Драматическая сцена «Лицо чернеет грубое...» (СС, 4:276) с эпизодом сходного содержания датируется рубежом 1914–1915 гг. «Африканский» (египетский) «звук», доминирующий в повести (согласно авторской интерпретации в «Свояси»), звучал уже в поэме «Хаджи-Тархан»: «Где смотрит Африкой Россия» (см. примеч. СС, 3:446). Датировка повести в мате-

риалах к «Доскам судьбы» — «22 февраля — 15 марта 1915 г.» — фиксирует реализацию давнего творческого замысла. Хлебников относил «Ка» к своим самым значительным произведениям, хотя есть и дневниковое замечание, что повесть писалась «шутливо-беззаботно».

1.

Ка, Ху, Ба — в древнеегипетской мифологии различные ипостаси человеческой сущности. *Ка* олицетворяет жизненную силу человека, это его бессмертный двойник (изображался человеком с поднятыми и согнутыми в локтях руками); *Ху* (изображался в виде хохлатого ибиса) есть просветленный дух умершего, некая противоположность его земным останкам — мумии; *Ба* (птица с человеческим лицом) воплощает посмертное инобытие души.

О научных источниках египтологической информированности Хлебникова (работы русских специалистов Ф.Баллода, Б.Тураева, «История человечества» под ред. Г.Гельмольта и др.) см. подробно в статье Хенрика Ба́рана «Египет в творчестве Хлебникова» // О Хлебникове: контексты, источники, мифы. М., 2002.

Белый Китай — ср. в статье Д.С.Мережковского «Грядущий хам»: «европейцы — пока еще несовершенные белолицые китайцы» (ПСС, Т. XI. СПб., 1911. С. 7). Характеристика Китая как общества «желтолицых позитивистов» восходит к Герцену, предупреждавшему о «китаизации» буржуазной Европы. Антиподом «позитивистского» Китая в русской литературе нач. XX в. выступает «духовная» Индия; отсюда и Россия как духовный антипод Европы — «Белая Индия» (например, в поэзии Н.Клюева). См. примеч. к имени *Соловьев* на С. 453.

Согласно числовой историософии Хлебникова, текущие военные события в Европе (Белом Китае) соответствуют военным событиям в Желтом Китае XIII века. См. статью Хенрика Ба́рана «Загадка Белого Китая В.Хлебникова» в указанной выше книге.

Андрэ Соломон Август (1854—1897) — шведский инженер, исследователь Арктики; пытался достигнуть Северного полюса, вылетев на воздушном шаре с острова Шпицберген; все участники экспедиции погибли.

Маср (Мыср) — арабское название Египта.

Ка... пересекает время — то есть действует как «машина времени» (см. примеч. на С. 405).

Я живу в городе... — повесть писалась в Астрахани.

Бъсплатные купальни — игра слов: в таком ошибочном написании вместо приставки *без* (по старой орфографии) читается *бъс* — нечистая сила.

Где лазают по деревьям с помощью кролиководства — ирония над любителями родословных древ, где схематично представлено как бы животное размножение человеческих особей.

Хреновский завод — конный завод в с. Хреновое Воронежской губернии, основанный в 1778 г. графом Орловым для выведения орловских рысаков; «*завод кровного человеководства*» связан с идеей первосвященника из «Города Солнца» Т.Кампанеллы (см. СС, 2:498—499): «... мы, заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой».

Я живу на третьей или четвертой земле... — согласно планетарной системе мира, на Земле или на Марсе (см. декларацию 1916 г. «Труба марсиан»).

Через «ять» или «е» <...> — по Хлебникову, эти буквы являются носителями важнейших смыслов: «мѣры» и «смерти»; см. примеч. к пьесе «Маркиза Дэзес» (СС, 4:383), а также текст «А, русалка!» (С. 223).

2.

Мыслящая печь — ср. в стихотворении «Море пело Вечную память» (СС, 2:209) и в сверхповести «Сестры-молнии» (С. 293).

Сверхгосударство Асцу (вариант Ассу) — именование евразийского материка через соединение условных обозначений «главной оси звучащего мира»: в Европе — *as*, Индии — *са (ца)*, Китае — *и (юй)*. Об этом у Хлебникова была статья, не дошедшая до нас (см. его письма — СП, V: 306, 313). См. в статьях «Ляля на тигре» (1916) и «Наша основа» (1919).

2222 год — эту дату надо соотносить с годом 1905 в соответствии с шагом истории в 317 лет («закон войн»); см. «Учитель и ученик» (1912).

3.

Аменофис — греческая транскрипция имени египетского фараона Аменхотепа IV; религиозный реформатор, установивший в XV в. до н.э. культ солнечного бога Атона (Атэна) и сам принявший имя Эхнатон («угодный Атону»). См. примеч. к поэме <«Разговор душ»> — СС, 4:354.

Аи — ближайший придворный Эхнатона, имевший титул «отец божий», так как он был мужем кормилицы фараона.

Нефертити — жена Эхнатона.

Нефер-хепру-ра — первоначальное тронное имя Эхнатона.

Сух (Себек) — божество водной стихии, почиталось в образе крокодила.

Мневис — воплощение бога Ра в образе быка.

Бенну (Бану) — птица феникс, воплощение бога Амона-Ра.

Хапи — река Нил.

Шурура — возможная контаминация: Терура — телохранитель Эхнатона (его изображение есть в «Истории человечества») и Шарру, известного по переписке Эхнатона как враг фараона (у Б.А.Тураева).

Шеш — сестра или жена Мины (Менеса), в толковании Хлебникова, «прародителя и первочеловека у египтян» («Доски Судьбы»); см. примеч. к тексту «Нужно ли начинать рассказ с детства?..» (С. 428).

Акбар Джелаль-ад-дин (1542—1605) — наиболее могущественный правитель Могольской империи в Индии.

Асока (Ашока) — правитель Магадахской империи в древней Индии (III в. до н.э.), принял монашество и покровительствовал буддизму.

Сикорский — самолет конструкции И.И.Сикорского (1889—1972), вероятно, «Илья Муромец».

Филонов Павел Николаевич (1882—1941) — см. примеч. СС, 1:481; СС, 4:393. Далее речь идет о его картине «Пир королей» (1913), осмысленный в связи с мировой войной как «пир трупов».

Гур (гурии) — райские девы (араб. *хур* — черноокие), услаждающие мусульманских праведников; см. СС. 3:65.

Алкивиад — политический и военный деятель Афин (V в. до н.э.).

Гаура перс. — то же, что и гурия.

Виджая — легендарный арийский завоеватель Цейлона (VI—V вв. до н.э.), его санскритское имя означает «победитель», то есть соответствует «Виктору».

Сихала (Сихала-дипа) — название Цейлона на языке пали: Львиный остров.

4.

Число 6 три раза подряд — «звериное число» 666 из Апокалипсиса. См. примеч. к стихотворению «Зверь+число» (СС, 1:510).

Масих-аль-Деджал (Дадджал) — в мусульманских апокрифических сказаниях искуситель людей, который перед концом света временно установит свое царствование (типологическое соответствие Антихристу).

Фатьма Меннеда — по преданию, персидская княжна, утопленная Степаном Разиным.

Кончар — меч с узким лезвием.

Пернач — вид булавы.

5.

Эды — возможно, имеются в виду «Эдды» — древнеисландские эпические песни. Ср. словообразование «этаны» («Морской берег» — СС, 2:357).

Морская хохотунья — чайка хохотуша (Даль).

Жýчки — костяные щитки осетровых рыб.

Танка — японское пятистишие (см. на С. 396).

«Если бы смерть кудри и взоры имела твои...» — возможно, вариация Хлебникова на тему танки, опубликованной в журнале «Весы», 1904, № 9: «Кто мог бы это быть,/ Что дал любви/ Такое имя?/ Простое слово — смерть/ Он мог бы также применить». (Повторяется в главе 7). Это не перевод оригинала, но изложение английской версии танки в «Истории японской литературы» В.Астона (русское изд. — Владивосток, 1904).

Монтезума — см. примеч к стихотворению «Суэ» (СС, 1:506).

Лейли — героиня поэмы «Медлум и Лейли» (СС, 3:55 и 436); здесь намек на Н.В.Николаеву, изучавшую искусство народов Востока (см. на С. 397).

Говорила языком Гоголя <...> — см. «Майская ночь», гл. 1.

Чугунный Толстой — вероятно, имеется в виду какое-то скульптурное изображение.

Ен сао (кит. «янь сяо») — слюнные железы птиц саланган, употребляемые как лечебное средство или как пищевой деликатес — «ласточкины гнезда».

6.

Восклицательный знак; знак вопроса; многоточие — по сообщению Д.М.Цензора, на заседании Цеха поэтов 10 января 1914 г. «футурист Хлебников, когда до него дошла очередь читать стихи, заявил, что кубофутуризм, к которому он примыкает, дошел до отрицания понятий, слов и букв и поэтому он прочтет стихотворение, состоящее из знаков припинания. И он прочел: !-?-:» («Златоцвет». СПб., 1914. № 3. С. 16).

Богиня Изанага — см. примеч. к стихотворению «Туда, туда...» (СС, 2:512).

Прыгающий инок — член секты духовных христиан («прыгунов»), практиковавших экстатические молитвенные пляски в подражание библейскому псалмопевцу царю Давиду, плясавшему вокруг ковчега Завета.

А, это он, бездноглазый <...> — аллюзия к поэме Лермонтова «Демон».

Арфа крови — вероятно, имеется в виду рельеф, сохранившийся в гробнице современника Эхнатона: музыкант играет на арфе и поет о неверии в загробную жизнь; слова песни написаны над изображением.

Падение сов — каламбур: сов падение.

Бражник — бабочка.

7.

Ням-Ням — см. примеч. СС, 1:516.

Птица Рук — см. примеч. СС, 3:490.

Ганнон Мореплаватель — карфагенский флотоводец (VI в. до н.э.), совершивший плавание вдоль западного побережья Африки. В греческом переводе сохранился его рассказ о столкновении с дикими людьми, сплошь покрытыми шерстью.

Белая — в контексте повествования может быть понята как одна из ипостасей героини: Ева-Лейли-Изанага-Белая.

Ка поставил в воздухе слоновый бивень <...> — ср. в статье «Наша основа» (гл. «Математическое понимание истории. Гамма будетлянина»): «Вообразите парня... в руках у него что-то вроде балалайки со струнами. Он играет. Звучание одной струны вызывает сдвиги человечества через 317 ... ему кажется, что вражду стран можно заменить ворожбой струн».

Если бы судьбы были простыми портнихами — образ античной мифологии: парки (мойры) прядут и обрезают нити судьбы. См. в сверхповести «Сестры-молнии» (С. 282).

Гатчепсут (Хатшепсут) — египетская царица (XVI в. до н.э.).

Перикл — политический и военный деятель Афин (V в. до н.э.).

Адия саки — скифское племя, вторгшееся в северную Индию в I в. н.э. Исходя из хронологии Хлебникова (78 г. — движение скифов, 1980 — противодвижение, между этими датами — 1902 года), Ка играет на шестиструнном инструменте (317·6=1902).

Моа — вымершая гигантская птица из семейства страусовых.

Venus лат. — Венера. Ср. название книги стихов А.Кондратьева (СС, 4:345) «Черная Венера» (1909).

Тэя (Тэйе) — мать Аменофиса (Эхнатона).

Туту — приближенный Аменофиса.

Анх-сенпа-атэн — третья дочь Аменофиса, жена фараона Тутанхамона.

Хут-Атен — новая столица, основанная Эхнатоном.

Водяной конь — гиппопотам, бегемот.

8.

Амон — имеется в виду верховное божество египетской мифологии Амон-Ра; фараон считался его сыном.

Ушепти — статуэтки, ответчики-заместители умершего в загробном мире.

Ромету — «люди» (самоназвание египтян).

Рабису — наместник фараона.

Озирис (Осирис) — ср. стихотворение «Замороженный Озирис...» (СС, 2:149 и 541).

Гатор — богиня неба и любви, почиталась в образе коровы.

В начале было слово... — в Мемфисском трактате бог Пта (СС, 2:581) сотворяет мир Божественным словом.

Утанг (орангутан малайск. — лесной человек) — человекообразная обезьяна.

«*Прозрачно небо* <...>» — контаминация цитат из Пушкина («Полтава» и «Певец»).

«*Величие любви*» — видимо, название корабля фараона.

Гор (Хор) — божество света, воплощенное в соколе; сын Изиды, муж Гатор.

9.

О семи стопах времени <...> — далее следует перечисление стран, где, возможно, допущена типографская ошибка (или смысловая лакуна, идущая от автора).

Из пыли Коперника в пыль Менделеева — из мегамира в микромир.

Коперник Николай (1473—1543) — польский астроном, обосновал гелиоцентрическую систему вселенной.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — открыл периодический закон химических элементов.

Двояковыпуклая чечевица — см. примеч. к пьесе «Чертик» (СС, 4:377).

«*И на путь меж звезд морозный* <...>» — см. СС, 1:309 и 503.

Один мой знакомый... думал — как лев... — имеется в виду поэт Божидар (Богдан Петрович Гордеев, 1894–1914); см. в статьях «Труба марсиан» и «Ляля на тигре».

Львова Надежда Григорьевна (1891–1913) — входила в группу «Мезонин поэзии», покончила жизнь самоубийством.

Ко мне пришел один мой друг — имеется в виду В.В.Маяковский; см. примеч. СС, 2:532.

Они удалились в Дидову Хату — то есть в далекое прошлое; см. примеч к рассказу «Велик-день» — С. 402.

Каменноостровский — петербургский проспект, здесь снимали квартиру братья Бурлюки; рядом на Лицейской улице жили М.В.Матюшин и Е.Г.Гуро.

Абракадасп — гностическая символика; ср. понятие тайного слова у василиад: «абракадабра» — греч. и евр.; название альманаха под ред. М.Кузмина — «Абраксас».

«Я пошел к Асоке...» (С. 143) — Впервые: НП, 1940. Печатается по рукописи (ИМЛИ).

Отрывок тематически и конструктивно примыкает к повести «Ка».

Асока — см. на С. 411.

<Три Веры> (С. 144) — Впервые: СП, IV, 1930, под редакционным названием [«Записки из прошлого»], относящимся к другим фрагментарным текстам 1920–1921 гг. Печатается по черновой рукописи (РГАЛИ), изначально недоработанной и плохо сохранившейся физически: некоторые куски или вовсе не читаются или дают возможность догадываться о движении авторской мысли по отдельным словам или фразам. Редакционный знак <...> указывает соответствующие лакуны рукописи. В первой из них ясна фраза: «*Вы Мария Кочубей и я Войнаровский*»*;* во второй: «*любо поклониться морю... море — твоя прекрасная обувь*»*;* в третьей: «*море — мой товарищ и соотечественник*», здесь же вычеркнуто: «*когда на Тверском против Пушкина мне поставят памятник*».

«*Три Веры*» написано не в начале текста, а в середине первого листа, отдельно.

В целом текст представляет эмоционально-лирическое сочетание нескольких самостоятельных микросюжетов, относящихся к жизни Хлебникова в Петрограде во второй половине 1915 г. Рукопись не дает указаний на композиционное членение текста.

Датируется рубежом 1915—1916 гг. в соответствии с тематически параллельными стихотворениями этого периода и сохранившимися дневниковыми записями (см. СП, V, 1933).

Не понимая их печей тела — ср. «люди-печи» в рассказе «Перед войной» (С. 233), а также «мыслящая печь» в примеч. на С. 410.

Лазаревский — см. примеч. к стихотворениям «Зверь + число» и «Курган» (СС, 1:509, 511).

Полу́боток Павел Леонтьевич (1660—1724) — богатейший землевладелец из украинской казацкой старшины, гетман, в 1722 г., умер в Петропавловской крепости.

Мой дедушка — Н.О.Вербицкий (см. СС, 3:488); свое «запорожское» происхождение (по линии матери) Хлебников отмечал в биографических анкетах (см. СС, 4:350); ср. псевдоним: «В-кій» (С. 405).

Рахиль или Ревекка — имена ветхозаветных героинь в данном случае равноправны бытовому еврейскому мотиву в описаниях городов Лубны и Одессы (см. на С. 89, 92).

Поднять знамя Хлебникова... грозное и черное... первое на земном шаре — ср. в декларации 1916 г. «Труба марсиан»: «Черные паруса времени, шумите!»; «голубое знамя безволода» (СС, 3:173); «знамя Председателей Земного Шара» (на С. 181), «остров Хлебников» в сверхповести «Дети Выдры» (С. 279) и др.

Куоккала — дачное место на берегу Финского залива, в 40 км. севернее Петрограда (с 1948 г. поселок Репино).

Евреинов — см. примеч. к поэме «Олег Трупов» (СС, 3:456).

Бобышов Михаил Петрович (1885—1963) — театральный художник; описанный Хлебниковым портрет его работы (см. на С. 147) был помещен в кн. Н.Н.Евреинова «Оригинал о портретистах (к проблеме субъективизма в искусстве)». М., 1922.

Каменский — см. на С. 52, автор монографического очерка «Книга о Евреинове». Пг., 1917.

Блинова — сохранился (РГАЛИ) карандашный портрет Хлебникова, подписанный «В.Блинова», в углу листа: «походит <нрзб> В.Хлебников» (С. 148).

Вера Б. — см. примеч. к стихотворению «Признание» (СС, 1:511).

Говорили о погромах — см. примеч к стихотворению «И снова глаза щегольнули...» (СС, 1:512).

Здание Уделов на Литейном — в Петрограде на Литейном проспекте находилось ведомство по управлению недвижимой собственностью (уделы) императорской семьи. С началом войны здесь разместили военный госпиталь.

Вера [Лазаревская] — см. примеч. к стихотворению «Зверь + число» (СС, 1:509).

Первая Вера, Казанская... на крыльях 17 лет — возможно, не конкретное лицо, а символический образ юности, связанный с историко-числовыми построениями Хлебникова; см. примеч. к стихотворению «Над глухонемой отчизной...» (СС, 2:518).

Ушло «е» — см. примеч. к повести «Ка» (С. 410), а также к поэме «Суд над старым годом» (СС, 3:445).

«*Сын какой я Бульбы?*» — здесь о разных судьбах сыновей героя повести Гоголя «Тарас Бульба»: Андрий, полюбив полячку, предался врагам, Остап принял смерть от врагов.

«*Вы знаете, есть князь и кнезь...*» — ср. «Да, есть реченья князь и кнезь...» (НП:270); см. примеч. СС, 1:516. Все стихотворение в целом представляет контаминацию нескольких поэтических текстов 1915—1916 гг.: «Страну Лебедию забуду я...», «Панна пены, панна пены...» и др.

Альчики — см. примеч. СС, 3:493.

К указанным выше лакунам:

Мария Кочубей — героиня поэмы Пушкина «Полтава».

Войнаровский — герой поэмы Рылеева «Войнаровский»; сподвижник гетмана Мазепы, он был сослан Петром I в Сибирь.

Когда на Тверской против Пушкина мне поставят памятник — в прямой связи с лекцией Д.Бурлюка «Пушкин и Хлебников» (1913); см. стихотворение «Тверской» (СС, 1:311).

<Ка-2> (С. 153) — Впервые: СП, V, 1933 — по списку Д.В.Петровского (см. СС, 1:520), который рассказал историю написания этого текста:

«Автобиографическая повесть “Ка 2” начата им в первый день нашего знакомства, когда мы ходили смотреть аэропланы на Ходынке, и охватывает предыдущие события в Петрограде, откуда только что приехал тогда Хлебников, и дальнейший период наших первых встреч (я в ней то досадный двойник, то запорожец). Повесть не окончена и списывалась мной в период ее возникновения. Дальнейшее развитие и участь ее мне неизвестны, думаю, что она погибла в ближайший период царицынской солдатчины» (СП, V:346).

Проблематичность названия текста определяется отсутствием в нем собственно одноименного персонажа египетской мифологии. Можно предположить условность кодирования текста указанием, что это вторая по счету большая прозаическая вещь Хлебникова после «Ка».

Транскрипция Петровского черновой авторской рукописи в ряде случаев очевидно неудовлетворительна. Отсюда вынужденность некоторых сокращений и ряд смысловых конъектур, соответствующих известным лексическим и синтаксическим примерам хлебниковского контекста.

Знакомство Петровского с Хлебниковым относится к началу 1916 г., когда было задумано «Общество 317» (в дальнейшем — «Общество Председателей Земного шара»).

В разделе «Другие редакции и варианты» см. два отрывка, относящихся к этой повествовательной конструкции: «Я опять шел по желтым дорожкам...» и «Закон множеств царил...» (впервые: СП, IV, 1930).

Бражник — см. на С. 413.

Мы сели на 13 — трамвайный маршрут от Петровского парка до Серпуховской заставы (в воспоминаниях Д.В.Петровского — № 9).

Мертвые, идите и вмешайтесь в нашу распрю — ср. в тексте толстовца И.И.Горбунова-Посадова: «Мы, мертвые, но живые, говорим вам, живым, но мертвым, терзающим и убивающим друг друга...» («Всемирное братство». Вып. 10. М.: «Посредник», 1917. Здесь собраны тексты, написанные и опубликованные раньше).

... у серых широких стен... — по-видимому, описание храма Христа Спасителя.

Малиновый окорок — ср. эпитет в названии «Малиновая шашка» (сюжет рассказа также связан с Петровским).

Закон множеств — то есть закон человеческих толп (или закон больших чисел), одна из трех «осад» Хлебникова (далее в тексте: «Башня толп, башня времени, башня слова». То же в тексте «Скуфья скифа» на С. 170).

Теперь я одинокий лицедей — см. стихотворение 1921 г. «Одинокий лицедей» (СС, 2:255 и 562).

Каменная баба — см. одноименную поэму (СС, 3:192, 195); здесь имеется в виду каменная баба, привезенная в Москву Д.Бурлюком (см. А.Крученых. Наш выход. 1996. С. 43).

Отрицательный пришелец — Иисус Христос.

Где есть да-числа и нет-числа... там есть и мнимые ($\sqrt{-1}$) — ср. в статье 1908 г. «Курган Святогора» (НП:321).

Череп Байды — см. примеч. к поэме «Полужелезная изба...» (СС, 3:463); вероятна связь с картиной Д.Бурлюка 1915 г. «Святослав, пьющий кровь из своего черепа» (см. в журнале «Colour and Rhyme». N.-Y. 1957. № 34).

Лицо седого немецкого ученого — о В.И.Иванове (СС, 3:427), который учился в Берлинском университете у историка Т.Моммзена; Хлебников именно ему первому сообщил об идее «Общества 317». См. в «Повести о Хлебникове» Петровского: «29 февраля 1916 г., в Касьянов день, отправились мы вдвоем с Хлебниковым к Вячеславу Иванову. Кажется, он дал свою подпись на опросном клочке Хлебникова, во всяком случае, вечер провели хороший и серьезный».

Ариадна и Минос — см. примеч. СС, 2:562.

«*Через неделю я буду убит*» — ср. начало рассказа «Перед войной» (С. 232).

Я уже избран королем времени — см. примеч. к стихотворению «Печальная новость» (СС, 1:521), а также «Скуфья скифа» (С. 171).

Чертей в понимании Гончаровой — имеются в виду илл. Н.Н.Гончаровой к первому изданию поэмы «Игра в аду» (1912).

«*Я привез деревянного, но пряничного Иоанна Грозного...* — речь идет об изделиях игрушечников подмосковного Сергиева Посада.

Вино вдохновения старой цыганки — эпизод поездки в Сергиев Посад рассказан в воспоминаниях Петровского «Повесть о Хлебникове» (1926).

Ученый, не нуждающийся в пылинке пространства — о Флоренском Павле Александровиче (1881—1937), ученом и священнике, к которому Хлебников ездил в Сергиев Посад в марте 1916 г. с предложением вступить в «Общество 317» (по воспоминаниям Петровского). Осенью 1916 г. на оборотной стороне декларации «Труба марсиан» анонсировался журнал «Слововед»: среди авторов статей назывался П.А.Флоренский. Неопубликованная при жизни статья Флоренского «Мысль и язык» (апрель 1918 г., см. «У водоразделов мысли». М., 1990) содержит ряд замечаний о поэтике русского футуризма. См. обложку журнала «Ма́ковец» (СС, 3:232).

Лентулов Аристарх Васильевич (1882—1943) — один из основателей «Бубнового валета»; изображения старой Москвы — постоянный мотив его живописных полотен.

Боярин Кучка — см. примеч. к стихотворению «Вы помните о городе...» (СС, 1:200 и 477).

Кто дал однажды голове-холму лихую пощечину — см. примеч. к поэме <Разговор душ> (СС, 4:352, 354).

В этом месте 4 заводских трубы — вдоль водоотводного канала находились кондитерская фабрика Эйнем и электростанция, напро-

тив по берегу Москва-реки — храм Христа Спасителя. См. в тексте <Октябрь на Неве>.

<Я лишь> тихий кролик — см. окончание стихотворения «Печальная новость» (СС, 1:371).

К отрывку «Я опять шел по желтым дорожкам...»

Разумовская пуща — часть Петровско-Разумовского дачного пригорода на севере Москвы (от Петербургского шоссе до Петровской сельхозакадемии); здесь Хлебников жил со своим братом Александром, проходившим стажировку в школе прапорщиков, в феврале — марте 1916 г.

К отрывку «Закон множеств царил...»

Ногти, любовно холимые славянкой — ср. в отрывке «И тогда я славил государствокосых...» (С. 50).

Лысый мерин через прясло глядит — загадка: месяц (Даль).

Скуфья скифа (С. 166) — Впервые: НХ, XIII, 1929 (с оповещением публикатора, что он располагает половиной рукописи, имеющей авторскую пагинацию 13 страниц); републикация в СП, IV, 1930 увеличена тремя страницами рукописи, хранившимися у П.В.Митурича, но и в этом случае авторский текст не полон; предположительно, как отрывок недостающих страниц, Н.Л.Степанов включил фрагмент «Целый день нагой я лежал...» Конъектуры и ряд смысловых поправок внесены на основе анализа сохранившихся листов рукописи (РГАЛИ).

Письма Г.Петникову и Н.Асееву сентября 1916 г. (СП, V:306—307) дают возможность предположить, что название «Ка^2» относится именно к этому тексту. В таком случае «Скуфья скифа» — название более позднее; не исключено, что оно появилось в связи с организацией литературной группы и альманаха «Скифы» (лето 1917 г.). В НХ, IX, 1928 зафиксировано название «Скифы в скуфье».

Мистериальный характер действа внутри колоссальной фигуры символического зверя (сфинкс у пирамиды Гизы), возможно, подсказан популярным эзотерическим сочинением французского писателя Э.Шюре «Мистерии Египта» (в книге «Великие посвященные», 1913): «Благодаря своим чертам сфинкса, безмолвно хранящего тайну, благодаря своей гранитной непоколебимости, Египет сделался той осью, вокруг которой вращалась религиозная идея человечества».

В разделе «Другие редакции и варианты» см. отрывок «Лев» (впервые: СП, V, 1933).

Скуфья — остроконечная мягкая шапочка у православного духовенства.

Ка — см. примеч. к повести «Ка» (С. 409).

Я сидел в подводной лодке — ср. отрывок «Мы взяли $\sqrt{-1}$... (С. 175) и очерк-воспоминание «Нужно ли начинать рассказ с детства?..» (С. 202).

Дубы — лодки, на которых запорожцы спускались по Днепру в Черное море.

Морские хохотуньи — см. примеч. на С. 412.

Сын Солнца — по контексту повести «Ка», фараон Эхнатон.

Иог — см. в письме 1916 г. из военного лазарета: «Я дервиш, иог, марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка» (СП, V:310).

Государство людей, родившихся в одном году — см. примеч. к стихотворению «Печальная новость» (СС, 1:521).

Числобог — мифологизация «числяра» (см. на С. 58); его изображение присутствует в рисунке к повести «Ка» (С. 125).

Стрибог — см. примеч. СС, 4:346.

[Нибелунги] — персонажи древнегерманского эпоса, ср. тетралогию Р.Вагнера «Кольцо нибелунга».

Лада — см. примеч. СС, 3:460.

Подага — см. примеч. СС, 2:574; в данном тексте Подагу можно ассоциировать с Верой Будберг (см. СС, 1:511).

Жерлянка — род жаб.

Журавика — клюква.

Их было 32 — набор фигур и пешек для шахматной партии. Ср. сцену шахматной игры в сверхповести «Дети Выдры» (С. 266).

К тексту «Лев»

Каменный лев — древнеегипетская статуя сфинкса.

Ра — см. примеч. СС, 2:550.

Тезей (Тесей) — см. примеч. СС, 2:562.

Я вспомнил одну улицу Казани... — см. в тексте «Нас не била плеть...» на С. 60.

«М ы в з я л и $\sqrt{-1}$...» (С. 175) — Впервые: СП, V, 1933. Публикатором указана рукопись, хранившаяся у Г.Н.Петникова.

$\sqrt{-1}$ — постоянный у Хлебникова образ фантазии и творческой мысли.

Глыба стекла, мысли и железа — ср. «железостеклянный дворец» как своего рода «машину времени». См. примеч. на С. 405.

«Никто не будет отрицать того...» (С. 176) — Впервые: СП, IV, 1930.

Рассказ связан с локальным событием начала Гражданской войны. В январе 1918 г., когда Хлебников покинул Москву и жил с родителями, против частей астраханского гарнизона, поддерживавших большевиков на выборах городской думы, выступили отряды казачьего войскового круга. После двенадцатидневных столкновений Советская власть полностью стала контролировать город. См. сб. «Астрахань в январские дни 1918 г.». Астрахань, 1925.

Я ношу на моем мизинце ваш Земной Шар — см. этот мотив в стихотворении, датированном 4 декабря 1917 г. (СС, 2:22).

Извозчик... с положенным поперек дрожек гробом — см. в более позднем стихотворении, написанном в Харькове (СС, 2:73).

Гласные думы собирались... пополоскать клювы в воде думских речей — ср. в «Зверинце» ироническую характеристику парламентского строя: «...жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством — желанный рай столь многих!» (С. 46).

«Искушение святого Антония» Флобера — см. примеч к «Искушению грешника» (С. 392); эпизод постепенного сжигания книги корреспондирует со многими текстами Хлебникова, см. примеч. к «Детям Выдры» (С. 442).

Диана хотела утопать в испарениях и грезах — здесь соответствует Великой Диане Эфесской из V раздела драмы Флобера (в пер. Б.Зайцева); см. также примеч. СС, 1:467.

Будда был искусен в исчислении атомов — из монолога Будды (V раздел драмы Флобера): «Никто не мог сравниться со мной... в исчислении атомов».

Из весеннего устья Волги несся хохот Пугачева — здесь *Пугачев* соответствует *Разину* (см. в данном томе «Разин напротив»).

И все это <...> стало черным высокопоучительным пеплом третьей черной розы — эзотерическая образность, восходящая, вероятно, к легенде розенкрейцеров о магическом воскрешении из пепла брошенной в огонь розы. Иной эмоциональной направленности образ «черной розы» в романсовой лирике А.Блока («В ресторане», 1910).

Я был полон видовой гордости — см. примеч. к «Ене Воейкову» на С. 399.

<Октябрь на Неве> (С. 179) — Впервые: газ. «Красный воин». Астрахань, 1918. № 49. 6 ноября (со слов «Под грозные раскаты в Царском Селе» и с ред. названием «Октябрь на Неве»; в том же номере: С.Буданцев (редактор) «Мой Октябрь», И.Лозняк «Наш Октябрь в Берлине» и др. материалы к первой годовщине Октябрьской революции. В таком виде текст вошел в «Повесть о Хлебникове» (1926) Дм. Петровского). Полностью (под названием «Октябрь на Неве») в СП, IV, 1930. Печатается: начало по рукописи (РГАЛИ), где название отсутствует, продолжение — по первой публикации.

Ранней весной 1917 — см. примеч. к стихотворению «Народ поднял верховный жезел...» (СС, 2:497).

Петников Григорий Николаевич (1894–1971) — поэт; издатель и редактор ряда сборников, выходивших в Харькове («Северный изборник», «Лирень» и др.).

«*Только мы...*» — краткое изложение «Воззвания Председателей Земного Шара» (сб. «Временник 2», 1917); стихотворный вариант — СС, 3:168.

Список Председателей — см. в сборниках «Временник 3» (СС, 3:167) и «Временник 4» (С. 180); в последнем списке есть имя «Зимацкаго»: см. воспоминания Владислава Земацкого (публикация Е.Р.Арензона) // Вестник ОВХ.3, 2002.

Зенкевич Михаил Александрович (1891–1973) — участник «Цеха поэтов» (см. примеч. СС, 2:562 и С. 412).

Брик Осип Максимович (1888–1945) — один из основателей «Общества по изучению языка поэзии» (Опояз); см. примеч. СС, 1:521 и СС, 3:465.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — знакомство с Хлебниковым через сестер Синяковых и Н.Н.Асеева (см. примеч. СС, 3:467 и 493).

Спасский Сергей Дмитриевич (1898–1956) — поэт, автор воспоминаний о Хлебникове в журн. «Литературный современник». М., 1935. № 12. См. также: Г.Л.Владычина. О Велимире Хлебникове. (Публикация Е.Р.Арензона) // Вестник ОВХ. 2, 1999.

Малевич Казимир Северинович (1878–1935) — основатель супрематического искусства, упоминается в статье Хлебникова «Голова вселенной» (1919); см. примеч. СС, 4:370.

Куфтин Борис Алексеевич (1892—1953) — искусствовед, историк; вместе с Петровским сопровождал Хлебникова в его поездке к Флоренскому в Сергиев Посад (см. примеч. на С. 419).

Синякова — см. примеч. СС, 1:526.

Богородский — см. примеч. СС, 2:557.

Г.Кузьмин — см. примеч. СС, 3:444.

Зигмунд Л.А. — организатор в Астрахани гимнастического общества, в котором состояло 317 членов (см. «Время мера мира». Пг., 1916. С. 7 и Творения, 1986. С. 702).

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891—1953) — вспоминал, что Маяковский подарил ему поэму «Война и мир» с надписью: «Председателю земного шара от секции музыки — председатель земного шара от секции поэзии. Прокофьеву—Маяковский» (журн. «Советская музыка». М., 1946. № 4).

«*Заем Свободы*» — см. примеч. СС, 2:499.

Весну я встретил на вершине цветущей черемухи — см. примеч. к стихотворению 1921 г. «Я и ты» (СС, 2:558).

Я основался в селе Смоленском — см. примеч. к стихотворению 1917 г. «Письмо в Смоленке» (СС, 2:501).

Лурье — см. примеч. СС, 4:386.

Ивнев Рюрик (Ковалев Михаил Александрович, 1891—1981) — поэт, входил в группу эго-футуристов; автор воспоминаний о встречах с Хлебниковым осенью 1918 г. в Астрахани (см. газ. «Волга». Астрахань, 18 авг. 1985 г.; кн. «Избранное». М., 1988).

«*Мертвые! идите к нам и вмешайтесь в битву...* — см. примеч. к «Ка-2» (С. 418).

В Мариинском в это время ставили «Дон Жуана» — имеется в виду опера А.С.Даргомыжского «Каменный гость».

Керенский — см. примеч. СС, 2:501 и СС, 3:174.

Ластовицы — расклешенные брюки матросов.

Гурриэт-эль-айн — см. примеч. СС, 2:534.

Есир (С. 187) — Впервые: журн. «Русский современник». Л., 1924. № 4 (с примечанием: «Рукопись — беловая, с немногими поправками, писанная разновременно, частью по новой, частью по старой орфографии. Текст приготовил к печати Г.Винокур»); републикация в СП, IV, 1930. Рукопись «Есира» в числе других материалов Хлебникова, полученных Р.О.Якобсоном весной 1919 г. (см. примеч. СС, 1:450 и СС, 2:509), до октября 1922 г. находилась в архиве Московского лингвистического кружка. «Леф» (1923. № 1) анонсиро-

вал Собрание сочинений Хлебникова под ред. Н.Н.Асеева и Г.О.Винокура (издание не состоялось). Печатается по первой публикации с несколькими смысловыми конъектурами и маркировкой текстовых лакун.

Общий замысел повести связан с идеей статьи «О расширении пределов русской словесности» (1913) и задачами, намеченными еще раньше в письме к А.Е.Крученых: «Сделать прогулку в Индию, где люди и божества вместе. Заглянуть в монгольский мир» (СП, V:298).

Черновой набросок, относящийся, вероятно, к 1916 г., называется «Ловецкий рассказ» (РГАЛИ).

Конструктивным прототипом сюжета и главного героя повести следует считать «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина (литературный памятник XV в.). Ближайший источник — записки парусного мастера из Амстердама Иогана Стрюйса (Johan Struys), подробно изложенные в «Астраханском сборнике. Вып. 1». Астрахань, 1896.

В 1647—1651 гг. Стрюйс побывал в Индии и на Мадагаскаре. В 1668 г. отправился в Московию. Построив с компаньоном корабль, спустился по Оке и Волге в Астрахань. Здесь он стал свидетелем возвращения из персидского похода Степана Разина, дважды встречался с ним (Стрюйсу принадлежит и рассказ об утоплении «персидской княжны»). Летом 1670 г., отправившись в плавание по Каспию, был выброшен бурей на дагестанский берег, где попал в плен к местному феодалу. Несколько раз перепродавался, сумел выкупиться, отправился с караваном в Персию, потом попал на остров Яву и после многих приключений возвратился в 1673 г. в Голландию.

Хлебников, несомненно, пользовался краеведческой литературой, которая была в семейной библиотеке: разных лет издания путеводители и справочники по Астрахани (см. примеч. СС, 3:449), «Сборники трудов Петровского общества, исследователей Астраханского края», этнографическое исследование И.А.Житецкого «Астраханские калмыки» (1892) и др.

Есть известная эмоциональная близость прозы Хлебникова с повестью Н.С.Лескова «Очарованный странник» (см. примеч. к поэме «Ладомир» — СС, 2:526 и СС, 3:469).

Есир тюрк. — невольник, раб; см. статью А.Н.Штылько «Ясырь (живой товар)» // Отчеты Петровского общества исследователей Астраханского края за 1894 г. Астрахань, 1896.

Истома — персонажи с этим именем есть у А.К.Толстого в «Князе Серебряном», у Н.А.Полевого в «Повести о Симеоне, Суздальском князе» (1828), где в эпилоге цитируется Никоновская летопись: «И сей князь... в веке своем многи напасти подъят и многи *истомы* претерпе».

Кулалы — остров в северной части Каспийского моря.

Кокот — крюк.

Бударка — см. на С. 406.

Махалка — перо на конце рыбьего хвоста.

Кутум — один из рукавов Волги у Астрахани.

Кошка — якорь.

Саваджи — см. примеч. СС, 2:526.

Аурензипп (Аурангзеб) — правитель Могольской империи в Индии, фанатично насаждавший ислам (конец XVII в.).

На́нак (1469–1539) — поэт, гуру (учитель) общины сикхов, возникшей в XVI в. в Пенджабе.

Кабир (1440–1518) — проповедник учения бхакти, провозглашавшего равенство людей перед Богом (основа сикхизма).

Говинд (Хар Говинд) — шестой гуру сикхов (XVII в.).

Тег Бахадур — девятый гуру сикхов (XVII в.).

Чанг-гиент-шонг (Чжан Сяньчжун) — один из руководителей антиманьчжурского восстания китайских крестьян (сер. XVII в.).

Гала-галай-яма (Яма) — в древнеиндийской мифологии первый смертный на земле, ставший равным богам; обретя бессмертие, стал судьей мертвых; в буддийских легендах отождествлялся с божеством Мара, персонифицирующим зло всяческих искушений. См. в статье «О пользе изучения сказок», 1915.

Аум — священное слово индуистов, означающее высшую объективную реальность; см. примеч. к сверхповести «Зангези» (плоскость IX — С. 451).

Кала-Гамза — возможно, солярный знак бога древнеиндийской мифологии Сурья: одна из ипостасей его — лебедь («гамза»); знак бесконечности — птица времени («кала» — время).

Шветамбара — одна из двух сект, на которые распалось в конце I в. до н.э. религиозно-философское учение джайнизма, главный этический принцип которого — уважение ко всему живому, воздержание от любого насилия; *шветамбары* — «одетые в белое», *дигамбары* — «одетые светом», то есть обнаженные. Называя себя «священником наготы» (см. стихотворение «Я видел юношу-пророка» — СС, 2:190), Хлебников имел в виду именно дигамбаров.

Баба-птица — см. примеч. СС, 3:489.

«*Чума сетей*» — в одноименной статье биолога П.М.Никольского («Сборник трудов членов Петровского общества исследователей Астраханского края», 1892) описана эта болезнь водорослей, уничтожающая рыбацкие снасти.

Тоня — см. примеч. СС, 2:511.

Лебедия — см. примеч. СС, 1:516.

Черни — см. на С. 406.

Здесь была Золотая Орда — вероятно, остатки городов Сарай-Бату или Сарай-Берке на левом берегу Ахтубы (левого рукава Волги).

Сюмер-ула (Сюмбери) — в буддийской мифологии гора, стоящая в центре мира.

Бозо — имеется в виду калмыцкая молочная водка (арька), *бозо* — это осадок после процесса перегонки.

Окын-тенгри (Охин-тенгри) — в мифологии монгольских народов женское божество смерти и возрождения; здесь, по-видимому, совмещено с божеством родового очага Отхан-Голахан, имеющим женскую и мужскую ипостась. Культ огня связан с обожествлением Чингизхана.

«*Кудатку́-Били́к* (Кутадгу билиг) — дидактическое сочинение уйгурского поэта Юсуфа хасе-хаджиба Беласагуни «Благодатное знание» (XI в.).

Неук — см. примеч. СС, 2:544.

Якши тюрк. — ладно, хорошо.

Праздник Весенней Ляли — см. примеч. СС, 1:516.

Испагань (Исфахан) — столица Ирана в XVII в.; см. примеч. СС, 2:554.

Кали — см. примеч. к пьесе «Боги» (СС, 4:388).

«*Тат Савитур варениам...*» — молитва, обращенная к солнечному богу Савитару (Ригведа. III. 62.10). В кн. Э.Тейлора «Первобытная культура». СПб., 1873, которая была в семейной библиотеке Хлебниковых, приводится эта ежедневно повторяемая каждым брахманом формула.

Брахма — в индуистской мифологии и философии высшая реальность, в которой все рождается и умирает, но которая недоступна непосредственному восприятию.

Майя — призрак, обман, иллюзия, то есть многообразные внешние проявления Брахмы.

«Нужно ли начинать рассказ с детства?..» (С. 202) — Впервые: НХ, I—II, 1928; републикация в СП, IV, 1930

(где опущена последняя, недописанная фраза: «Американский мулат в серой крылатке, беседовавший с нами в железной дороге...». В НХ было объяснение сестры Веры: случай на вокзале в Орле, когда Хлебниковы переезжали с Волыни в Симбирск).

Автобиографический очерк, оставшийся незавершенным, возможно, задумывался как предисловие к несостоявшемуся Собранию произведений в 1919 г. Однако традиционный писательский рассказ о жизни с бытовыми и психологическими мотивировками мог показаться устарелым для новаторского издания. Возникла собственно «литературная биография» как новый тип авторского вступления: прямой и конкретный разговор о проделанной работе — «Свояси» (см. примеч. СС, 1:450). Смысловые конъектуры в тексте носят предположительный характер.

Мои люди и мой народ — биография начинается мифологизацией истории предков-запорожцев (см. на С. 168), опрокинутой в славянскую древность.

«*Турусы на колесах*» — вздор, болтовня. По некоторым предположениям, так назывались некогда осадные башни на колесах; по Хлебникову, это «телега под парусом» (способ передвижения древних славян по воде и через узкие водоразделы волоком).

Гайавата — см. примеч. на С. 397.

Племя волгоруссов — ср. в «Свояси»: «Волга... река индоруссов».

Мин — по Геродоту, первый царь Египта (3 т. лет до н.э.); в переносном смысле — начало исторической памяти: средствами поэтической этимологии связывается с корнем *мин* в словах *поминки, помнить*. Из статьи «О простых именах языка» (1913): «мысль об умершем есть его наименьшее деление, последняя его часть, присутствующая среди участвующих в поминках». Отсюда неологизм «минровы» (по модели — дубровы).

Хурул — ламаистский монастырь; далее речь идет о Малодербетовском улусе Калмыцкой степи (Астраханский край), где Хлебников родился и прожил первые пять лет. См. стихотворение «Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды...» (СС, 1:205).

Старший брат — Борис Хлебников (1884–1908).

Другой конец страны — в 1891–1895 гг. Хлебниковы жили на Волыни (Украина), в бывшем имении польских князей Чарторийских.

Охота (С. 205) — Впервые: «Труды 3-й Краснодарской клинической городской больницы. Вып. I». 1935 (публикатор В.Я.Анфимов); републикация в НП, 1940. Печатается по рукописи (РГАЛИ).

Об истории написания этого текста см. примеч. к стихотворению «Лунный свет» (СС, 2:515).

Ср. рассказ Л.Н.Толстого «Зайцы» в цикле «Рассказы из зоологии» (ПСС, т. 14. Пг., 1916).

Зайцы охотятся за людьми — в повести «Есир» сходный мотив сказочного переворачивания: «Осетр раскладывает костер и жарит пойманного человека» (С. 192).

Малиновая шашка (С. 206) — Впервые: журн. «Звезда». Л., 1930. № 2 (публикатор Н.А.Степанов); републикация в СП, IV, 1930. Печатается по рукописи в «Гросбухе» (РГАЛИ). Над заглавием помечено: «Отрывок», под заглавием: «Абмоб» (в обратном чтении — «Бомба», что, вероятно, означало ожидание острой реакции на текст). Краткий вариант рассказа см. на С. 366 (впервые: СП, IV, 1930).

Реальная подоплека сюжета: в начале лета 1919 г. на дачу Синяковых под Харьковом (см. примеч. к поэме «Три сестры» — СС, 3:467) специально для встречи с Хлебниковым приехал Д.В.Петровский, воевавший в период Гражданской войны на Украине в отрядах «червонного казачества». См. его прозаические книги на эту тему: «Повстанья (Восемнадцатый год)». М., 1925; «Повесть о полках Богунском и Таращанском». М., 1941. В «Повести о Хлебникове» Петровский говорит об их встрече в Красной Поляне: «Он очень интересовался моим участием в революции, расспрашивал о быте партизан; очевидно, у него была и какая-то корыстно-творческая цель». Последний раз Петровский видел Хлебникова летом 1920 г. в Харькове: «Расспрашивал меня опять о "правде революции"... Его угнетала революция, как она выявлялась тогда, но не верить он не хотел и бодрился».

<...> *Коте мой сирый* <...> — из украинской колыбельной песни; ей предшествует ирония автора по поводу поспешных попыток «украинизации» государственных служащих в кратковременные периоды «самостийных» правительств, объявлявших независимость Украины от России (Центральная Рада М.С.Грушевского, гетманство П.П.Скоропадского, Директория В.В.Винниченко — С.В.Петлюры).

Раем, с пулеметом у входа, чтобы не разбежались... был север — ср. в статье Ильи Эренбурга «В защиту идеи»: «Мы не верим в рай, куда нужно загонять людей пулеметами» (газ. «Киевская жизнь» 27 сентября 1919 г.), цит. по книге: И.Г.Эренбург. На тонущем корабле. Статьи и фельетоны 1917—1919 гг. СПб., 2000.

Большевицкая волна спадала — «красные» оставили Харьков (в то время — столица советской Украины) в конце июня 1919 г. и окончательно изгнали «белых» из города в декабре того же года.

Эти расстрелы каждый день печатались жирной прописью — см. стихотворение «Современность» (СС, 2:76) и примеч. к поэме «Председатель чеки» (СС, 3:478).

Хлопцев было трое — братья Синяковы.

Магдалина (Мария из Магдалы) — евангельский персонаж; первая увидела воскресшего Спасителя. Удалившись в пустыню и замаливая грехи, она, по легенде, обращалась к Господу: «Отпусти мою вину, как я распускаю волосы» (вместо истлевшего платья волосы закрывали ее тело).

Вот поеду на Карпаты, там галичане — в конце 1916 — начале 1917 гг. Петровский воевал в Карпатах в артиллерийской батарее (см. в его книге стихов «Пустынная осень», 1920).

Гадкий порошок кацапов — кокаин.

Барышня Смерть — см. пьесу «Ошибка смерти».

Петлюровцы — сечевики украинской национальной армии, организованной Симоном Петлюрой (1877–1926).

Спартаковцы — см. примеч. к поэме «Полужелезная изба...» (СС., 3:463).

Нявки — мавки, см. СС, 1:499.

Плахта — шерстяной клетчатый платок, используемый в качестве женской юбки.

Брат — Иван Петровский (погиб в Гражданскую войну), ему посвящено несколько стихотворений в книге «Пустынная осень».

Четники серб. — бойцы; здесь: партизаны просоветской ориентации.

Свитка — верхняя запашная одежда.

Чекмень — казачий кафтан.

Вот мысль: занести пророка в большой город, с метелями... — возможно, реминисценция образной основы стихотворения Б.Пастернака «В посаде, куда ни одна нога...» (сб. «Весеннее контрагентство муз», 1915).

Хромой друг — по-видимому, намек на Б.Пастернака (не призванного в армию вследствие травмы ноги), дружескими отношениями с которым Д.Петровский дорожил.

Три раза снимал его с петли — никаких сведений об этом нет, хотя известна мания суицида в богемной среде тех лет (см., например, о судьбе общего знакомого всех упоминаемых лиц художника В.М.Максимовича — НП:477).

Выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи — весной 1916 г. по обвинению в порче библиотечных художественных изданий Д.Петровский привлекался к суду, но был оправдан; широко известен был и случай с поэтом-символистом Эллисом (Л.Л.Кобылинским), которого в 1909 г. московские газеты ошибочно обвиняли в краже и порче библиотечных книг.

«Ну, что же это?..» (С. 221) — Впервые: СП, IV, 1930. Печатается по рукописи (РГАЛИ).

Гайавата — см. примеч. на С. 397.

Зардушт (Зороастр, Заратустра) — пророк и основатель религии зороастризма; см. примеч. СС, 1:508.

«А, русалка!..» (С. 223) — Впервые: СП, IV, 1930. Печатается по списку П.В.Митурича (РГАЛИ).

Ср. стихотворение «На чем сидишь, русалочка?..» (СС, 2:351).

Граждане ... города-звука — см. примеч. СС, 3: 479.

«Ять» больше виноват, чем «е» — см. примеч. на С. 410.

Утес из будущего (С. 224) — Впервые: «Наш журнал». М., 1922. № 2; републикация в СП, IV, 1930. Печатается по списку П.В.Митурича (РГАЛИ).

Каждый волосок человека — небоскреб — ср. стихотворение «Я и Россия» (СС, 2:216).

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — военный министр при Александре I, символ деспотизма и грубой военщины.

Земля стала съедобной — см. в заметке «Союз изобретателей» (НП:349) о возможности «новых видов пищи».

Разин напротив. Две Троицы (С. 227) — Впервые: СП, IV, 1930. Печатается по рукописи (РГАЛИ).

Судя по сохранившимся черновикам, текст должен был продолжаться рассказом о пребывании Хлебникова в Персии. Параллельная запись: «Но что дальше? Он бросил девушку в воду... С русалкою Зоргама обручен» — перекликается со стихотворением «Я видел юношу-пророка...» (СС, 2:190), в рукописи которого есть помета: «Две Троицы. Разин напротив».

В планах и перечнях произведений этого времени есть также названия — «Разин наоборот» (очевидно, поэма-палиндром «Разин»), «Разин III» (возможно, поэма «Уструг Разина»).

Троица — см. примеч. к стихотворению «А я...» (СС, 2:507). Календарная Троица 1905 г. застала Хлебникова с братом Александром в орнитологической экспедиции на Урале; Троица 1921 г. пришлась на время его участия в военной экспедиции Красной Армии в персидской провинции Гилян.

Нет-единица — постоянный образ творческой фантазии: $\sqrt{-1}$.

... до истоков жизни молодого донца в Соловках — Степан Разин дважды посещал Соловецкий монастырь в 1652 и 1661 гг.

... до пути молодого донца на Днепре — в 1663 г. Разин во главе отряда донцов боролся вместе с запорожскими казаками против крымских татар.

Баба-птица — см. примеч. СС, 3:489.

«*Сарынь на кичку!*» — см. примеч. СС, 3:447.

Яроста — см. ряд подобных неологизмов (*шалоста, малоста, тихоста, силоста*, любоста и т.д.) в стихотворении «Это парус река-ча...» (СС, 2:353).

Бродни и *поршни* — обувь из цельного куска кожи; см. в статье «О бродниках» (1912).

Крошни — заплечная берестяная котомка.

Конжаковский камень — возвышенность на Среднем Урале.

Перед войной (С. 232) — Впервые: журн. «Корабль». М., 1923. № 1–2 (с подзаголовком «Кол из будущего»); в СП, IV, 1930 вариант, датированный 20 января 1922 г. Печатается по машинописи в фонде Хлебникова (РГАЛИ).

Люди в свежих могилах недавних цветов и зверей — натурфилософский образ всеобщей связи бытия через смерть (см. примеч. СС, 2:502).

Как сумасшедший арап, не найденный в песнях Пушкина — см. примеч. к стихотворению «Высоко руками подняв Ярославну...» (СС, 2:517–518).

Ворота Славы — Триумфальная арка в Москве в память победной войны 1812 г. у Тверской заставы (перенесена на Кутузовский проспект). Эпизод у заставы см. в «Ка-2» (С. 158).

Я добрыми глазами смотрел на друга... — имеется в виду Маяковский и его поэма «Облако в штанах», цитируемая неточно.

Кол из будущего надвигался на улицу, полную запаха вчерашних взглядов и слов — ср. стихотворение «Есть запах цветов медуницы...» (СС, 2:348 и 583); знак вечности и память о прошлом.

Полчища треугольников... наступали на нас — см. примеч. СС, 1:507.

Чечевица — см. примеч. СС, 4:377.

Железное перо на ветке вербы (С. 237) — Впервые: Утес, 1988; вариант на С. 367 (впервые: СП, IV, 1930).

Текст предназначался в качестве предисловия к «Доскам Судьбы».

Ветка вербы — см. примеч. СС, 1:520.

Гилян — прикаспийская область Персии (Ирана), где Хлебников был весной—летом 1921 г., после чего жил на Северном Кавказе (Железноводск, Пятигорск).

Кучук-хан (Кучек, Кучик 1881—1921) — в 1910-х гг. возглавлял движение «дженгелийцев» (лесных партизан), боровшихся с центральным правительством в Тегеране; 4 июня 1920 г. провозгласил в Гиляне Советскую республику (см. примеч. СС, 2:533) и обратился с телеграммой к Ленину. Раскол в революционном руководстве привел к изоляции и гибели Кучук-хана в горах Талыша.

Митурич Петр Васильевич (1887—1956) — художник-график, изобретатель; о «будетлянских» идеях Хлебникова узнал в годы Мировой войны в петроградском кружке Н.Н.Пунина и Л.А.Бруни; непосредственное знакомство с Хлебниковым состоялось в Москве в марте 1922 г. См. книгу: П.Митурич. Записки сурового реалиста эпохи авангарда. (Дневники, письма, воспоминания, статьи). М., 1997.

Из неопубликованных записей: «Настало пасхальное время. Достали творогу и сооружается творожная пасха. Я сделал для нее форму четырехгранной пирамиды, на каждой стороне которой вытеснены эмблемы вер: христианской — крест, буддийской — след Будды, магометанской — серп месяца и будетлянской — ветви двоек и троек <...> Я принес Велимиру ветку вербы, которая появилась на улицах города. Он привязал перо к ветке вербы и написал статью "Перо на ветке вербы", черновик которой напечатан в Собрании сочинений. Беловик тоже имеется, но я пока воздерживался его показывать, так как надо еще заслужить, чтобы получить ту награду, к которой я был в нем представлен Велимиром» (архив М.П.Митурича-Хлебникова).

Минковский — см. примеч. СС, 2:532, где цитируется заметка Хлебникова о немецком ученом (РНБ). Толкование символики креста в связи с теорией Минковского принадлежит самому Хлебникову:

«Открыл происхождение креста. Без 4-х минут 12 час. 5 декабря 1920 г.» (РГАЛИ).

Мера заменила веру — то есть победили «законы времени», в соответствии с которыми «вера в сверхмеру — Бога сменяется мерой как сверхверой». (Но ср. в поэме «Синие оковы»: «Я верю: разум мировой / Земного много шире мозга...» — СС, 3:387.)

III

Дети Выдры (С. 242) — Впервые: Рыкающий Парнас, 1914; вошла в СП, II, 1930 (в примеч. указано свидетельство М.В.Матюшина, издателя РП, что «Дети Выдры» напечатаны в сборнике не полностью). См. также «Дети Выдры» в Творениях, 1986. Рукопись опубликованной версии не сохранилась. Черновые фрагменты предварительных творческих материалов к «Детям Выдры» — в ИМЛИ, РНБ, частных собраниях.

В РП для экономии места 3-й и 5-й *паруса* печатались сдвоенным стихом. Данная публикация следует за СП в подаче стиховой графики (ср. историю печатания поэмы «Вила и леший» — СС, 3:441). Однако в СП не была замечена крупная композиционная погрешность исходной публикации: в первой части 5-го *паруса* драматический диалог юноши и старика («Разговор»), видимо, по причине случайного смещения листов рукописи потерял логику связного смыслового текста. Реконструкция этой части («Путешествие на пароходе. Разговор») впервые представлена в кн.: Стихотворения и поэмы, 1985 (обоснование см.: Дуганов Р.В. О логике сюжета и реконструкции текста // Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990. С. 212).

Наличие разного рода смысловых лакун и очевидных издательских погрешностей в публикации РП вызывает необходимость других композиционных и лексических конъектур (особенно в *парусах* 2 и 6).

Идея особого повествовательного жанра, совмещающего разные типы рассказа и разные методы словесного мышления (в черновой записи 1921 г. есть понятие «сноп повестей»), восходит к началу осознанной новаторской работы Хлебникова. В письме В.Каменскому 1909 г. он сообщал: «Задумал сложное произведение "Поперек времен"... Каждая глава должна не походить на другую. Хочу бросить на палитру все свои краски и открытия, а они — каждое — властны только над одной главой... Будучи напечатанной, эта вещь казалась бы столь же неудачной, сколько <и> замечательной. Заключительная глава — мой проспект на будущее человечества» (НП: 358).

Замысел «Детей Выдры» как «творения или дела, которое выразило бы дух материка и душу побежденных туземцев, подобно "Гайавате" Лонгфелло» (статья «О расширении пределов русской словесности», 1913), относится к периоду трансформации чисто «славянского» пафоса Хлебникова в более сложный — «азийский». Из упомянутой выше статьи: «Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым». Из статьи «Западный друг», 1913: «Русские не только славяне». Из поэмы «Хаджи-Тархан», 1913: «Ах, мусульмане те же русские...»

В основу азийско-материкового эпоса, расширяющего пределы суженного сознания русской современности, Хлебников кладет осколки мифологии сибирско-амурского племени орочон (или орочей) как «самые древние предания о прошлом людей» (см. примеч. к рассказу «Око́» на С. 403). В статье «Кто такие угро-россы?» (1913) Хлебников утверждает, что венгры называют карпатских русняков (гуцулов) — «орочонами». Таким образом евразийское пространство русской словесности как бы скрепляется единым этно-духовным субстратом.

Поскольку РП вышел в свет в январе 1914 г., крайней датой написания «Детей Выдры» можно считать 1913 г. Рассказ «Смерть Паливоды», вошедший в общий монтаж произведения как 4-й *парус*, упомянут в письме Матюшину 1911 г. (НП:360). Творческий интерес к мифологии сибирских тунгузов относится к рубежу 1911—1912 гг. Мотив крушения парохода в 5-м *парусе* связан с гибелью атлантического лайнера «Титаник» (15 апреля 1912 г.). Единственная дата в черновиках (ИМЛИ) — «8.I.1913» соотносится с набросками 6-го *паруса*. Таким образом над замыслом и непосредственным воплощением «общеазийского сознания в песнях» (как характеризуются «Дети Выдры» в «Свояси») Хлебников работал не менее двух лет.

Название частей произведения — «*парус*» (см. СС, 1:450) появилось только в тексте публикации. В черновиках отдельная часть именуется «*дело*», подзаголовок — «*вид*», общая схема действия (либретто) названа «*костяк деес*». Сын Выдры посещает Индию (см. примеч. к стихотворению «Меня проносят на слоновых...» — СС, 1:489). В числе персонажей не только «Сын» и «Дочь», но и «Внук» Выдры.

Выдра — архаический животный тотем — дает всему мифологическому эпосу Хлебникова космогонический объем: насельники азийского материка могут быть поняты как дети общей «матери мира» (Выдры) и бога Андури (см. примеч. СС, 3:444). Этимологиче-

ски Выдра близка сказочному зверю апокрифической «Голубиной книги» (см. примеч. СС, 2:526) Индре (Индрик, Вындрик), который есть «всем зверям мати». Согласно средневековой бестиарной эмблематике, приводимой П.И.Шафариком («Славянские древности», русск. пер. 1848 г.), «русин — выдра», «фряг — лев», «аламин — орел» и т.д.

По хлебниковской квазиграмматической идее «внутреннего склонения слов», *выдра* связана падежно-смысловыми отношениями с *ведром*: «Ведро хранит воду... выдра — дочь воды... выдру хранит и лелеет вода» (см. статью «Изберем два слова...» — НП:328). То есть «выдра» может быть понята как инобытие «русалки» — универсального для Хлебникова образа мнимости и числовой сущности воображения ($\sqrt{-1}$).

Дети Выдры — природные сущности, в этом смысле языческий *Сын Выдры* имплицитно противостоит евангельскому *Сыну человеческому* (самоназвание Иисуса Христа).

1-й парус:

Помимо своей мифологической основы, важен собственно эстетический аспект «театра в театре»; написан языком театральных ремарок.

Черный конь морских степей — дельфин? Ср. название стихотворения Тютчева «Конь морской».

Людоконин — кентавр.

Зерцог «Будетлянин» — см. примеч. к пьесе «Снежимочка» (СС, 4:370–371).

На подмостках охота на мамонта — сценическая «живая картина» на тему живописного панно В.М.Васнецова «Каменный век» (Исторический музей в Москве, 1885).

2-й парус:

Горит свеча именем Разум в подсвечнике из черепа — изобразительным эквивалентом этого оккультного мотива является рисунок К.Малевича «Memento mori», 1908 (воспроизведен в кн. Nakov Andrei. Malevicz. Catalogue resonner. Paris. 2002. P. 78).

Боскович (Бошкович) Руджер Иосип (1711–1787) — астроном и физик, почетный член Российской академии наук (хорват по происхождению); развивал новую концепцию атомистического строения мира. См. статью: Никитаев А.Т. К интерпретации второго паруса «Детей Выдры» // Хлебниковские чтения. СПб., 1991. С. 69–75.

Мирмидонянин — герой «Илиады» Ахилл (см. примеч. СС, 3:268); вождь племени мирмидонян, обитавшего на северо-востоке Греции.

Бризеида (Брисеида) — троянка, пленница Ахилла, убившего ее мужа и брата. (В указанных публикациях «Детей Выдры» Бризеида обращается: «Ахилл Кризь!» Но Кризь (Хрис) — жреческое имя ее отца. По смыслу текста, не троянка обращается к пленившему ее врагу, но Ахилл обращается к ней.)

Это ничего, что я комар! — возможно, аллюзия на юмористическую «Оду комару» Г.Р.Державина, где комар предстает героем-исполином.

«Андра мой эннепе, Муза» — начальный стих гомеровского эпоса «Одиссея» («Муза, скажи мне...» — пер. В.А.Жуковского).

Голубые ловушки — ср. «Синие оковы» — название и главный образный мотив последней поэмы 1922 г. (СС, 3:370 и 492); метафорическое сочетание земной любви и «небесных законов».

Лысая гора — см. примеч. к драматической сцене «Шабаш» (СС, 4:392).

3-й парус:

Ныне я упираюсь пятками в монгольский мир и рукой осязаю каменные кудри Индии — антропоморфный образ страны-личности соответствует структуре пространственно-философского историзма П.Я.Чаадаева (1794—1856): «Упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были соединить в себе оба великих начала духовной природы». Образ Хлебникова трансформирован в поэме Маяковского «150 000 000»: «Россия / вся / единый Иван, и рука у него — / Нева, / а пятки — каспийские степи».

Нушабэ — легендарная правительница государства Бердай (V в. н.э.) на каспийском побережье современного Азербайджана; упомянута в эпической поэме Низами «Искандер-наме» (см. примеч. СС, 1:478). В кн. востоковеда В.В.Григорьева «Россия и Азия» (1876), которая была для Хлебникова источником, история каспийского региона излагается с учетом поэтического текста Низами.

Руссы (русы) — у В.В.Григорьева это славянизированная дружина варягов (норманнов) киевского князя Игоря, совершившего поход в Хазарию (см. примеч. СС, 4:347) и далее на каспийский юг.

Ушкуйник — древнерусский витязь (у Даля: «речной разбойник»), от «ушкуй» — новгородская речная ладья, см. «ушкуйница» в поэме «Три сестры» (СС, 3:231).

Мессакуди и Иблан — имеются в виду арабские писатели-путешественники X в. Масу́ди и Ибн-Фадлан (последний побывал в стране волжско-камских булгар).

Булгар — см. примеч. к поэме «Напрасно юноша кричал...» (СС, 3:438), имеющей историко-этнографические и сюжетные переклички с 3-м парусом.

Куяба (Куябия) — название Киева в арабских источниках X в.

Колесные суда — то же, что «турусы на колесах», см. на С. 428.

Яссы (ясы) — племя хазарского территориально-культурного пространства; здесь — враги руссов, хотя у Низами руссы и хазары совместно противостояли Искандеру (Александру Македонскому).

Абхазия — вслед за цитируемым В.В.Григорьевым Низами это территориально-этническое именование Хлебников относит к так называемой Кавказской Албании, находившейся в пограничье современных Дагестана и Азербайджана. См. примеч. СС, 3:438.

Царь Искандр! Искандр, внемли / Крику плачущей земли — в эпической поэме Низами великий Искандер (исторически IV в. до н.э.) по просьбе разоренных абхазов (то есть албанцев — см. выше) идет в поход против руссов (исторически — X в. н.э.) и побеждает их. В мифологической атмосфере «Детей Выдры», где действие протекает «поперек времен», подобная хронологическая неувязка значения не имеет; важно, что героический дух Александра Македонского вселяется в душу Сына Выдры. Как объясняет Хлебников в «Свояси», Персия (актуально-географически современный Азербайджан) является углом «русской и македонской прямых» (славяно-эллинских культурно-исторических отношений).

Огнепоклонники — приверженцы зороастризма (см. на С. 431), верованиями которых Хлебников интересовался: «В первый день весны 21-го года я был на поклоне вечным огням» («Доски Судьбы»).

Венды — протославяне, то есть одно из сарматских племен (вслед за германскими учеными такой версии придерживался в своих исторических работах М.В.Ломоносов).

Зоревенд — у Низами это персидский богатырь в армии Искандера.

Кентал — у Низами это предводитель руссов: побежденный, он признал власть Искандера.

Кереметь — божество булгар до принятия ими мусульманства; у современных поволжских язычников — дух зла.

Индиец старый умирает — смысловая значимость этой фигуры не ясна. У Низами есть молодой индийский князь-воин.

Как лев, тот выпрыгнул из гроба — возможно, эта концовка связана с началом паруса, где ветер скорбно качал ушкуйника на дереве; возможно, здесь не реализован сюжетный стык с поэмой «Напрасно юноша кричал...»: «И он постиг свою судьбу, — / Висеть в закованном гробу» (СС, 3:62).

Историко-философский смысл 3-го паруса подробно рассматривается в кн.: Тартаковский П.И. Социально-эстетический опыт народов Востока и поэзия В.Хлебникова. 1900—1910-е гг. Ташкент, 1987.

4-й парус:

Рассказ «Смерть Паливоды» Хлебников в апреле 1911 г. предполагал включить в свой авторский сборник «Черный холм» (или «Дідова хата» — см. на С. 402). В черновиках к «Детям Выдры» он называется как возможная часть большой композиции наряду с такими историческими сюжетами, как «Кучум и Ермак» и «Смерть Святослава» (ср. стихотворение «Кубок печенежский» — СС, 1:288).

Паливода — в повести Гоголя «Тарас Бульба» есть запорожец Палывода; см. примеч. к поэме «Марина Мнишек» (СС, 3:450).

Славни молодцы паны запорожцы... — вольное изложение песни, приводимой в «Истории запорожских казаков» Д.И.Яворницкого (первое изд. СПб., 1888 г.):

Славні хлопці-запорожці
Вік звікували, дівки не видали,
Як забачили на болоті чаплю,
Отоман каже: «Що я й женихався!»
А кошовий каже: «Що я й повінчався!»

Крымчаки — татары Крымской Орды.

Ратище — копье.

Керея — см. примеч. СС, 4:347.

Зегзицыны чеботы — см. примеч. к стихотворению «В лесу» (СС, 1:517), а также в стихотворении «Гонимый — кем...» (СС, 1:272).

Оселедец — прическа запорожцев: чуб на макушке бритой головы.

Нечоса — так запорожцы называли князя Г.А.Потемкина, носившего парик.

«*Ненько*» укр. — мама (звательный падеж); обращение к Екатерине II (в 1775 г. она ликвидировала Запорожскую Сечь). В повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» запорожцы обращаются к ней — «мамо».

Пугу — подражание крику филина (пароль — приветствие запорожцев); подробное объяснение в «Истории...» Д.И.Яворницкого.

Прилетного татарина кормить очами — мотив украинских сказаний, см. у Д.И.Яворницкого: «... чернокрылые орлы очи ему клевали, а казацкая голова между глаз травой-муравой прорастала» (цит. по изд. Киев, 1990. Т. 1. С. 255). С этим фольклорным образом связана характеристика чекиста Саенки (поэма «Председатель чеки»): «...из всех яблок он любит только глазные» — СС, 3: 292. См. также СС, 2: 261..

Божественные юноши — ангелы.

Сумно укр. — уныло, печально.

5-й парус:

Первый раздел «Разговора» не имеет точной фиксации беседующих лиц, хотя очевиден конфликт старого непонимания сложностей мира и юношеского нетерпения объяснить причины природных и общественных катаклизмов. Идея нового объяснения, должного победить вечный страх людей перед неясностью рока и смерти, принадлежит будетлянам, которые персонифицированы Сыном Выдры (он назван в финальной ремарке раздела). Это первый печатный текст Хлебникова с неологизмами, выражающими суть его научно-поэтического пафоса: «Идет число на смену верам».

Числа (300, 6, 5, 48) — элементы «закона времени»: 365±48 («мост к звездам», числовое понимание «дрожи вселенной», то есть ритмической циклизации событий; см. формулу на рис. — С. 125). Тем самым «разговор» 5-го паруса впрямую согласуется с «разговором» специально «теоретической» работы Хлебникова «Учитель и ученик» (1912), и становится более ясной сама его диалогическая основа.

Терек — река, впадающая в Каспийское море-озеро, напоминает, что действие происходит в уникальной (по Хлебникову) области земного шара (см. примеч. СС, 2:525 и текст 1918 г. «Открытие народного университета» — НП:351).

Вождь — здесь: капитан парохода.

Если мир одной державой / Станет — сей образ люди ненавидят <...> *Да, те племена, что моложе, / Не соблазнились общим братством* — эта «юношеская» филиппика напоминает рассуждения В.Розанова о К.Н.Леонтьеве (1831–1891): «Все теперь умирает, все падает, потому что все обезличивается. И он с жестокостью восстал против величайших стимулов нашего времени: против любви, милосердия, жалости, против уравнительного процесса истории, кото-

рый он назвал "эгалитарным процессом", против "братства" народов и людей. Не надо! Все это — к смерти, к деформации народов, племен, людей!» Я формулирую по-своему его мысль. Но мысль — эта. "Все эти ближние, сливающиеся в одно братство — сливаются в стадо, которое едва ли и Христу будет нужно" (из статьи «Неоценимый ум» в газ. «Новое время», 21 июня 1911 г.; цит. по кн.: Розанов В.В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 519). См. о Леонтьеве в примеч. СС, 4:379, а также в статье: Арензон Е.Р. «Задача измерения судеб...» // Мир Велимира Хлебникова. М., 2000. С. 533–541.

«Мне отмщение и Аз воздам» — Второзаконие 32:35. Эпиграф к роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (смысл: возмездие — право Бога, а не людей).

Вылезет к родному брату сам лысый черт — аллюзия к роману Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. 4:IX) — бред Ивана.

Поле шахматной доски — см. в финале текста «Скуфья скифа» (С. 174).

Зирин! Зирин! — в статье «З и его околица» (1915): «Древнее восклицание "Зирин!", может быть, значило: К звездам!» См. примеч. СС, 2:550.

О, день <...> и ничь — по-видимому, демонстрация «всеславянского языка» (см. письмо Вяч.Иванову 1908 г. — НП:354).

Сын Пороса — бог любви Эрот, по Платону, дитя Бедности и Богатства (Порос). Ниже: «Здравствуй, поросенок!» — игра слов как вызов логике и здравому смыслу (см. примеч. к пьесе «Чертик» — СС, 4:375). Далее происходит превращение бога любви в страдающего за людей Прометея («Утес»).

За то, что замыслом разбойник, / Похитил разум обетованный — ср. в диалоге «Учитель и ученик»: «Судьба! Не ослабла ли твоя власть над человеческим родом, оттого что я похитил тайный свод законов, которыми ты руководишься, и какой ждет меня утес?».

Бог великий что́ держал <...> — имеется в виду Зевс-вседержитель.

Как черкешенка — героиня поэмы Пушкина «Кавказский пленник».

Льды! Пароход тонет — намек на катастрофу «Титаника» в результате столкновения океанского лайнера с айсбергом. Ср. финал статьи «Западный друг» (1913): «Возгласы о титаническом величественном столкновении заставляют вспомнить о "Титанике", погибающем

от льда, и о льдине Конст.Леонтьева. Может быть, в Северном море еще плавают льдины. Может быть, для этого Леонтьев просил кого-то заморозить Россию».

6-й парус:

Утес Прометея становится «островом храброго Хлебникова», омываемым «морем ничтожества», но привлекательным для героических персонажей русской и мировой истории. Душа Сына Выдры приемлет всех, кто облачен «в звезд шишак», даже если в реальной истории эти герои сталкивались между собой на полях сражений. В черновиках (ИМЛИ) многоголосие паруса увеличивают: Управда (см. СС, 4:391), Ян Собеский (СС, 2:582), «король Жан Дарк» (мужская ипостась героической орлеанской девы — СС, 3:440).

Ганнибал — полководец североафриканского государства Карфаген, длительно противостоявшего мировой экспансии Рима.

Сципион Африканский — римский полководец, захвативший и разрушивший Карфаген в 146 г. до н.э., что и стало концом т.н. пунических войн (римляне называли карфагенцев пунийцами).

Карл и Чарльз — имена одного происхождения (поэтому — «Карлов наводнение», то есть: тóлпы ничтожных карликов); противники «звездного духа» и выразители негероического прагматизма современности; «бородатая» старость ума карликов, враждебная храброй «нежности» молодых будетлян.

Давай возьмем же по булыжнику / Грозить услугой темной книжнику — ср. праздник сжигания книг «бородатых» ученых в финале «Внучки Малуши» (СС, 4:23); в диалоге «Учитель и ученик»: «Где великие уничтожители книг? По их волнам нельзя ходить, как по материку незнания!» (СП, V:174); недатированная запись в рабочей тетради (РГАЛИ): «Союз наукотворцев для борьбы с многокнижием»; образный пафос стихотворений 1920 г. «Слава тебе, костер человечества...» и «Единая книга» (СС, 2:77 и 114). В этом же ряду эпизод жертвенного сжигания книги Г.Флобера как символического преодоления заблуждений человеческого разума, изображенных в «Искушении святого Антония» (см. в данном томе «Никто не будет отрицать того...»).

И брата лик упал в мой стан — брат Ганнибала Газдрубал (см. примеч. СС, 1:508).

В ней мы, по ученью мудрецов <...> — в черновике (ИМЛИ): «по мнению подлейших христиан».

Карл мрачно учит нас <...> — спор с материалистическим объяснением причины войн; будетлянский «закон войн» дает «звездное» объяснение ритма сходных событий. Иначе говоря, будетлянин не ищет «причину», а постигает и утверждает «закон».

Векша — см. примеч. СС, 1:520.

Итак, пути какой-то стоимости — прямое указание на экономическую теорию Карла Маркса; в черновике (ИМЛИ): «это зовется заработной платой или прибавочной стоимостью».

Кость или изъян / Есть у людей и у обезьян — прямое отрицание теории эволюционного развития видов Чарльза Дарвина (и происхождения человека от высокоорганизованных приматов).

И то, чему все рукоплещут, / Не стоит много (образ взят), / Когда кругом так звезды блещут — угадывается контаминация классических стихов: «Прозрачно небо. Звезды блещут» («Полтава») и пушкинской же игры с читательским ожиданием банальности: «И вот уже трещат морозы. И серебрятся средь полей... (Читатель ждет уж рифмы розы; На, вот возьми ее скорей!») — «Евгений Онегин».

Брашно — см. примеч. СС, 1:526.

Пугачев Емельян Иванович (?—1775) — руководитель антифеодального восстания крестьян и казаков (см. примеч. СС, 3:447 и СС, 4:383).

Самко — в Творениях, 1986. С. 693: полковник Переяславского казацкого полка, казненный в 1663 г. за предательство; возможно, имеется в виду Иван Сирко (см. примеч. СС, 3:463), поднявший неудачное восстание против гетмана Выговского, который, вопреки политике Богдана Хмельницкого на сближение Украины с Россией, принял сторону Польши.

Ян Гус — вождь реформации и вдохновитель чешского освободительного движения, сожжен как еретик в 1415 г. Старушке, которая принесла к его костру вязанку хвороста, приговоренный Гус сказал: «Sancta simplicitas» лат. — «святая простота».

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — входил в обязательный русско-славянский синодик Хлебникова, см. в поэме «Ходжи-Тархан»(СС, 3:126).

Волынский — см. примеч. СС, 3:448.

Разин Степан Тимофеевич (?—1671) — руководитель антифеодального восстания крестьян и казаков; см. «уравнение роста русской свободы» — С. 228.

Кавун укр. — арбуз.

Коперник — см. на С. 414.

Сестры-молнии (С. 280) — Впервые: СП, III, 1931 (в составе трех частей, имеющих подзаголовки: «1 парус. Разговор молний», «2 парус. Страстная площадь», «3. Сестры-молнии»).

Сохранился (РГАЛИ) авторский план 1919 г.:

«Сестры молнии
IV полотна

1 действие	Разговор молний
2 действие	Смерть коня
3 действие	Распятие
4 действие	Переселение душ»,

где «полотно» равно «действию» (и «парусу» уже в отдельном автографическом тексте — РГАЛИ).

В соответствии с этим планом в данном издании печатается четырехчастная композиция: первые два *паруса* в порядке публикации СП (по незавершенной авторской рукописи); далее следует «Смерть коня» как третий *парус* (в СП это два самостоятельно напечатанных стихотворения: "Верую" пели пушки на площади...» и «Чу! зашумели вдруг облака...»); четвертый *парус* (в СП — заключительный третий) под авторским названием «Переселение душ», которое возвращает нас к более ранней драматической сцене «Призраки. Хоровод» (см. СС, 4:279); «молнийные» реплики начального и последнего *парусов* создают кольцевую структуру вещи. Третий и четвертый *паруса* печатаются по рукописной тетради Гросбух (РГАЛИ), где есть дата: «октябрь 1921». При некоторой спорности, такая реконструкция дает все же максимально приближенное представление об истории и реализации этого замысла Хлебникова.

Следует учесть, что тематические разделы «Сестер-молний» имеются в авторских планах других монтажных композиций. Прежде всего это относится к образно-символической параллели Спаситель-Конь (в разных записях 1920—1921 гг.: «Конский Спас», «Иисус» и др.), присутствовавшей также в предварительном обдумывании сверхповести «Зангези».

Концептуальная направленность «Сестер-молний» определяется толкованием молнийно-световой природы мира в статье «Наша основа», 1919: «Нужно помнить, что человек в конце концов молния, что существует большая молния человеческого рода — и молния земного шара». Здесь прослеживается связь с мифологической концепцией А.Н.Афанасьева в работе «Поэтические воззрения славян на природу» (III т.): «Острые стрелы-молнии являются орудием божественных водяных жен, обитающих в воздушном океане». Об эпическом харак-

тере «Сестер-молний» см. в работе: Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990. С. 149–150.

В разделе «Другие редакции и варианты» см. поэму «Распятие» (печатается впервые по рукописи РГАЛИ), которая в общем замысле большой композиции приобрела драматическую форму второго паруса.

I парус:

«*Аз есмь Бог* <...> — Исход 20:2,3 («Я Господь, Бог твой...»)

Иль ветром крыл чугунных / углы покрою храма — ангел с крестом на шпиле Петропавловского собора (см. примеч. СС, 2:497).

Ислам моя рубашка — вариация темы «Хаджи-Тархана»: «Ах, мусульмане те же русские, / И русским может быть ислам» (СС, 3:127). Ср. название доклада, прочитанного в 1920 г. в Баку: «Коран чисел».

Старик седой, как лунь, я — соотносимо с образом Старика с кошками в трагедии «Владимир Маяковский», 1913: «Я — тысячелетний старик». Из письма В.Каменскому, 1914: «У зверя в желтой рубашке (читай Вл. Маяковского)... ненависть к солнцу; «наши новые души, гудящие как дуги» — хвала молнии; «гладьте и гладьте черных кошек» — тоже хвала молнии (искры молнии)» — НП:370. Ср. псевдоним «Лунев», которым Хлебников подписывал некоторые тексты для коллективных сборников «Гилеи». См. «лунь» в рассказе «Охотник Уса-Гали» (С. 106).

II парус:

Страстная площадь — московский топоним (площадь, бульвар, монастырь), см. примеч. к поэме «Ночь в окопе» (СС, 3:464).

«Не трудящийся да не ест!» — см. примеч. СС, 3:465.

Из улицы улья / Пули, как пчелы — Р.О.Якобсон называет этот отрывок, вспоминая о своей работе с хлебниковскими текстами весной 1919 г. (см. «Мир Велимира Хлебникова». М., 2000. С. 88).

<III парус>:

В «Гросбухе» два стихотворных текста, составляющих эту часть реконструкции сверхповести, записаны вместе, но без названия.

«Верую» пели пушки и площади — см. стихотворение в СС, 2:73 и 518; первый вариант в рукописи 1919 г. (РГАЛИ).

Рублев Андрей (?–1430) — московский иконописец, монах Андроникова монастыря.

Чу! зашумели вдруг облака <...> — единственный рукописный источник в «Гросбухе».

Белогривый Спаситель — ср. стихотворение «Смерть коня» (СС, 2:38). В евангельской традиции Спаситель уподоблен только агнецу.

Бьется всем телом на дышле <...> — ассоциативная связь со сном Раскольникова в «Преступлении и наказании» Достоевского (ч. 1: V): как убивали обессиленную лошадь, впряженную в телегу.

Целовать... в трещинах черных копыто! — ср. стихотворение «Страну Лебедию забуду я...» (СС, 1:354).

Буду трехногий, будет и конь о трех ногах — ср. стихотворение «Святче божий!..» (СС, 2:404).

Новость. Зазор!.. — ср. стихотворение «На нем был котелок вселенной...» (СС, 2:142).

Бог под увеличительным стеклом! — ср. подзаголовок пьесы «Пружина чахотки»: «Шекспир под стеклянной чечевицей» (СС, 4:248).

<IV парус>:

Текст, записанный в «Гросбухе», продолжает и развивает драматическую ткань I паруса.

Структурно образ сестер-молний близок фольклорному образу сестер-лихорадок, который использовал К.Бальмонт («Белые зарницы». СПб., 1908):

Сестры, Сестры, Лихорадки,
Подземельный взбитый хор.
Мы в Аду играли в прятки.
Будет. Кверху. Без оглядки.
Поредеет хор Сестер.

Ср. соответственно двустрочные реплики сестер-лихорадок:

Ты, Огнея, боль продли,
Прах земли огнем пали.
Ты, Глухея, плюнь в него,
Чтоб не слышал ничего
и т.д.

Остоженка — см. примеч. к поэме «Ладомир» (СС, 3:470).

Любяшка — Венера.

«Отречемся от старого мира...» — из «Рабочей марсельезы» П.А.Лаврова (1823–1900).

Девушка-цаца — см. примеч. к поэме «Поэт» (СС, 3:460).

Мыслители, нате! Этот плевок... — ср. лексику и тональность стихотворения Маяковского «Нате!» (1913).

Корень из нет-единицы — $\sqrt{-1}$, см. примеч. СС, 1:451.

Зангези (С. 306) — Впервые: отд. изд. «Зангези». М., 1922 <июль>, вошла в СП, III, 1931; см. также Творения, 1986. Печатается по первой публикации с учетом рукописи (РГАЛИ).

Эта сверхповесть в наибольшей степени отвечает давней идее Хлебникова о сложном жанре («окрошка» — см. СС, 4:352), который «поперек» времени и пространства дает все авторские «краски и открытия» (см. примеч. к «Детям Выдры» на С. 434).

В черновых записях последних лет жизни Хлебникова сохранились разные планы большой монтажной композиции. Среди намечавшихся тем — «*плоскостей*» («Молнии», «Конский Спас», «Разин», «Бурлюк», «1905–1917») на первом месте неизменно присутствовала *плоскость* «Черемуховая», связанная с лирическими воспоминаниями о Красной Поляне (см. СС, 3:490). Не войдя в окончательный состав сверхповести, эта тема реализовалась большой поэмой «Синие оковы» (весна 1922), название которой через паронимическую связь с фамилией *Синяковы* (см. СС, 3:467) указывает на «небесные законы» как основной ориентир будетлянских «осад» (наблюдения В.Ф.Маркова и В.П.Григорьева); см. примеч. ко 2-у парусу «Детей Выдры» на С. 437.

Последовательность плоскостей «Зангези» почти повторяет перечисление того, что поэт *изучил*: «Звери. Люди. Азбука. Книги. Числа» (автобиографическая заметка 1922 г.).

По дневниковой записи Хлебникова, «“Зангези” собран — решен 16 января 1922». Изменения и дополнения вносились в уже скомпонованную рукопись даже на стадии типографской верстки (апрель 1922 г.).

Драматургический потенциал сверхповести пытался раскрыть художник В.Е.Татлин (1885–1953), осуществивший в мае 1923 г. сценическую постановку «Зангези» в Петроградском музее художественной культуры. Среди откликов современников на этот театральный акт (как и непосредственно на текст Хлебникова) см.: Н.Пунин. «Зангези» // Жизнь искусства. Пг., 1923. № 20; С.Юткевич. Сухарная столица // Леф. 1923. № 3; К.Локс. «Зангези» // Печать и революция. М., 1923. № 1.

В декабре 1986 г. «Зангези» был поставлен в Музее современного искусства Лос-Анджелеса (англ. пер. — Пол Шмидт (1934—1999), режиссер — Питер Селларс), а несколько позднее в иной режиссерской интерпретации на сцене Бруклинской Академии музыки.

Летом 1992 г. «Зангези» поставил в Москве студийный «Чет-Нечет-Театр» под руководством А.М.Пономарева (см.: В.Хлебников. Зангези. Сценическая композиция А.Пономарева. Под ред. и с предисловием Р.Дуганова. М.: Дягилевъ Центръ. 1992).

Зангези — по определению В.П.Григорьева, «имя-символ, принципиальное для героя (образ которого сливается с образом автора), контаминирует названия рек Ганга и Замбези как символы Евразии и Африки» (Творения, 1986. С. 697). Однако художник Степан Ботиев (автор монументальной скульптуры Велимира Хлебникова в Калмыкии, 1992) высказал предположение, что в основе имени героя лежит калмыцкое слово «занг» — весть, новость, так что Зангези понимается как «вестник Азии». Имея в виду значимость для Хлебникова первого звука в слове, можно считать Зангези неким перевоплощением Заратустры как азийского пророка (см. СС, 1:508) и протагониста Ф.Ницше (из письма к родным в августе 1915 г.: «чувствую определенный простор, чтобы расправить крылья каспийского орлана, и черпаю клювом моря чисел... Так говорил Заратустра» — СП, V:304). В то же время звукоимя «Зэ» в глоссе «звездного языка» объясняется как идея отражения («пара взаимно подобных точечных множеств, разделенная расстоянием» — СС, 3:276). То есть в свете хлебниковского философствования в имени Зангези сфокусировано все мировое единство.

В черновых записях «Гросбуха» встречаются варианты имени героя: Чангези, Мангези, Зенгези. Но еще в черновике «Детей Выдры» есть запись: «Энгвези, это ты?» (см. на С. 247).

Введение:

Сверхповесть, или заповесть — определение принципиально нового жанра. Хлебниковский контекст провоцирует лексическую симметрию по той же префиксальной модели словообразования: «зачеловек» (см. СП, V:152) как выражение победительной сущности «будетлянина» (см. примеч. на С. 404) имплицитно равен *сверхчеловеку* Ницше (нем. Ubermensch). Ср. «сверхгосударство» (С. 410), «сверхмера» и «сверхвера» (С. 434).

Московский вопрос: «Како верүеши?» — исторически это вопрос киевского князя-крестителя Владимира: «А каковы обычаи вашей веры?» («Повесть временных лет»).

Колода плоскостей слова:

Горы... прямой утес... любимое место Зангези — описание имеет содержательную связь с рассказом В.Ф.Одоевского «Город без имени» (в цикле «Русские ночи», 1844): изгнанный из общества отшельник живет на вершине неприступного утеса, откуда он читает отрывки из сочиненной им проповеди для случайниых прохожих в низине. Отшельника называют *черным человеком*. Поскольку в имени Зангези присутствует коннотация черноты (Замбези — река, «где люди черней сапога», Ганг — река, «где темные люди — деревья ума», см. поэму «Азы из узы» — СС, 3:278), в самой ретроспективе хлебниковского творчества прослеживается присутствие «черно-белого» протагониста: «черный любирь» (СС, 1:95), «черный царь» (СС, 1:329), Ховун из «черной сотни» (СС, 4:170), глашатай провокативных «чернотворских вестучек» (СС, 4:370) и в то же время «белый ворон» (СС, 1:271).

Плоскость I:

Ср. драматическую сцену «Мудрость в силке» (СС, 4:267). Возможно, идея птичьего языка подсказана комедией Аристофана «Птицы» (пер. М.Скворцова. Варшава, 1874).

Плоскость II:

Ср. пьесу «Боги» (СС, 4:237 и 388).

Плоскость III:

На дороге трава не растет <...> Ходят... к этому утесу! — аллюзия к стихотворению Пушкина «Памятник»: «К нему не зарастет народная тропа».

Плевательница? для плевков его учения? — ср. финал «Сестер-молний» (С. 304), а также стихотворение «Слова пороли королей...» (СС, 2:172).

Плоскость IV:

Близка к разделу «Батый и пи» в поэме «Царапина по небу» (СС, 3:267).

Акциум — остров в Ионическом море, где флот Октавиана разбил флот Клеопатры и Антония.

Гибель Испании — победа арабов над христианами-вестготами, создание халифата на Пиренейском полуострове.

Осман — см. на С. 401.

Коготь льва — лат. поговорка «Ex ungue leonen» (льва узнают по когтям).

Плоскость V:

Чангара — по В.П.Григорьеву, это неологизм на основе имени Шанкара (индийский мыслитель, утверждавший равенство вер — Творения, 1986. С. 697). В материалах к «Доскам Судьбы»: «В 789 родился Шанкара Ачарья ... он написал священные книги индусов» (РГАЛИ).

Плоскость VI:

Мне, бабочке <...> — ср. стихотворение СС, 2:254.

Пространство звучит через Азбуку — ср. «Словарь звездного языка» в поэме «Царапина по небу» (СС, 3:276).

Плоскость VII:

Гражданская война как бой звукоимен (в «Царапине по небу» раздел «Паны и холопы в Азбуке»). См. статью: Киктев М.С. Хлебниковская «Азбука» в контексте революции и гражданской войны // Хлебниковские чтения. СПб., 1991. С. 15–39.

Рюрики и Романовы — две правящие династии России (их олицетворяет буква «рцы» из старославянской азбуки).

Каледины, Крымовы, Корниловы, Колчаки — см. примеч. к поэме «Синие оковы» (СС, 3:493).

Учредительное собрание — всероссийский законодательный орган, избранный всеобщим голосованием и разогнанный большевиками в январе 1918 г.

Эля зубцы — пятиконечная звезда, символ Советов; см. «На лыжу времени» (СС, 2:87) и др. стихотворения на тему Эль.

Турусы на колесах — см. на С. 428.

Лопот — невнятный шум (Даль).

Рух — см. примеч. СС, 3:436.

Перун — см. примеч. СС, 1:525.

Плоскость VIII:

Песни звездного языка — см. СС, 3:266.

Летучки — листовки, ср. «Чернотворские вестучки» (СС, 4:370).

Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? — см. филологическую часть статьи «Наша основа», 1919 («Словотворчество», «Заумный язык»).

Плоскость IX:

Хотя Хлебников рационально интерпретирует «благовест ума» как «оттенки мозга» («роды разума»), текст создает своеобразный фонический образ заклинательной мантры благодаря ассоциации сонорно звучащих неологизмов с ведическим священным словом *ом (аум)*.

См. вариативный текст «Благовест уму» в статье Вяч.Вс.Иванова «Хлебников и наука» // Пути в незнаемое. Сборник двадцатый. М., 1986. С. 408.

См. также: Соливетти К. Опыт перевода Хлебникова на итальянский (IX плоскость «Зангези») // Вестник ОВХ.1, 1996.

Плоскость X:

См. стихотворения о звукоименах Эм и Бэ (СС, 2:83 и 145).

Вода в клюве! Крылья шумят ворона — в мифологиях разных народов эта птица добывает воду и даже превращает соленую морскую в пресную речную. См. значение Во́рона («вещуна») в пьесе «Снежимочка».

Стожар всех стогов веры — народное название Полярной звезды как центра большого созвездия происходит от названия шеста, втыкаемого в землю для укрепления стога (Даль).

Бус — вероятно, имеется в виду струг (см. примеч. СС, 3:489); у Даля *буса* ж.р. — долбленная лодка с набивными досками по бортам.

Мы можем! — переосмысление темы стихотворения С.Городецкого «Хаос», 1907: «Древний хаос потревожим, / Космос скованный низложим, / Мы ведь можем, можем, можем». См. примеч. на С. 392.

Зой — см. авторское объяснение СС, 4:35.

Плоскость XI:

См. примеч. к стихотворению «Гроза в месяц Ау» (СС, 2:561).

Плоскость XII:

Нет-единица — см. на С. 418.

Плоскость XIII:

Ср. ряд стихотворений в СС, 2: «Как снег серебровое темя..», «Леляною вести, леляною грусти...» и др.

Дахари — ср. пословицу «Будешь дахарь, будешь и взяхарь» (Даль).

«*Камаринская*» — русская плясовая песня.

Плоскость XIV:

Ср. ряд стихотворений в СС, 2: «Степь», «Бегава вод...», «С верхарни...», «Девушки...», фрагмент поэмы «Азы из узы» (СС, 3:287).

Я такович — ср. сербское «когович» (примеч. к «Песне Мирязя» — С. 392).

Плоскость XV:

Ср. стихотворения «Звукопись весны» (СС, 3:269) и «Трудосмотр» (СС, 2:247). Идея соответствия между цветом и звуком, восходящая к Платону, стала темой французских поэтов-символистов (см. примеч. СС, 1:476).

Плоскость XVI:

Ср. стихотворение «Как я увидел войну?» (СС, 2:334) и пьесу «Пружина чахотки» (СС, 4:248).

Плоскость XVII:

Ср. финал драматической поэмы «Ночной обыск» (СС, 4:100).

Донец — донской казак (или лошадь донской породы?).

Спички судьбы — см. примеч. к стихотворению «Как стадо овец мирно дремлет...» (СС, 2:543); см. в «Детях Выдры» (С. 266).

Плоскость XVIII:

Монолог Зангези частично представляет поэтическую версию историко-числовых сопоставлений в первом «листе» (или «отрывке») из «Досок Судьбы». М., 1922. Речь идет о циклических движениях и противодвижениях волн Запада и Востока, о закономерных временны́х наступлениях и отступлениях идеи свободы и равенства.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — агитировал своих товарищей по заговору за физическое устранение всей царствую-

щей семьи Романовых (Хлебников считал, что костяк тайного общества декабристов составляли потомки Рюриковичей); см. примеч. СС, 4:360.

Через два в тринадцатой — то есть 2^{13}; в «Досках Судьбы» Хлебников характеризует своего знакомого Бориса Самородова: «Дух отважного подвига вызван в нем тринадцатой степенью двух, считая от рождения». См. примеч. к стихотворению «Юноша...» (СС, 2:547).

Три в пятой — то есть 3^5; см. примеч. к стихотворению «1789 год» (СС, 2:544).

Берг Ф.Ф. (1793—1874) — генерал-фельдмаршал, наместник Царства Польского, на которого неудачно покушались инсургенты 1863 г.

Гарфильд ...посадник Америки — президент США Гарфилд Д.А. (1831—1881); убит 19 сентября 1881 г. через 243 дня (3^5) после избрания на пост.

Куликово <...> Рим — это историко-хронологическое сопоставление есть в «Царапине по небу» (СС, 3:267).

Ермак <...> Кучум — см. стихотворение «Всем» (СС, 2:393) и примеч. к стихотворению «Мои походы» (СС, 2:577).

Искер — столица Сибирского ханства, завоеванного Ермаком.

Мукден — город в Маньчжурии, здесь в русско-японскую войну потерпела поражение армия генерала Куропаткина (см. примеч. СС, 4:361).

Стессель А.М. (1848—1915) — комендант Порт-Артура, сдал крепость японцам в декабре 1904 г.; приговоренный военным судом к смертной казни, был помилован Николаем II.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ и поэт, (см. примеч. СС, 1:468); здесь упомянут в связи с его стихотворным пророчеством «желтой» опасности с Востока («Панмонголизм!..», опубл. в 1905 г.). См. примеч. к повести «Ка» (С. 409).

Болгария / Разорвала... цепи — результат русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (по Хлебникову, через 3^{11} после взятия турками в 1393 г. средневековой столицы Болгарии Тырново).

Судилище всемирное — Берлинский конгресс 1878 г.; решения конгресса были направлены против усиления России на Балканах.

Ангора (Анкара) — место неудачного сражения турецкого султана Баязета с эмиром Самарканда Тимуром, вторгшимся в Малую Азию в 1402 г.

Есть башня из двоек и троек — числовые элементы «основного закона времени», см. примеч. к стихотворению «Трата, и труд, и трение...» (СС, 2:586).

Марафон — место победоносной битвы греков с персами в 500 г. до н.э.

Кобылица свободы! — ср. стихотворение СС, 2:311.

Пресня — район Москвы, где шли упорные бои рабочих дружин с регулярными войсками в декабре 1905 г.

Мин Г.А. — полковник, командир Семеновского лейб-гвардии полка, подавившего декабрьское восстание 1905 г. в Москве.

Коноплянникова З.В. — эсерка, застрелившая в 1906 г. полковника Мина; повешена решением военно-полевого суда.

Германский меч был в вышине — самое глубокое продвижение немцев по территории России, следствием чего было заключение большевиками Брестского мира 3 марта 1918 г.

Мирбах — посол Германии в Москве; убит эсерами 6 июля 1918 г. с целью срыва Брестского договора.

В разделе «Другие редакции и варианты» см. незавершенную поэму «Минин-нижегородец...» как содержательную параллель плоскости XVIII (впервые: SS,III,1972; публикация А.Е.Парниса).

Минин — см. примеч. к поэме «Марина Мнишек» (СС, 3:450).

Блюм Роберт — один из руководителей народного восстания в Вене в 1848 г.

Милюков — см. примеч. к поэме «Прачка» (СС, 4:361).

Восстание Рюриковичей в 25 году — см. выше примеч. к имени *Рылеев*.

Мец и Седан — французские крепости, сданные немцам в период франко-прусской войны 1870 г.

Мак-Магон (1808—1893) — маршал и президент Франции, капитулировал во главе 100-тысячной армии при Седане.

Верден и Марна — места тяжелых боев французов с немцами в период Первой мировой войны.

Тирпиц (1849—1930) — морской министр Германии в Первую мировую войну, организатор мощного подводного флота.

Плоскость XIX:

В рукописи названа «Часы человечества». Монтаж целого ряда поэтических текстов 1919—1922 гг.: «Дождь» (СС, 2:308); «Я, воло-

сатый реками...» (СС, 3:278); «Хороший работник часов...» (СС, 2:362); «Мой череп-путестан...» (СС, 2:236); «Вперед, шары земные...» (СС, 3:287); «Кто сетку из чисел...» (СС, 4:53); «Подушка-камень...» (СС, 2:213); «Мной недовольное ты...» (СС, 2:211); «Моряк и поец» (СС, 2:178); «Просьба великих столиц...» (СС, 2:306).

Плоскость XX:

В дневниковой записи «Горе и Смех» датировано 20 июня 1920 г. Возможно, этот драматический диалог изначально предполагался для самостоятельного сценического воплощения.

Ср. название сатирического очерка Н.С.Лескова «"Смех и горе" (Разнохарактерное potpourri)» 1871; рубрика «Смех и горе» в журнале «Мир искусства».

Мазурики — см. примеч. СС, 2:521.

Кшесинская — см. СС, 2:503.

Потоцкая / Перед молчанием Гирея — ср. героиню поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» юную польскую княжну Марию, ставшую наложницей хана Гирея; см. примеч. СС, 2:497.

Месяц Ай — см. СС, 2:53.

Плоскость XXI:

В рукописи названа «Кафэ».

Зарезался бритвой — литературная связь с некрологическим стихотворением, обращенным к И.Игнатьеву — СС, 1:309 (см. также в повести «Ка» на С. 141); возможная бытовая подоплека: в самом начале 1922 г., бреясь опасной бритвой в квартире Бриков, Хлебников очень сильно порезался (из письма Маяковского Л.Ю.Брик в Ригу 2 января 1922 г.: «Приехал Витя Хлебников: в одной рубашке! Одели его и обули. У него длинная борода — хороший вид, только чересчур интеллигентный». Цит. по кн.: Янгфельдт Б. Любовь — это сердце всего. М., 1991. С. 88).

Уничтожение / Рукописей злостными / Негодяями с большим подбородком / И шлепающей и чавкающей парой губ — ср. в трагедии «Владимир Маяковский»: «мясистыми рычагами шлепающих губ» (В.Маяковский. ПСС. 1955. Т. 1. С. 169); см. примеч. к стихотворению «Всем» (СС, 2:589).

Заключительная плоскость «Зангези» написана, вероятно, в апреле-мае 1922 г., почти одновременно со стихотворениями «Не чертиком масленичным...». «Всем», «Еще раз, еще раз...», «Русские десять

лет...» Последнее напечатано в СС, 2:399 не полностью (по технической ошибке). Приводим окончание стихотворения с резким образно-смысловым противопоставлением «звезды» — «маяку»:

Не ошибайтесь в дороге,
Убегая от света звезды вдалеке.
Когда вы поймете,
Что неверным углом ко мне,
Когда я на небе,
— Я, как и вы, умею быть на земле —
Вы несетесь на острые камни,
Тогда я умру и буду ненужен.
Не хохочите, что я
Озаряю мертвую глупость
Слабей маяка
На шаткой корме вашего судна.
Я слаб и тускл,
Но я неподвижен.
Он же опишет за вами и с вами
Кривую крушения судна.
Он будет падать кривою
Жара больного с вами на дно.
Он ваш, он с вами, я ж — Божий.
Пусть моя тускла заря,
Слабее <башни> для пожаров
громадных и близких,
Празднично белых на палубе вашей,
Сделанной <вашими> руками.
Но я неподвижен! я вечен.
И около оси миров, где кружится мир,
Бойтесь быть злыми ко мне,
Шемякой судьей моей мысли.
Пусть я не рев, а полунощный свист,
еле слышный,
Невыносимый уху комет.

Шемяка — от названия русской сатирической повести XVII в. «Шемякин суд».

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

I

III

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

I

II

Х55 **Хлебников В.**

Собрание сочинений: В 6 тт. Т. 5. Стихотворения в прозе. Рассказы, повести, очерки. Сверхповести. 1904—1922 / Под общ. ред. Р.В.Дуганова. Сост., подгот. текста и примеч. Е.Р.Арензона и Р.В.Дуганова. — 464 с.

В томе представлены прозаические и драматические произведения В.Хлебникова 1904—1922 гг.

Компьютерная верстка
А.З.Бернштейн

Художник
Д.Е.Долгов

Корректор
Е.Н.Сченснович

ИД № 01286 от 22.03.2000 г.

Подписано в печать 30.09.2004 г.

Формат 84×108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Академическая. Печать офсетная.
Печ. л. 29,0. Тираж 1500 экз.

ИМЛИ им А.М.Горького РАН.

121069, Москва, ул. Поварская, дом 25-а,
тел. (095) 202-21-23, 291-23-01.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.
Заказ № 10800